Г. ДАЛЬ

# ПОСЛЕДНЯЯ РЕКА

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Имя шведского ученого, писателя и путешественника Георга Даля известно советскому читателю по его книге «В краю мангров», вышедшей в издательстве «Мысль» в 1966 г. Настоящая книга, как и первая, посвящена природе и людям малоисследованных районов земного шара. Тридцать лет прожил Г. Даль в Колумбии, изучал природу и население этой далекой страны. Многие годы он провел среди индейцев энгвера. Книга «Последняя река» представляет собой итог многолетних наблюдений автора за уникальной природой Колумбии, за жизнью и бытом индейцев энгвера.

Книга Г. Даля отличается удивительной поэтичностью. Каждая глава — настоящая художественная новелла. Рассчитана книга на самый широкий круг читателей.

- Дикие дороги
  - В Вильявиченсио
  - Река прекрасных видений
  - Супаи
  - Деревья, дельфины, дон Хусто и Ангостура
  - Последняя деревня
  - Супаи има
  - Супаи има, има
  - Эпилог
- Последняя река
  - «Дзизора уанья до-намаэрре пуза-ин»
  - «До-хиви»
  - Строим плот
  - Лесные ночи
  - Интермедия
  - Сев
  - Строительство завершается
  - Голод
  - Вниз по реке
  - Высокая сельва
  - Рубеж саванны
  - Паблито
  - Край болотных озер
  - Маленькая рыбка, большая рыба
  - Последние километры
- Послесловие
- Фотографии

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40
  - 41
  - 42
  - 43

- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51

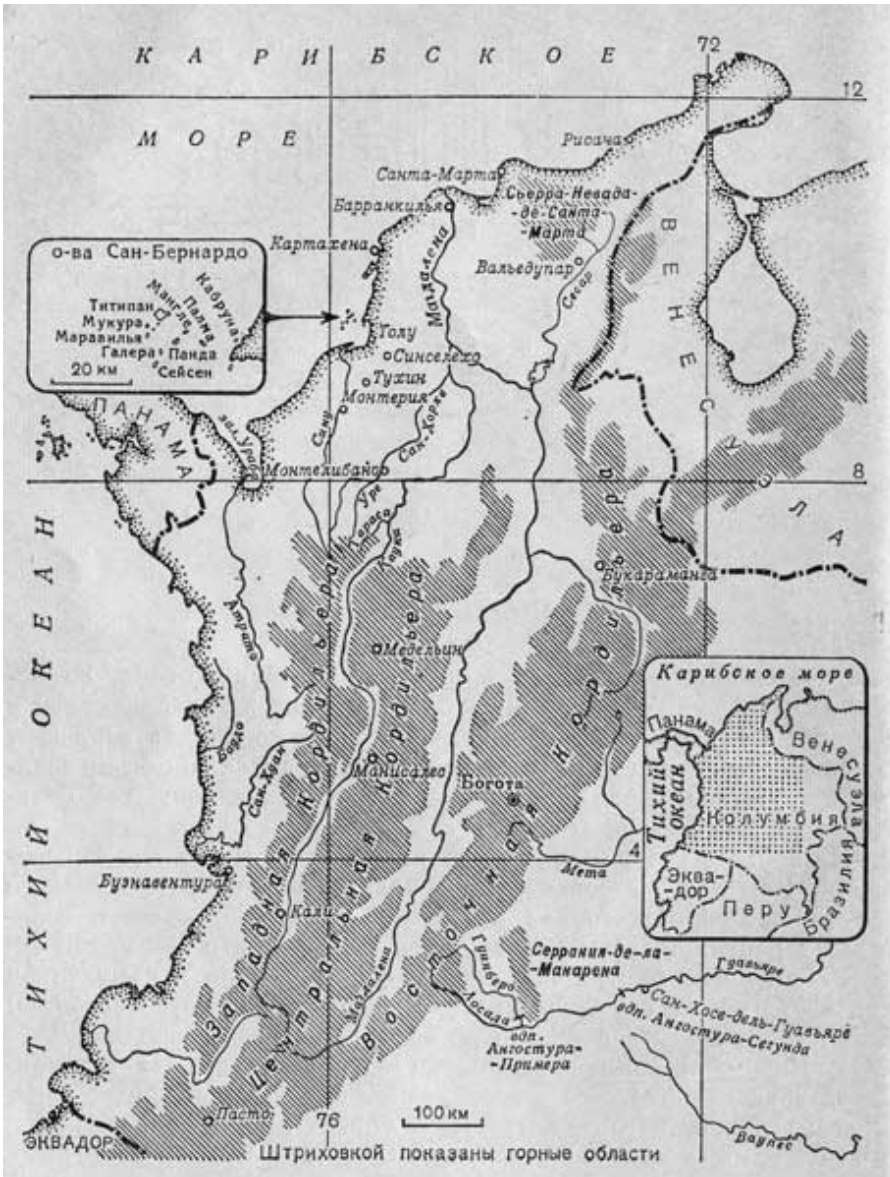
# Дикие дороги

# В Вильявиченсио

Разумеется, мы не выехали в поле в намеченный день. Невозможно выдерживать график, когда организуешь экспедицию в восточные льяносы. Тем более если нужно пополнить запасы и снаряжение, да еще при этом войти в контакт с представителями властей, все равно какими: чем меньше начальник, тем больше палок в колеса он ставит.

На сей раз камнем преткновения оказался спирт для консервации. Нам требовалось изрядное количество высокопроцентного алкоголя, лучше всего без примесей, чтобы заспиртовать собираемых рептилий, земноводных и рыб. Конечно, и формалин годится, но после многих лет работы с ним у меня к нему такая аллергия, что я от одного запаха делаюсь неработоспособным: слезы текут градом, я ничего не вижу и надсадно кашляю.

В Колумбии винная монополия — один из твердых источников дохода для местных властей. Соблюдая установленный порядок, мы пошли в соответствующее управление и попросили отпустить нам сто литров 96-процентного спирта. Бумаги наши были в полном порядке, с визами всевозможных столичных инстанций, но это не помогло. Должностное лицо, заведовавшее спиртом, подозрительно обозрело нас и предложило денатурат, к тому же с примесью формалина. Чистый спирт частным лицам? Только с особого разрешения господина интенденте[1]. А господин интенденте, к сожалению, в командировке. И никому не известно, когда он вернется.




Разговор затянулся. Чем дальше, тем больше отговорок придумывал чиновник. Наверное, маленький подарок в виде нескольких ассигнаций все мигом бы решил, но ведь начнешь давать взятки — потом так и пойдет. И вообще: что это за безобразие! В конце концов мы ретировались и пошли в ближайшую кантину[2] выпить чашечку кофе.

Кантина была полна посетителей. Мой товарищ Фред Медем, который немало странствовал в льяносах и приобрел здесь тьму друзей, увидел вдруг знакомое лицо. И вот он уже радушно здоровается с человеком в форменной фуражке. Это был очень

славный молодой парень, недавно назначенный сержантом Ресгуардо де Рентас, то есть таможенной службы. Мы пригласили таможенника к своему столику и рассказали ему про свои невзгоды. А он сообщил нам, что господин интенденте недавно вернулся из инспекционной поездки по реке Мета и его, наверно, можно застать в канцелярии.

Мы побеседовали еще немного, затем сержант извинился: служба ждет. И ушел, а я и Фред немедля отправились в канцелярию. Нам повезло. Я узнал в господине интенденте бывшего аспиранта, у которого когда-то принимал экзамены. Видно, он остался доволен экзаменатором, потому что встретил нас очень радушно. Сердечная беседа вылилась в письменное распоряжение несговорчивому бюрократу отпустить потребное нам количество 96-процентного спирта без каких-либо примесей. Интенденте объяснил, что контрабанда и незаконный сбыт спиртного приняли огромные масштабы в его округе, похоже даже, что в городе есть подпольная винокурня. Оттого, мол, нам и отказали.

У нас на этот счет было свое мнение, но мы, понятно, воздержались от нелестных отзывов о служащих его аппарата, а вместо этого поспешили нанять грузовик, погрузили на него свои алюминиевые бидоны с прочными висячими замками и снова наведались в винную лавку. Заведующий нисколько не обрадовался, увидев приказ начальника, но возражать не посмел: ладно, приезжайте за спиртом послезавтра, в четыре часа.

Фред спокойно справился, не следует ли нам еще раз обратиться к господину интенденте? После этого выяснилось, что спирт можно получить немедленно. Видно, его берегли для какой-нибудь другой цели. Удалось также втолковать продавцу, что, когда начальник пишет «литр», он подразумевает именно литр, а не бутылку. Мы расплатились и после небольшой дискуссии даже получили справку о том, что спирт приобретен законным порядком, для таких-то целей.

Полчаса спустя бидоны стояли в комнате, снятой нами в местном пансионате. Фред обнаружил, что в наше отсутствие кто-то пытался вскрыть один из его ящиков, и на всякий случай добавил еще замок.

Подошел час обеда. Нам подали такую дрянь, что мы тут же решили оставить это заведение. Хозяйка потребовала с нас плату за трое суток. Мы попробовали напомнить ей, что провели в пансионате всего одну ночь. И услышали в ответ, что мы жулики и бандиты, задумали ограбить бедную вдову! Но Сан-Кристобаль не даст ее в обиду! Она выразительным жестом указала на гипсовую фигуру святого Христофора и послала служанку за

полицией.

Сейчас мы, безбожники, убедимся, что Сан-Кристобаль — ее лучший друг!

Я заметил, как в разгар ее сольного номера Фред мигнул Карлосу Альберто и тот куда-то исчез. Мы закурили еще по сигарете и продолжали слушать монолог хозяйки. Из него мы узнали, в частности, что дивное изображение Сан-Кристобаля принадлежит ее роду не один десяток лет и на его счету немало чудес. И что род у нее почтенный, по праву заслужил благоволение небесных сил. И что… В эту минуту вернулась служанка с полицейским. С первых слов уже по выговору стало ясно, что блюститель порядка — земляк нашей хозяйки. Он приготовился подвергнуть нас строжайшему допросу.

Но вышло иначе. Только полицейский углубился в изучение предъявленных нами бумаг, как вошел Карлос Альберто, а с ним — наш друг из таможенной службы. Сержант учтиво взял под козырек и доложил, что господин интенденте просил передать господам профессорам привет и выяснить, не надо ли нам чем помочь.

Интенденте в восточных льяносах — важная шишка; к примеру, шведский начальник полиции перед ним все равно что домашняя кошечка перед бенгальским тигром. Не удивительно, что полицейский осекся и вся его агрессивность тотчас улетучилась. Фред спокойно объяснил сержанту ситуацию, прозрачно намекая на шантаж и мошенничество.

Сержант только поддакивал: «Да-да, господин профессор», «Конечно, господин профессор» — и что-то писал в своей записной книжечке. В заключение он осведомился, есть ли у нас претензии к кому-нибудь. Хозяйка поспешно дала задний ход. Дескать, произошло недоразумение, и все такое прочее. Она клялась, что с этой минуты все пойдет иначе, и Фред решил смилостивиться.

Разыскивая сержанта, Карлос Альберто заодно успел выяснить, где находится хороший ресторанчик, и мы пошли туда обедать. Гладкий цементный пол, чистые клеенки на столах, на голой дощатой стене красным карандашом написано меню: жаркое из мяса пака. Мы заказали три порции жаркого и надлежащее количество бутылок холодного пива.

Хозяин, приветливый старый сантандерец[3], сам нас обслужил. Фред был с ним давно знаком, и завязался увлекательный разговор. Говорили о том, что у пака нежное мясо, и о том, что это животное — превосходный пловец. Если не ошибаюсь, мы пришли к выводу, что эти два качества позволяют считать пака рыбой, во всяком случае по пятницам,

следовательно, ее могут есть даже самые ревностные католики. Хозяин перешел к другому столику, а мы принялись за еду. Жаркое и впрямь было чудесным.

В это время отворилась дверь, и в ресторан вошли еще двое посетителей. На них была обычная одежда жителей льяносов; брюки и рубаха из материи защитного цвета, грубые сандалии. Один — кряжистый коротыш с густой черной бородой и живыми карими глазами; несмотря на светлую, как у испанца, кожу, в нем угадывалась примесь индейской крови. Луис Барбудо, великий знаток моторов и здешних рек. Второй был на полголовы выше и лет на двадцать старше, ему уже перевалило за шестой десяток. Прямой, как копье, скуластое смуглое лицо, с которого почти никогда не сходило выражение суровости. Было в нем что-то от неподвластной времени, несокрушимой скалы. Его тонкие губы улыбались редко, глаза — чаще, только надо было уметь это разглядеть. Агапито, предводитель горстки индейцев, представляющих некогда славное племя тинигуа.

Тинигуа никогда никого не обижали. Держались они особняком, возделывая маниок на своих маленьких полях в лесных дебрях между истоками реки Гуаяберо. Долго им удавалось избегать встреч с земельными спекулянтами, контрабандистами, корью, дизентерией, миссионерами и оспой. Это было абсолютно миролюбивое племя, полукочевое, не очень многочисленное, зато свободное и неиспорченное: Лес, река и собственный труд давали им все необходимое, кроме некоторых металлических орудий и соли. И так как они не обладали ничем, что могло бы соблазнить других, никто их не трогал. Но вот в стране разразилась гражданская война. Началась она в 1948 году[4] с убийства либерального политического деятеля. Дальше — хуже. Властители сменялись, страну опустошали вооруженные банды. И одна такая банда набрела на временный лагерь тинигуа на берегу реки.

Мужчин в лагере не было, они разделились на маленькие отряды и ушли в лес выслеживать тапиров. Женщины и дети купались, удили рыбу, стряпали, отдыхали и наслаждались жизнью. В это время на реке показались лодки. В них сидели чужаки, вооруженные автоматами. Увидев лагерь, они открыли огонь. Люди, по которым они стреляли, были безоружны. Удалось спастись трем женщинам и одному мальчугану.

По счастью, в этом лагере находилось не все племя; тем не менее массовое избиение подкосило тинигуа. Племя потеряло большинство молодых женщин. Молодые мужчины и юноши ушли искать себе жен в другие племена — к гуаяберо и гуахибо.

Единственный уцелевший сын Агапито женился на женщине

гуаяберо.

Несколько лет спустя объединенный отряд индейцев из разных племен подстерег бандитов и расправился с ними. Но трагедия Агапито была необратима.

…Итак, нас стало пятеро за столиком. Луис Барбудо поделился местными новостями. Говорят, под вечер должен прилететь Томми на своем самолете. Он привезет американских туристов, они охотились на границе Макаренских гор. Эти горы недавно объявили заповедником — понятно, там легче подстрелить тапира. Еще говорят, что Томми купил было большую лодку, чтобы возить своих североамериканских клиентов, а теперь собирается продать ее. Лодка находится у Кемп-Томпсона, где Томми устроил свою базу. Все это было очень кстати для нас.

Я давно знал Томми. Во время второй мировой войны он пилотировал бомбардировщик, затем два года оставался в оккупированной Германии, а после демобилизации перебрался в Колумбию, где испробовал разные виды деятельности — от выращивания кофе до контрабанды. Теперь он выступал в роли организатора охотничьих экспедиций, а кроме того, перевозил грузы па своем старом дряхлеющем самолете, который прозвал «Мисси Лу».

Мы попросили Карлоса Альберто перехватить Томми у аэродрома и отбуксировать его в ресторан — самое подходящее место для переговоров, а сами принялись вербовать в нашу экспедицию Луиса Барбудо. Он превосходно разбирался в лодках и моторах, да и по многим другим соображениям был желанным человеком в экспедиции. Мы быстро поладили и облегченно вздохнули: сами понимаете, в тысячекилометровом путешествии по реке хороший моторист — не последний человек.

Теперь нам не хватало только проводника, который знал бы каждый приток, каждый галерейный лес, каждое озеро и озерко от предгорий Анд до Ориноко. Или хотя бы до среднего течения Гуавьяре. Конечно, лучше всего было бы, если бы с нами пошел сам Агапито, но об этом мы даже не мечтали. Такая работа не для него. К тому же Агапито чувствовал себя ответственным за уцелевших соплеменников и ни за что не согласился бы оставить их надолго. Но может быть, он нам кого-нибудь предложит?

Агапито выслушал нашу просьбу, кивнул и задумался. Мы терпеливо ждали его ответа: торопить индейца — пустое дело.

Наконец мы услышали ответ, всего одно слово:

— Матеито.

Ну конечно, и как мы сами не додумались! Матеито — самый подходящий человек. Мы с ним уже встречались, видели его в

деле, и вот, надо же, выскочил он из головы.

Есть люди, обладающие уникальной способностью сливаться с окружающей средой так, что их не замечаешь. Словно сама природа наделила их даром маскировки. Хочется сравнить их с вальдшнепом: поди разгляди его, когда он притаится в ольшанике. Матеито это свойство было присуще в редкой даже для индейцев степени. Порой казалось, что он умеет изменять свой облик, как оборотень из сказки. Оставалось выяснить, согласится ли Матеито поехать с нами. Мы почти не сомневались, что он согласится, иначе Агапито не стал бы его называть.

Луис Барбудо поел и отправился делать закупки, а мы с Фредом продолжали сидеть за столиком. Агапито остался с нами. Я понял, что вождь хочет сказать что-то Фреду с глазу на глаз, и пошел купить сигарет. Когда я вернулся, старого индейца уже не было.

— Чего хотел Агапито? — тихо спросил я по-английски.

— Он узнал, что его сын женился и живет где-то в районе Сан Хосе де Гуавьяре, — так же тихо ответил Фред. — И вот попросил меня сфотографировать сына, его жену и детей, чтобы он мог их увидеть хотя бы на картинке, прежде чем умрет.

— Да он до ста лет доживет, — возразил я. — Любой, кто на него посмотрит, скажет, что ему еще далеко до могилы.

— А вот он думает иначе. Ты ведь знаешь этих старых индейцев. Они как будто заранее чувствуют, когда подходит их срок.

Мне нечего было возразить, и мы продолжали беседовать о том, о сем, пока не вернулся Карлос Альберто вместе с Томми. Тот как раз доставил в большой отель своих туристов-охотников и собирался завтра утром лететь в лагерь на Гуаяберо. Заодно он мог подбросить Карлоса Альберто и что-нибудь из наших вещей. А меня, Фреда и Луиса Барбудо Томми заберет послезавтра. Мы договорились о цене и пошли к себе в пансионат отбирать первую партию багажа.

На следующий день с утра все шло как по маслу. Томми чуть свет вылетел в Кемп-Томпсон, захватив большую часть нашего снаряжения; с ним полетели Карлос Альберто и Агапито. Мы с Фредом пошли по лавкам. Вильявиченсио был последним пунктом, где можно было сделать какие-то закупки; в Сан-Хосе в лучшем случае найдешь бензин, соль и сигареты. Если упустим что-то теперь, придется терпеть до возвращения, то есть два, а то и три месяца.

Луис Барбудо занимался мотором и добывал запасные части. Во второй половине дня он доложил, что мотор в полном порядке и собран неплохой комплект запчастей и инструмента.

В пансионате все было тихо и мирно. Мы получили вполне приличный завтрак; на ленч нам подали по тарелке супу и жареное мясо, которому не мешало бы еще повариться, прежде чем его положили на сковородку. Хозяйка стояла в двери и улыбалась не без злорадства, глядя, как мы сражаемся с мясом. Мы не стали ничего говорить. Что тут поделаешь, если она просто не в состоянии лучше готовить.

К вечеру все закупки были сделаны и мы решили опять пойти в ресторан.

Ночь мы проспали сном праведников. Томми должен был прилететь около восьми утра, если ничто не помешает. Мы рассчитывали, что будем в Кемп-Томпсоне еще до обеда, а на следующий день начнется наше путешествие по реке.

# Река прекрасных видений

На аэродроме Вальявиченсио стоял одномоторный самолет Томми. Помятый фюзеляж и мутные, исцарапанные окна свидетельствовали о беспокойном, волнующем прошлом.

— Самолеты все равно что женщины, — объяснял Томми. — Пока они молоды, с ними можно ладить. Бывают, конечно, капризы, и тогда приходится идти на взаимные уступки. Потом наступает трудный возраст, отношения сильно осложняются. А дальше опять все налаживается, только не ленись поухаживать. Самое главное, вовремя списать самолет. Нельзя тянуть до последнего полета, надо уметь заставить себя остановиться после предпоследнего. Именно предпоследнего. Потому что ждать до самого конца — слишком много риска, но и торопиться ни к чему, прогадаешь.

Мы почтительно слушали седого великана с головой льва и глазами мальчишки. Никто из нас не решился спросить, долго ли осталось «Мисси Лу» ждать последнего полета. Положившись на заверение Томми, что все важные части на месте, мы втиснулись в кабину среди ящиков, ружей, узлов и прочего движимого имущества. Мотор заработал со второй попытки, и вот уже мы в воздухе. Вскоре впереди и справа показались горы Сьерра Макарена: на севере — крутые вершины, на юге — бурое плоскогорье с обмелевшими от засухи руслами. К горам примыкала саванна с галерейными лесами вдоль рек; кое-где высился старый дремучий лес. Вильявиченсио остался далеко позади, а тут — ни жилья, ни расчисток…

Самолет обогнул крайний южный отрог Макаренских гор, и внизу засверкала широкая гладь Гуаяберо. Мы сели на берегу возле редких лачуг, стоящих на рубеже леса и каменистой, скудной саванны. Это и был Кемп-Томпсон, откуда начинались охотничьи экспедиции Томми. У посадочной полосы нас ожидал Карлос Альберто вместе с приютившим его помощником Томми, косоглазым Элисео, о котором говорили, что он окосел потому, что слишком много летал со своим хозяином на «Мисси Лу» по извилистым андским ущельям. С ними был еще один рабочий, они прикатили тележку на двух автомобильных колесах. Пока Томми подкручивал расшатавшиеся в полете болты, мы выгрузили багаж и уложили его на тележку. Правда, ружья, бинокли, фотоаппараты и прочие нежные предметы мы предпочли нести сами. Наша предусмотрительность была вознаграждена: на полпути дно тележки провалилось, и багаж посыпался на траву. Пришлось Элисео идти в лес за палками и

лианами и заниматься текущим ремонтом, после которого мы без дальнейших злоключений докатили вещи до поселка. Здесь мы передохнули и выпили кофе, а затем Карлос Альберто доложил, что пришел Матеито. Мы вышли и на скамейке около дома увидели жилистого, коренастого индейца тинигуа. Он учтиво встал и поздоровался. Меня поразила его внешность. Когда Матеито был еще совсем юным пареньком, у него состоялась небольшая дискуссия с одним ягуаром, который считал индейских детей съедобными. Матеито никак не хотел с этим согласиться.

В пылу спора ягуар настолько забылся, что зацепил оппонента передней лапой. Матеито дал ему сдачи своим мачете, после чего спор оборвался ввиду кончины одного из спорщиков.

Но лапа успела сделать свое дело. Задев лицо молодого индейца, она лишила его одного глаза, щеки и нескольких зубов. От уха осталось что-то смахивающее на ядро грецкого ореха, уголок рта исказила вечная кривая улыбка. Поглядишь на Матеито слева — обыкновенный старый индеец, справа — будто химера с готического собора.

Некоторые пугались, впервые увидев Матеито, пугались беспричинно. В этом была, если хотите, его трагедия, потому что одноглазый тинигуа относился к людям хорошо и обожал детей. Но сознание своего страшного уродства сделало его замкнутым, застенчивым и нелюдимым. Когда у него не было никакого другого дела, он обычно вырезал куколок из бальсы, чтобы порадовать игрушкой какого-нибудь постреленка. В лесах у Гуаяберо с игрушками туго. Матеито был также великолепным резчиком по кости и рогу. Припасет побольше крохотных фигурок, нанижет на шнур и подарит кому-нибудь.

После разговора с Матеито наши планы обрели полную определенность. Было решено, что мы купим у нашего приятеля Томми большую лодку, которая ему все равно не нужна, поставим на ней мотор Фреда и отправимся вверх по Гуаяберо до ее притока Каньо Лосада. В его устье разобьем лагерь, более или менее постоянный, смотря по тому, что там обнаружим. Луис Барбудо останется в лагере с большой лодкой и основной частью снаряжения, а мы пойдем на маленькой пироге вверх по притоку, сколько будет можно.

От Каньо Лосада сплошной лес тянется через водораздел, до Яри и сети речушек, чьи воды впадают в Ваупес и вливаются в Амазонку. Следовательно, мы окажемся поблизости от рубежа между бассейнами Ориноко и Амазонки.

В бассейне Амазонки нам нечего делать. Мы будем работать на притоках Ориноко, пока не найдем настоящую большую

анаконду Eunectes murmus gigas. Или пока не получим новые распоряжения. Если только они до нас дойдут.

Правда, еще было неясно, эндемична ли анаконда в области Ориноко. Может быть, она и в Амазонасе водится? Но это мы выясним после. Сначала будем искать там, где больше надежд на успех.

Естественно, мы попробовали расспросить Матеито, однако наш проводник не был расположен говорить про анаконду. Едва речь зашла о великой змее, как он забыл то немногое, что знал по-испански, а нам было известно на языке тинигуа всего три-четыре слова. Конечно, Матеито знал, что анаконду в Колумбии называют «гюио», но он вообще избегал ее как-либо называть, а уж если некуда было деться, употреблял слово «супаи», означающее «демон», «злой дух», «дьявол». В конечном счете нам удалось выяснить у него, что на Каньо Лосада мы наверняка найдем супаи, а ниже по течению Гуаяберо водятся большие, очень большие супаи. Матеито не мог нам сказать, насколько они велики, он слышал только, что они «има има» — большие-пребольшие.

Мы официально наняли Матеито проводником и помощником моториста и начали готовиться к старту.

Солнце только-только выглянуло из-за леса, когда наша пятерка, захватив большую часть снаряжения, вышла на лодке из Кемп-Томпсона вверх по реке. Луис Барбудо хорошо знал фарватер, он бывал здесь раньше.

Прозрачные, как всегда в засушливое время года, струи Гуаяберо быстро бежали по ложу из серо-черной метаморфизованной горной породы. Лес во многих местах доходил почти до отметки разлива. Тут и там встречались каменистые пляжи с крупной галькой в верхней и мелким гравием в нижней частях намыва. Пока держится засуха и уровень воды падает, они будут все более обнажаться, и так до конца марта, когда снова польют дожди, пополняя водоемы влагой. Здесь лес еще не свели, как это сделали в густонаселенном крае к западу от гор, где за несколько десятилетий дождевой сезон укоротился на два месяца. Правее нас находилась южная часть Сьерры Макарены — крупнейшего заповедника Колумбии. Охрана в заповеднике в то время еще не была налажена, и браконьеры делали свое черное дело. Особенно доставалось оленям и тапирам.

На пути к устью Каньо Лосада мы одолели несколько несложных перекатов. Было чудесное свежее утро. Цапли изваяниями стояли по берегам, взлетая, когда мы подходили близко. Сине-красно-серебристые зимородки, словно ожившие

драгоценности, проносились мимо. Над берегом играли в воздухе вилохвостые коршуны. Высоко в небе кружила скопа. В густых зарослях, свесивших ветви над водой, возились гоацины[5]. Их квакающие крики, неловкие движения при лазании и неуклюжий полет вызывали в уме представление о древних предках птиц той поры, когда даже у самых развитых представителей пернатых клюв уснащали зубы, а вместо короткой гузки, которую кое-кто из моих друзей называет «архиерейским носом», болтался длинный хвост, как у ящерицы.

Крокодилов и кайманов не было видно. До нас здесь недавно побывали так называемые охотники-спортсмены, и они так нещадно обстреливали всех, даже самых маленьких представителей крокодильего племени, что уцелевшие спешили спрятаться при первом звуке мотора.

На всем пути от Кемп-Томпсона до Каньо Лосада мы не встретили ни одной лодки и не видели на берегу ни одного человека. Правда, в двух местах в галерейном лесу слева зияли прошлогодние вырубки, а один раз даже промелькнул домик колониста. Людская волна начала перехлестывать через горы и проникать сюда.

Но вот впереди слева открылся в лесу широкий просвет. Мы увидели песчаный пляж и за ним — тихий блестящий плес. Розовая колпица[6] взмыла в воздух, когда лодка, послушная руке Луиса Барбудо, описала кривую и вошла в устье притока. На светлом песочке отчетливая цепочка следов оленя переплелась с причудливыми отпечатками трехпалых ног капибары[7].

Мы прошли с километр по Каньо Лосада, но дальше тяжело нагруженной лодке путь преградил перекат. Мы пристали к берегу и принялись расчищать площадку для лагеря в зарослях гуаявы, в нескольких десятках метрах от воды. Прыгая с камня на камень, Матеито переправился на другой берег и через несколько минут привел маленькую пирогу, которая была у него спрятана под нависающими над плесом ветвями. Именно то, что нам нужно, чтобы продолжать путешествие вверх по притоку. Мы перетащили лодку через перекат к следующему пляжу, затем начали переносить багаж.

Эту работу возглавил Фред, а я вооружился накидной сетью и пошел добыть мелких рыбешек для коллекции и для наживки, чтобы потом поймать что-нибудь покрупнее на обед. Вскоре у меня в банке их набралось больше десятка серий. Особенно много было Thoracocharax stellatus, и я наживил ими несколько жерлиц. В месте слияния Каньо Лосада и Гуаяберо я остановился и забросил удочку.

Клев был хороший, а улова никакого, рыбы воровали

наживку, срезая ее с крючка чисто и аккуратно, словно бритвой. Все ясно. Я нарвался на косячок мелкой пирайи — она же пиранья, или пескарибе. Ориноко и Амазонка изобилуют пираньей. Известно много родов и видов этих хищных рыб, которые внешним обликом представляют нечто среднее между карасем, красноперкой и лещем, только чешуя у нее мельче и плотнее. Большинство пираний по величине не больше ладони, однако некоторые виды, в том числе грозная Serrasalmus nattereri, достигают одного-двух килограммов. Есть родственные формы, превосходящие их весом раз в десять, но они не ходят косяками и их нельзя считать настоящими пираньями.

Пиранью отличает ее прикус и обыкновение ходить в косяках, насчитывающих от нескольких десятков до сотен, даже тысяч экземпляров, и все примерно одной величины; недомерки, видимо, просто не выживают. Зубы у разных родов различаются, но все они заставляют невольно вспомнить слова, сказанные стариком Киплингом при виде живого паука-птицеяда: «Это, вне всякого сомнения, творение самого дьявола».

Возможно, прикус рода Serrasalmus уступает другим в живописности, зато эффективностью вряд ли что-нибудь может сравниться с уснащающими челюсти этих рыб миниатюрными бритвенными лезвиями. Некоторые индейские племена в районе Гуаяберо (если не ошибаюсь, пуинаве и пиапоко) в прошлом использовали вставленные в дерево челюсти пираньи в качестве перочинных ножей.

Иногда пираньи могут быть опасными даже для человека. Конечно, их кровожадность значительно преувеличена любителями сенсаций, миссионерской братией и исследователями-домоседами, которые даже смирного удава и слепых бродячих муравьев ухитряются изображать страшными чудовищами. А что они говорят и пишут о тех индейцах (юко, добокуби, аука), у которых хватает мужества постоять за своих женщин и защищать свои наследственные поля против вторжения чужеземцев! Один такой автор несколько лет назад заявил в своей книге, что он-де «только на миссионерской станции видел улыбающегося индейского ребенка». Написать такое мог тенденциозный враль или человек, который только на миссионерской станции и видел индейских детей.

Но вернемся к пираньям. Сколько раз мне доводилось наблюдать, как люди спокойно входят в речку, где водятся эти маленькие прожорливые рыбы. Да я и сам так поступал; другое дело, если бы у меня была малейшая ранка: похоже, что запах крови вызывает у пираньи агрессивный рефлекс. И уж, начав кусать, эти хищницы не успокоятся, пока от жертвы не останется

один скелет, во всяком случае пока косяк не наестся до отвала. Первое бывает чаще. Впрочем, я своими глазами видел, как подраненная капибара проплыла с полтора километра по реке, кишащей пираньями, и благополучно выбралась на берег, не получив ни одного укуса. Объясните это, кто может!

…Я сменил место, поймал накидкой разную мелюзгу для наживки, отошел еще дальше и снова принялся удить. На этот раз пираний опередила другая рыба — красивый сом из тех, которых на Ориноко обычно называют тихерета, а наука именует Paulicea lütkeni. Он весил килограмма три-четыре, и это совсем немного, если учесть, что самые крупные тихереты достигают сорока килограммов.

Пока я вытаскивал из воды сопротивляющегося сома, явились пираньи и, конечно же, набросились на него. Видно, с их точки зрения, в его поведении было что-то ненормальное. И они успели оборвать ему почти весь хвостовой плавник, прежде чем я извлек его на берег.

Крючки жерлиц оказались аккуратно обчищенными. И тут поработали пираньи. Я наживил крючки заново двумя сомиками и направился к лагерю, откуда незадолго перед тем до меня донеслись три выстрела и рокот подвесного мотора.

Карлос Альберто был занят разделкой маленького оленя, который задумал переправиться через реку поблизости от нашей стоянки, но был сражен из малокалиберной винтовки Фреда. Большую часть мяса мы засолили и закоптили, а остального вместе с моей тихеретой хватило на плотный обед пяти проголодавшимся мужчинам. После еды я сел на бревно у воды, спиной к угасающему костру и долго смотрел, покуривая, как сгущается сумрак над рекой.

Две кваквы пролетели мимо черными тенями на багровом фоне вечернего неба. От всплывающих рыб разбегались серебристые круги на темной поверхности воды ниже ониксовой кромки леса на другом берегу. В небе загорались звезды. Из чащи доносился крик исполинского козодоя, ему откликалась сова. Слабый металлический стрекот предварял концерт ночных насекомых. Душа моя наполнилась глубоким удовлетворением. Я в лесу… как хорошо!

Странное дело. Двадцать лет странствую по диким дорогам, а первый вечер новой экспедиции, первая ночевка в поле все так же волнуют, так же заманчивы, и упоительны. Завтра новый день, и за каждым кустом, за каждой излучиной реки ждет столько неизведанного, что, кажется, ни годы, ни усталость не лишат меня способности воспринимать очарование диких дорог…

Давно стемнело, когда я наконец пошел к своему гамаку и

забрался под полог. А еще до рассвета мы поднялись и, пока Карлос Альберто жарил оленину и варил кофе, начали готовить к походу пирогу. После завтрака мы простились с Луисом Барбудо и пошли на веслах вверх по Каньо Лосада. Где глубина поменьше, работали шестами. На перекатах местами приходилось вылезать из лодки и перетаскивать ее через камни. А кругом занимался новый день, свежий, омытый росой. Над нами по двое, стаями, шеренгами пролетали попугаи, по большей части зеленые амазонские с ярко-желтым лбом, но были среди них и крикливые яркие ара. На плодовом дереве у реки пировали гротескные туканы[8], через реку проносились дикие голуби, в лесной чаще затеяли свой утренний концерт рыжие обезьяны-ревуны[9].

Против течения мы продвигались не быстро, от силы три километра в час, но все равно это было вдвое-втрое больше того, что мы бы одолели, продираясь сквозь лес с заплечным мешком и с мачете. В лесу и десять километров в день — достижение, а по реке мы могли, не очень себя утруждая, пройти около тридцати километров, да лодка еще несла багаж, которого хватило бы на десять человек, если тащить на себе.

Но, конечно, мы отправились в экспедицию не для того, чтобы побивать рекорды скорости, а чтобы найти настоящую большую анаконду. Во время Макаренской экспедиции 1959 года, поднявшись вверх по этой речушке, я обнаружил на песчаном берегу след здоровенной змеи (этот случай описан в моей книге «В краю мангров»). Самой анаконды я не увидел, но, судя по ширине следа — тридцать восемь сантиметров, — змея была немалая! Матеито не слышал о том, чтобы после того в этих краях кто-нибудь убил большую супаи. Так может быть, она по-прежнему ползает в здешних лесах! Глядишь, с тех пор еще подросла… Трудно представить себе, чтобы у такой анаконды были естественные враги.

Мы придирчиво осматривали все песчаные пляжи. Следов было предостаточно: олени, капибары, пекари[10] и тапиры. Отпечатки широких лап — ягуар; лапы поменьше — пума. Следы выдры, оцелота[11], паки[12], разных птиц. Около самой воды проползали кайманы и черепахи. Но никаких признаков великой змеи.

Солнце поднималось все выше, появились песчаные мухи, попугаи и голуби укрылись в тень под пологом леса. В одном месте над нами пролетела гарпия[13]. С расправленными крыльями, переваривая утренний улов, сидели на поваленных деревьях бакланы и змеешейки[14].

Около полудня мы высадились на очередном пляже, сварили кофе и передохнули в тени длинных густых ветвей, но песчаные

мухи так неистово нас атаковали, что уже через полчаса мы продолжили путь вверх по реке. Снова перекат. Раздавшееся вширь русло здесь было настолько мелким, что нам пришлось вылезать из пироги и идти вброд.

Вода прозрачная, дно выстлано гравием. Значит, электрических угрей можно не опасаться, ведь они — во всяком случае днем — предпочитают глубокие темные заводи. Иное дело хвостоколы. Осторожности ради мы тыкали в дно палками. И раза два видели, как плоская рыбина отрывается от гравия и скользит прочь, чтобы тут же опять слиться с дном. Шип хвостокола не опасен для жизни, но боль от укола адская, человек на много дней, а то и недель выходит из строя. Мы не могли позволить себе терять столько времени.

До переката оставалось шагов двадцать, когда вода у наших ног вдруг словно закипела. Я пригляделся, увидел маленьких юрких рыб длиной сантиметров пятнадцать — двадцать, и у меня пробежал холодок по спине: это были пираньи. Не выпуская из рук борт пироги, я стал делать все более длинные шаги. Посмотрел на Фреда, на его напряженное лицо. А ну как этим тварям вздумается попробовать, какие мы на вкус? Одна начнет, другие присоединятся. От одной мысли об этом у меня волосы поднялись дыбом.

И тут я услышал веселый смех Матеито. Он показал на воду позади нас.

— Пайяра, — сказал индеец. — Съест пираньи. Пираньи торопятся.

В прозрачной воде мелькали две-три тонких серебристых рыбы в руку длиной. Они метались туда и обратно, хватая что-то зубами, видимо, пираний.

Пайяра (Raphiodon vulpinus) — крупная хищная рыба, ее челюсти усеяны большими и малыми зубами, которым не только щука, даже барракуда может позавидовать. И у нее весьма раздражительный нрав. Если вы, ловя рыбу на спиннинг, нечаянно поведете свою жертву, скажем дораду, мимо убежища пайяры, можно биться об заклад, что хищница выскочит и ущипнет беднягу — просто так, из ехидства. Я не знаю, почему она так поступает, только рассказываю о том, что видел своими глазами. Фред уверяет, что мама-пиранья пугает пайярой своих детей, когда они себя скверно ведут. Так или иначе буйный нрав пайяр на сей раз был нам на руку. Лишь бы они держались подальше от наших ног.

Наконец мы выбрались на камни, и нам перестали рисоваться страшные картины. Перетащили пирогу по желобу через перекат, заняли свои места и пошли по глубокому плесу на веслах до

следующей быстрины.

Все эти часы мы не видели никаких примет человеческой деятельности. Кругом девственный лес и непуганые птицы. Здесь даже тинигуа бывали не каждый год. На одном из плесов по лопатки в воде стоял тапир. При нашем появлении он неторопливо повернул свою гротескную голову с прищуренными глазами и уставился на нас. Лишь когда мы подошли на расстояние выстрела, тапир лениво побрел к берегу, вскарабкался на уступ и исчез. Эта встреча состоялась средь бела дня, в четыре часа.

Часом позже мы разбили лагерь. Пристали к берегу, зачалили лодку, подвесили между деревьями наши гамаки и пологи от комаров, развели костер и приготовили обед: суп из оленины и сушеных овощей. И конечно, сварили кофе, без него лагерь в лесу просто немыслим.

В половине восьмого мы уже спали крепким сном утомленных тружеников. А около десяти нас разбудило громкое фырканье и тяжелый топот. Тапир, ночной бродяга, зашел к нам в лагерь, остановился в двух шагах от моего гамака и несколько минут обнюхивал его, наконец сообразил, что эти чужаки могут оказаться опасными, и удалился. Было слышно, как он топчет хворост на опушке, за лианами.

На другое утро мы встали рано и за день прошли изрядный путь. Завидев очередной пляж, либо Фред, либо я сходили на берег и проверяли следы на песке. В следах недостатка не было. Чем выше по реке, тем больше непуганой дичи. Особенно много встречалось крупных куриных: гокко, не меньше трех видов пенелоп[15]. Немало видели мы и кайманов, преимущественно очковых[16], но также маленьких, темных гладколобых Paleosuchus palpebrosus[17]. Вот только анаконда не показывалась.

В этот день мы не занимались охотой. У нас еще была оленина. Зачем тратить время на стрельбу! И вообще тут рука не поднималась на дичь. Вечером разбили лагерь на длинном пляже, протянувшемся на километр с лишком. Здесь была моя последняя стоянка во время Макаренской экспедиции.

Снова пронизанный солнцем вечер, прозрачный воздух над пляжем и рекой. Снова посеребренная звездами ночь в сельве, причудливые голоса из лесной чащи…

К полуночи, когда поднялась луна, на пляж вышел ягуар. Встал и зарычал буйный зверь, бросая вызов всему миру. Из-за реки отозвался соперник. Может, они потом столкнулись, а может, ограничились предупреждением, напомнили друг другу, что рубеж между охотничьими угодьями проходит по реке. Я лежал и слушал их диалог. Потом Фред захрапел так, что,

наверно, все живое кругом в панике бежало.

Несмотря на весь этот шум, я уснул и проснулся уже на рассвете. Молча оделся, выпил чашку-вторую кофе, взял мачете, дробовик и зашагал вдоль пляжа вверх по реке. Оленя съели, пора добыть свежатинки. Заодно посмотрю, что речка сулит нам дальше. Правда, она тут совсем узкая и мелкая, вряд ли такой ручей привлечет хорошую анаконду, хоть и много дичи. А впрочем, откуда нам знать, верны ли наши догадки о вкусах исполинской змеи?

Утро свежее, тихое, песчаные мухи еще не проснулись. Хорошо на душе утром, особенно, когда бродишь один по лесу. В конце пляжа я свернул в заросли. Некогда здесь прошел ураган, теперь густой кустарник поднялся над гниющим буреломом. Судя по натоптанной тропе, сюда приходили пастись тапиры. Да жаль, эти тропы обычно начинаются вдруг, никуда не ведут и внезапно обрываются. Но в густом подлеске и они подчас могут выручить.

Дальше мне попалось плодовое дерево, которое явно привлекало крупных, зеленых с черным пенелоп Pipile cumanensis, и за каких-нибудь четверть часа я подстрелил четыре птицы. Подвесив добычу на дереве у реки и прикрыв ее от грифов колючими ветвями, прошел еще немного — и вот я во второй раз стою у переката, который в 1959 году положил конец нашему продвижению вверх. Тогда нас было только двое. Смогут ли четверо перетащить лодку через камни и перенести снаряжение? Я в этом сильно сомневался.

Пересохшее русло маленького притока увело меня в лес, потом я повернул влево и снова вышел к реке. Передо мной простирался широкий, задумчивый плес. Похоже, тут глубоко… Самое подходящее место для встречи с каким-нибудь пугливым лесным жителем, если ты встал рано и двигался по лесу без шума. Осторожно переходя от ствола к стволу, иногда останавливаясь на минуту-другую, чтобы посмотреть и послушать, я приблизился к воде.

Плес был большой, особенно глубокий с моей стороны, где лес доходил до самой воды. От берега до берега не один десяток метров, вдвое большее расстояние отделяло меня от переката вверху, несколько ближе было до нижней быстрины. Я тихо сел на плоский камень. Подожду. Я подошел бесшумно, против ветра. Теперь надо только проявить терпение. Не может быть, чтобы этот уголок не облюбовал какой-нибудь редкостный зверь! Скажем, старый крокодил. Или — почему не помечтать — крупная анаконда.

Вот рядом со мной порхает бабочка Caligo, крылья величиной с детские ладошки. В воздухе перед пламенным цветком

страстоцвета вдруг повисает крохотный, чуть больше шершня, колибри. Он переливается зелеными, серебристыми, сизыми искорками, словно оживший драгоценный камень пульсирует. Да может ли такое существовать на свете! В ту минуту, когда я уже готов поверить своим глазам, колибри вдруг пропадает в каком-то своем, пятом измерении.

Над рекой парит красавица морфо с мерцающими голубыми крылышками. А вот кто-то всплыл пониже верхнего переката. Показалась и исчезла чья-то плоская влажная голова, мелькнула широкая бурая спина. Еще одна, еще… Четыре спины вереницей, одна за другой. Или это изгибы одной и той же спины? Что за тварь такая?

Во всяком случае, не речной дельфин, дельфины не заходят так высоко по маленьким притокам. И не крокодил: за двадцать лет в сельве я ни разу не видел таких крокодилов. Видение исчезает в глубине плеса. Бесшумно перезаряжаю ружье, заменяю птичью дробь оленьей картечью. И снова замираю, глядя на воду. От нижнего переката, слева, доносится всплеск. Повертываю голову, но опять вижу только вереницу широких спин или изгибы одной спины. И снова все исчезает. Правда, теперь это как будто двигается в мою сторону. Если это и впрямь то, о чем я мечтаю, так ведь про такую анаконду можно целую монографию написать! Напряжение становится невыносимым.

Прямо передо мной, метрах в двадцати, из воды появляется голова на длинной толстой шее. Бурая волосатая голова с крохотными ушами. Еще одна, еще, их уже пять штук, и загадка разгадана: это семья бразильских исполинских выдр[18]. От носа до кончика хвоста около двух метров, короткий бурый мех, скорее, напоминает котика. Впервые в жизни мне представился случай по-настоящему разглядеть «лобо де агуа» — водяного волка, как называют огромную выдру.

Пятерка затеяла игру. Выдры ныряли, всплывали, гонялись друг за другом. Это было похоже на танец в воде, и они двигались так стремительно, так ловко, что подчас непросто уследить за ними взглядом. Сразу было видно, что им вместе весело и хорошо. Они играли совсем как ласковые щенята, или медвежата, или человеческие дети. То кусаются понарошку, то гладят друг друга передними лапами. Уверен, что они при этом смеялись.

Ружье лежало на моих коленях ненужным грузом. На минуту я пожалел, что у меня нет кинокамеры. Потом пожалел, что я сам не выдра. Но всего сильнее было чувство радости и благодарности, что на мою долю выпало вот так смотреть и наслаждаться, никому не мешая.

Не знаю, сколько длилась эта игра. Когда восприятие так

полно, все меры времени теряют смысл. Во всяком случае, когда выдры наконец ушли за верхний перекат и я пошел вниз, чтобы отнести в лагерь подстреленных птиц, солнце уже успело подняться довольно высоко над лесом.

Матеито собирал хворост, Карлос Альберто полным ходом удил рыбу на завтрак, Фред добыл двух гладколобых кайманов и занимался их обработкой. Я забросил накидку и наловил рыбешек для своей коллекции.

Завтра свернем лагерь и уйдем вниз, туда, где ждет с моторной лодкой Луис Барбудо. Каньо Лосада не вознаградила нас анакондой, но я рад и тому, что получил. В прошлый раз это была молодая пума, теперь — исполинские выдры.

В моей мысленной картотеке Каньо Лосада всегда будет называться «река прекрасных видений».

# Супаи

Мы сидели на берегу Каньо Лосада, в самом конце длинного пляжа, занятые дневкой. Да-да, занятые. Если кто-нибудь при слове «дневка» представляет себе отдых и развлечения, думает, что мы проводили время в праздности, я вынужден возразить: как ни прекрасна эта мысль, она далека от суровой действительности. Дневка в дальнем походе — это такой день, когда надо сделать тысячу дел.

Мы развели три костра, каждый для своей цели. Над одним из них Фред вываривал черепа кайманов, ему мы отвели место с подветренной стороны. Над другим Матеито коптил рыбу в дорогу. Над третьим Карлос Альберто готовил обед: суп и вареная птица с рисом. Что до меня, то я разобрал пойманных рыбешек, поместил каждый вид отдельно с ярлычком в полиэтиленовые мешочки, а мешочки — в бидон со спиртом. Там они пролежат до конца экспедиции, потом попадут в лабораторию и подвергнутся исследованию.

Нам еще надо было наточить крючки, ножи и мачете, проверить лески, осмотреть лодку, прочистить и смазать ружья, постирать и зашить одежду, и так далее, и тому подобное. Словом, управиться со всем тем, до чего не доходят руки в маршевые дни.

Я как раз протер свой штуцер, когда Матеито вдруг издал протяжное шипение и окаменел, обратившись лицом к противоположному берегу. В эту минуту он был похож на пойнтера, делающего стойку над выводком рябчиков. Мы проследили направление его взгляда. Напротив нашей площадки от большого камня круто спускалась к воде звериная тропа, окаймленная с двух сторон алым цветом бромелиевых и бихао. От нас до нее было метров семьдесят. И вот по этой тропе сейчас двигался к реке рослый тапир. Он вошел в воду и остановился.

На нашем берегу горели три костра, подле них сидело четыре человека. С утра уже прозвучало семь-восемь выстрелов (я стрелял по птицам, Фред — по кайманам). На часах было около десяти, вовсю жарило солнце. Возможно ли, чтобы это доисторическое чучело совсем не видело и не чуяло нас? Не слышало, как Матеито несколько минут назад рубил хворост? Ну хорошо, песчаные мухи донимают (нам пришлось намазать лицо и руки репудином), и в зарослях к тому же тьма оводов и прочих мучителей, поневоле от них в реку убежишь, пусть даже у тебя кожа тапира. Но ведь рядом можно было найти сколько угодно не менее удобных мест для купания!

Видно, этот тапир никогда в жизни не сталкивался с людьми. Он просто не понимал, что человек опасен, опаснее самого голодного ягуара. Наше присутствие его нисколько не тревожило, ему захотелось искупаться именно здесь, и он исполнил свое желание. Что ж, ему повезло. Ведь он мог нарваться на соскучившихся по свежему мясу колонистов или индейцев, а то и на охотников-туристов, которые стреляют по любой живой мишени, не задумываясь над тем, что они будут делать с добычей. Год назад в саванне такая компания убила с машин больше семидесяти оленей. И взяла только рога, а мясо досталось грифам. Местным жителям, для которых оленина была немаловажным подспорьем, пришлось на несколько лет подтянуть ремешки, ждать, пока стадо восстановится. Если только это вообще возможно после такого избиения.

Тапир вовсю наслаждался, стоя в чудесной прохладной воде. Тяжелая туша слегка покачивалась, как будто он переступал с ноги на ногу. Длинные лошадиные уши вертелись в разные стороны. Иногда он поднимал рыло вверх и принюхивался. Берег позади него окаймляли саговники, и вся сцена казалась заимствованной из совсем другой эпохи, истекшей миллионы лет назад. Миоцен, чистейший миоцен. А может быть, плиоцен, когда образовался Панамский перешеек и тапиры пришли на юг.

Останутся ли тапиры в Южной Америке через пятьдесят лет? Останутся ли саговники? Сердце сжимается, и на душе гадко, как подумаешь о людях, которые все кругом разрушают. Жаль этого зверя, жаль тропических дебрей, обреченных на бессмысленную погибель. И я ничего не могу поделать, чтобы их спасти. Одно ясно. Я должен напугать это доверчивое существо, научить его, что человек опасен, человека надо избегать. Это поможет тапиру подольше прожить. Иначе первая же охотничья экспедиция запросто его уложит. Я осторожно зарядил штуцер тремя патронами. Фред заметил мой маневр, неверно его истолковал, сделал страшные глаза и прошипел:

— Убийца!

Что-то встревожило древнего зверя. Ветер был боковой, но, возможно, над рекой потянуло дымком. Гротескная голова повернулась в одну, в другую сторону, свиные глазки подозрительно уставились на нас. Костер Фреда громко затрещал: толстый сук перегорел посредине и развалился. Этого оказалось достаточно. Тапир развернулся и не торопясь пошел к своей тропе.

Он успел отойти всего на метр от воды, когда первая пуля ударила в камень прямо перед ним. Осколки полетели во все стороны, гость из прошлого чуть не сел от испуга. Потом сделал

полный оборот, снова вошел в воду и зашагал вниз по реке. Вторая пуля угодила в бурелом в двух-трех метрах от тапира. Он метнулся в сторону и пошел через реку в нашу сторону. Подпустив его шагов на десять, мы встали и принялись кричать и размахивать руками. Только теперь он разглядел нас, слегка изменил курс и пробежал метрах в шести от лагеря. Тапир развил немалую скорость, земля гудела под его ногами, когда он галопом пересек пляж и углубился в лес.

Мы молча посмотрели друг на друга, потом вернулись к своим занятиям. Странно, мне почему-то было стыдно своего поступка, хотя я действовал с самыми благими намерениями. Как будто я нечаянно на что-то посягнул, но на что?

На рассвете следующего дня мы погрузили вещи в пирогу и пошли вниз по Каньо Лосада. До чего приятно после нескольких дней борьбы с течением развернуть нос лодки в другую сторону и подчиниться воле потока. Конечно, надо быть начеку, остерегаться перекатов, подводных камней, водоворотов и «палисадас» — преград из топляка, которые порой достигают немалых размеров. Самые коварные палисадас скрываются обычно под водой, они не одной лодке протаранили днище и явились причиной многих смертей. И конечно год от года река меняется. После каждого сезона могут образоваться новые пляжи, новые палисадас, берега обрушиваются, быстрины смещаются, и приходится осваивать заново весь фарватер.

До верхнего лагеря на Каньо Лосада мы добирались два дня, и это стоило нам немалого труда. Обратный путь лодка одолела вдвое быстрее. Мы уложились бы в двенадцать часов, будь уровень воды сантиметров на пятнадцать повыше. А так нам то и дело приходилось вылезать из пироги и перетаскивать ее через пороги. Сумерки застигли нас километрах в пяти от последнего большого переката. Оставшийся отрезок считался слишком опасным, чтобы проходить его в темноте с драгоценным снаряжением, и мы скрепя сердце разбили лагерь на берегу.

Охотиться и заниматься рыбной ловлей было поздно, и тут нам пригодилась рыба, которую накоптил Матеито. В тот день мы поднялись утром очень рано, и я едва не уснул в ожидании ужина. Ночью ничто не нарушало наш покой, поэтому мы опять встали пораньше, чтобы пройти порог на рассвете. Солнце только-только выглянуло из-за леса, когда мы достигли последнего маленького переката и окликнули Луиса Барбудо.

Никто не ответил на наш зов. И ни лагеря, ни лодки не видно. Странно… Матеито молча взял свое древнее ружьишко и нырнул в лес. А мы подвели пирогу к островку и укрылись на нем. Позиция вполне надежная: провиант есть, дрова и вода под

рукой, оружия и боеприпасов достаточно.

Через полчаса разведчик показался снова, его сопровождал Луис Барбудо. Они знаком подозвали нас, мы подошли к берегу, и наш моторист рассказал, что произошло. Вчера в лагерь пришли Агапито и несколько человек из его племени, принесли для нас фариньи. Фаринья — грубая мука из корней ядовитого маниока; точнее, ядовит сок, а мука полезна, ею заправляют суп или варят из нее болтушку. Тинигуа выращивают преимущественно ядовитый маниок — юка брава — и делают отличную фаринью — важный продовольственный продукт и предмет торговли к востоку от Анд.

Агапито рассказал Луису, что какой-то чужак, вроде бы испанский священник, поднялся на моторной лодке вверх по Гуаяберо и остановился у колонистов километрах в десяти от нашего лагеря в устье Каньо Лосада. Этот человек велел сообщить индейцам, что его прислали вести среди них миссионерскую деятельность; следовательно, они обязаны снабжать его курами, яйцами, рыбой, бананами, кукурузой и другими продуктами. Что было дальше, тинигуа точно не знали, но они видели в районе Кемп-Томпсона дым, как от пожара. Это встревожило Агапито, и он посоветовал Луису Барбудо спрятаться в лесу и ждать там, пока мы не вернемся. Индейцы помогли Луису перенести и спрятать наше имущество в чаще. Пирогу Агапито и моторку укрыли в замаскированном кустами устье маленького притока.

Здесь стоит, пожалуй, в нескольких словах объяснить причину такого переполоха.

Вразрез с республиканским законодательством больше половины территории Колумбии считается «миссионерской областью», здесь заправляют церковь и священники. Порядок этот введен будто бы для блага индейцев, на деле же они являются крепостными церковников, их права не защищены никакими законами. Если святым отцам придется не по нраву деятельность того или иного государственного чиновника в пределах «миссионерской области», им ничего не стоит добиться его снятия. Словом, церковь бесконтрольно творит, что хочет. Нередко миссионеры используют по своему произволу полицию, чтобы склонить к покорности местных жителей.

Многие миссионеры (среди них преобладают приезжие испанцы) беззастенчиво обогащаются за счет колонистов и индейцев. Недаром в Колумбии говорят, что еще ни один священник не вернулся неимущим из восточных льяносов. Естественно, такой апостол не рад, когда в облюбованном им районе появляются другие белые. Тем более если это научные работники, врачи и другие представители интеллигенции. Они,

во-первых, могут так или иначе оказаться конкурентами, во-вторых, способны огласить неприятную истину о виденном и слышанном. Случалось, исследователей попросту не допускали в некоторые районы или им навязывали в сопровождающие миссионера и полицейских или солдат. Легко представить себе, насколько такой довесок затрудняет продвижение в сельве, мешает контакту с недоверчивыми индейцами и осложняет планомерную научную работу. Мы выполняли официальное задание, у нас были чисто зоологические цели, и казалось бы, можно работать без помех, однако на деле это не всегда выручает.

По запутанным тропкам Луис и Матеито привели нас к Агапито и представили его спутникам: трем мужчинам, двум женщинам и мальчику-подростку. Индейцы были сильно встревожены, они помышляли только о том, чтобы скорее раствориться в лесу.

Как мы думаем: не везет ли священник с собой солдат? Тинигуа вовсе не хотелось, чтобы их наставляли на путь истинный. И это не удивительно, если вспомнить, как с ними обходились так называемые христиане…

Мы взяли у них фаринью, а они получили от нас соль, рыболовные крючки, проволочные поводки, нож и топорик; тинигуа предпочитали деньгам товары. Кроме того, мы преподнесли Агапито мачете в нарядных ножнах, а мужчинам и мальчику досталось по найлоновой леске. Наши индейские друзья обрадованно улыбались. Затем они попрощались, отошли на три шага и исчезли в лесу.

На следующее утро мы встали затемно и, как только развиднелось, тронулись в путь. Послушный умелым рукам Луиса, мотор работал, как часы. Когда до Кемп-Томпсона оставалось четыре-пять километров и впереди показался порог, Матеито вдруг лег ничком на дно лодки и спрятался среди узлов и ящиков. Он сделал рукой знак Луису Барбудо, чтобы тот держал лодку возможно левее. Стоя на коленях на носу, Карлос Альберто отталкивался длинным шестом от камней и палисадас. Мы с Фредом взяли ружья: спасем хоть их, если лодка вдруг опрокинется!

Длинная скала делила перекат на два рукава. Вверх мы шли по правому, теперь же свернули в левый, держась подальше от берега, на котором лежал Кемп-Томпсон. Только нас подхватила быстрина, как я увидел на правом берегу три фигуры. Двое судя по одежде были колонисты, и один из них держал в руках ружье. На третьем я разглядел светлую сутану и миссионерский шлем. Они кричали и махали, однако нам в эту минуту было не до них. В узком протоке надо было глядеть в оба, чтобы не разбить лодку

о камень. А трое на берегу продолжали кричать и жестикулировать. За гулом порога мы не разбирали слов, но их жесты были достаточно выразительны. Они требовали, чтобы мы немедленно подошли к ним.

Мы с Фредом вопросительно посмотрели на Матеито. На его лице было написано решительное «нет», и как только мы вышли на плес, рулевой получил соответствующие инструкции. Лодка развернулась носом к течению и остановилась посреди реки; мотор работал на малых оборотах.

Тройка перестала махать руками и быстро спустилась к самой воде. Священник снова окликнул нас. Мы разглядели, что у него на поясе висит револьвер. Сидевший около моториста Фред покачал головой и подвес руку к уху, как бы для того, чтобы лучше слышать. Священник продолжал надсаживаться; Фред снова покачал головой и показал рукой вниз по течению: дескать, нам туда. Миссионер тоже перешел на язык жестов. Смысл был очевиден: мы должны немедленно пристать к берегу, чтобы отвезти его со спутниками вверх по реке. Фред повторил свой жест. Почтенный пастырь не на шутку возмутился. Он грозил нам кулаком, топал ногами, потом опять что-то изобразил руками.

Фред презрительно усмехнулся и вполголоса отдал Луису новую команду, предварительно вручив ему свое ружье. Мотор застучал громче, и лодка подошла поближе к берегу. Теперь нас отделяло от миссионера и его свиты метров двадцать пять.

Фред наклонился, поднял мой дробовик и положил себе на колени. Карлос Альберто уже вооружился, я держал в руках штуцер, Матеито все еще лежал между ящиками. Мимический диалог продолжался. Герпетолог сложил из пальцев фигуру, передающую понятие «ехать верхом». Потом приставил большие пальцы к вискам и изобразил ладонями длинные уши, одновременно поводя нижней челюстью так, словно жевал жвачку. И наконец указал на человека в сутане. В переводе на обычный язык это следовало понимать так: «Достань себе осла и поезжай верхом!» Мы дружно расхохотались, да и колонисты на берегу едва удерживались от смеха. Я поглядел на Матеито и впервые в жизни увидел хохочущего тинигуа.

Священник кричал, бесновался, грозился, хотел даже вырвать ружье из рук колониста, но тот живо отступил на несколько шагов и что-то сказал своему пастырю. Должно быть, обратил его внимание на наше оружие. Праведный отец вспомнил, что провидение обычно на стороне того, кто лучше вооружен, и ограничился страшными проклятиями.

Фред спокойно выслушал его. Потом сложил пальцы в фигуру, на которую в льяносах обычно отвечают ударом ножа.

Луис развернул лодку носом вниз по течению и дал полный ход. Вскоре мы подошли к Кемп-Томпсону. Вернее, к тому месту, где некогда был Кемп-Томпсон. От поселка ничего не осталось, только черные пепелища. Мы опознали обугленные останки тачки; на самом берегу лежали закопченные бочки из-под горючего. Кто-то вышел из кустов на мысу и помахал нам.

— Это Элисео, — сказал Карлос Альберто. — Может, от него узнаем, что произошло.

Мы причалили и услышали грустную историю. Томми на несколько дней отправился в Вильявиченсио и Боготу, очевидно, чтобы организовать очередную охотничью экспедицию. Без него прибыл на алюминиевой лодке с подвесным мотором священник вместе со своим служкой и мотористом. Они пристали к берегу в Кемп-Томпсоне и потребовали дать им горючего, а платить отказались. Потом пошли дальше вверх по реке, но один из них зловеще посулил, что они еще вернутся.

Элисео не мог дать им отпор и, как только чужаки убрались восвояси, поспешил спрятать в лесу ружья своего хозяина и прочее ценное имущество. Тщательно прикрыл ветвями бензиновые бочки около посадочной площадки. Нагрузил лодку провиантом и другими вещами и отогнал ее в заросли в двух-трех километрах от лагеря.

Меры предосторожности оправдались. Возвращаясь вечером в поселок пешком, Элисео почувствовал запах дыма. Постройки горели ярким пламенем. Спасать их было поздно, и он предпочел отсидеться до утра в лесу. Скорее всего, поселок подожгли колонисты. У них были веские причины недолюбливать охотников, которые почем зря били тапиров, оставляя местных жителей без мяса. Но конечно, без поддержки тех, в ком они видели представителей власти, колонисты не решились бы на такое.

А что же с лодкой священника, почему он требовал, чтобы мы его подвезли? Элисео объяснил, что испанец напоролся на топляк и его алюминиевая лодка пошла ко дну в пяти километрах выше Кемп-Томпсона. Святой отец отправил своих спутников вниз за другой лодкой, а сам решил погостить у колонистов. Попросив нас сообщить о случившемся Томми, Элисео снова ушел в лес. Мы продолжили наше плавание; лишь теперь Матеито наконец отважился сесть.

Вечером, одолев по пути два-три сложных порога, мы разбили лагерь в нескольких десятках километрах ниже Кемп-Томпсона. Только сошли на берег, как явился обед в лице стаи больших черных мускусных уток[19]. Они вели себя так, будто никогда не видели людей. Селезень этого вида весит до трех с половиной

килограммов; два селезня да горсть фариньи — вот и плотная трапеза на всех пятерых. Еще осталось немного на завтрак.

На следующее утро мы видели на берегах и тапиров, и капибар Один тапир вздумал пересечь реку, и мы едва не нагнали его на лодке. Выйдя на берег, он остановился, повернул голову, поглядел на нас как бы с упреком, потом затрусил в чащу.

На гравийных пляжах можно было увидеть парочки оринокских гусей[20]. Жители льяносов обычно называют их «пато карретеро», то есть «шоссейными утками», потому что эти птицы любят открытые места. На самом деле это не утки, а именно гуси — Neochen jubatus. Они совсем не пугливы, но там, где люди начинают преследовать желанную дичь, быстро привыкают остерегаться человека и становятся такими же сторожкими, как и другие дикие гуси.

Под вечер мы облюбовали себе песчаный пляж для стоянки. Карлос Альберто развел костер и принялся варить гусей, Луис занялся рыбной ловлей, а мы с Фредом чистили оружие, подвешивали гамаки и писали в своих дневниках. Матеито взял ружьишко и отправился в лес. Обед еще не был готов, когда он вернулся, шагая чуть быстрее обычного, и остановился перед Фредом. Наконец тот поднял на него взгляд, тогда индеец указал рукой вниз по реке.

— Следы, — тихо произнес он. — Следы супаи. Большой доктор видел следы?

Мы живо встали и пошли за ним в нижний конец пляжа. Здесь побывали капибары, пака оставил на мелком сухом песке отпечатки своих ног, похожие на след барсука. Вдоль опушки леса несколько дней назад прошел ягуар. У самой воды прогулялись черепахи терекай[21]. Мы увидели также следы ящериц, лесных крыс, крабов. И поверх всего тянулся странный отпечаток, словно здесь проехал небольшой грузовик, но с одним только широким колесом. Извилистый след привел нас к опушке леса, здесь он пропал на более твердой почве между кустов и бурелома.

— Супаи, — прошептал Матеито.

Да, никакого сомнения. Только анаконда может оставить такой отпечаток. Мы с Фредом хорошо его знали. Герпетолог присел на корточках, чтобы измерить ширину следа пядью. Его пядь оказалась мала.

— Ничего выдающегося, — сказал он. — Бывают и покрупнее. Метров шесть-семь будет. А вообще-то пригодилась бы для сравнения, если нам еще попадется действительно большая анаконда.

— По Дитмарсу, они больше этого не бывают, — заметил я. — Помнится мне, он обещал тысячу долларов за

десятиметровую кожу. Но никто так и не пришел к нему за наградой. И он решительно утверждал, что семь метров — потолок.

— Из того, чего Дитмарс не знает об анакондах, можно составить пухлый том, — сухо отметил Фред. — Думается мне, самых больших анаконд не так-то просто обнаружить. А найдешь, так еще попробуй поймать.

Возразить было нечего. Мы вернулись в лагерь, наспех перекусили, потом Фред отправился вместе с Карлосом Альберто и Матеито на рекогносцировку, а я укрылся под пологом от полчищ голодных комаров и песчаных мух.

Разведчики вернулись чуть не в полночь, их поиски ничего не дали.

Рано утром мы стали собираться в путь. На одну из жерлиц попался большой плоскоголовый сом Sorubimichthyc planiceps, совершенно неправдоподобное создание, как, впрочем, и многие другие рыбы бассейна Ориноко. Его нижняя челюсть, не знаю уж почему, похожа на лопаточку и выдается далеко вперед. У родственных этому виду Sorubim наоборот — верхняя челюсть лопаточкой выдается над нижней. Часть сома мы съели сразу, часть припасли для второго завтрака, хорошенько прожарив; голову заспиртовали. Сегодня мы собирались двигаться не спеша, высматривая по пути анаконду.

Над рекой носились водорезы[22], цапли статуями стояли по берегам. Мимо, кувыркаясь, прошли речные дельфины[23]. Только лодка вышла на первый плес, как Матеито повернул голову, указал подбородком на громоздившийся у самого берега топляк и прошептал: — Супаи!

Приглушив мотор, мы свернули туда.

В самом деле! Толстое бурое тело с круглыми черными пятнами на боках обвивало сухие серые ветви и лоскуты почерневшей коры. Размеры немалые, если подходить с умеренными запросами. Мы видели метров около. трех, а сколько скрыто под водой? Голова и полуметровая шея торчали горизонтально из развилки примерно в двух метрах над землей. Когда встречаешь змею в такой обстановке, чрезвычайно трудно определить ее размеры. Догадки, как правило, оказываются ошибочными, и чаще всего ошибаются в сторону преувеличения, до пятидесяти процентов и больше. Только специалисты склонны преуменьшать…

— Ничего анаконда, — отметил Фред. — Хотя крупной ее не назовешь. Вполне возможно, это та самая, чей след мы видели вчера. А ты что это взялся за дробовик?

— Как что? Хочу добыть экземпляр для коллекции.

— Анаконду надо бить из винтовки, тогда не испортишь кожу.

— Из твоей винтовки можно разве что добить ящерицу, которая уже сидит в сачке, — ответил я. — Твоя неизлечимая любовь к этой мухобойке приведет только к тому, что первый же экземпляр уйдет от нас. Ладно, если непременно нужна пуля, я к вашим услугам.

И я поменял двустволку на штуцер.

_ Это уж чересчур, — продолжал спорить Фред. — Во всяком случае, не стреляй в голову. Она нужна для коллекции.

— Не бойся, при таком калибре можно и в шею стрелять, — успокоил я его. — Найди-ка веревку покрепче, Карлос Альберто. Честное слово, обидно будет упустить такого славного ужа.

— Сперва надо причалить и приготовить аркан, — предупредил мой коллега. — Как бы уж не начал отбиваться, когда мы возьмем его в оборот.

Карлос Альберто спрыгнул на берег, держа наготове аркан; Матеито обмотал другой конец веревки вокруг толстого дерева. После этого я прицелился в змею, на две ладони ниже головы, и выстрелил. Надо отдать должное предусмотрительности Фреда. Как только прозвучал выстрел, анаконда чрезвычайно оживилась. Правда, живость ее была весьма беспорядочного свойства, что вполне понятно, ведь пуля перебила ей позвоночник. Голова и шея, можно сказать, уже умерли, тело же бешено билось, ломая толстые сучья и сотрясая всю палисадас. Хорошо, что Карлосу Альберто удалось набросить петлю на шею анаконды, не то роскошный экземпляр мог бы плюхнуться в реку, а тогда ищи-свищи. Напрягая все силы, мы удержали змею и мало-помалу разжали ее кольца. Хвост снова и снова обвивался вокруг бревен, того и гляди, захватит кого-нибудь из нас и стиснет как следует! Разумеется, выстрел убил анаконду, но она такая длинная, что весть об этом далеко не сразу дошла до всех частей мускулистого тела. Мы провозились не меньше часа, прежде чем сумели наконец вытащить змею на берег и растянуть ее для измерения.

— Шесть метров шестнадцать сантиметров, — объявил Фред. — Хвастаться нечем, но как сравнительный материал годится. Ладно, теперь снимем кожу.

Эта работа заняла у нас почти полдня. Голову отделили и тщательно препарировали. Кожу сняли, очистили от жира, натерли солью и повесили в тени сушиться. Потом мы ее свернем мездрой наружу, а в следующем лагере будем сушить дальше. Остаток дня мы решили посвятить сбору рыб для коллекции и пополнению наших запасов провианта. Фред и Карлос Альберто отправились с ружьями в лес, Луис и Матеито пошли удить рыбу.

Я несколько раз забросил накидку и выловил изрядное количество мелких рыбешек. Aphyocharax с радужной чешуей и кирпично-красными плавниками; самые крупные — в половину моего указательного пальца. Thoracocharax — этакие прыткие серебряные монетки; они способны пролететь по воздуху полтора метра: это в двадцать раз больше их собственной длины. Roeboides — словно лещ в миниатюре, но с зубоподобными бугорками вдоль челюстей снаружи. Astyanax, Monkhausia, Tetragonopterus — названия, интересные только ихтиологам и аквариумистам. Для большинства людей это просто набор букв, для знатока — символ упоительной красоты.

Были тут и сомы. Шипоносные, с острыми кинжалами в грудных плавниках, Pimelodus и Pimelodella. Пухлые панцирные сомики с широкими плавниками веером и тонюсенькие панцирные сомики с длинными острыми плавниками. Паразитический сомик Vandellia plazaii, который селится в жабрах своих крупных родичей и сосет из них кровь.

Я еще разбирал свой улов, когда вернулись охотники. Матеито, похожий на узловатую корягу, сел подле дымного костра коптить оленину на завтрашний день, Карлос Альберто принялся готовить ужин. По речной глади рассыпалось отражение звезд прежде, чем мы кончили коптить мясо и завернули его в высушенные над огнем листья бихао. Через редкую ткань комариного полога я смотрел, как тускнеет и умирает костер. Где-то кричала кваква[24].

# Деревья, дельфины, дон Хусто и Ангостура

Утро над рекой, ясное тропическое утро, такое ослепительное, что краски послабее тают в голубой мгле и глаз выделяет только самые буйные цветовые пятна. Гуаяберо здесь широкая, от опушки до опушки местами до пятисот метров. Сейчас внимание приковывают не детали, которые надо рассматривать чуть не в упор, не единичные цветки, бабочки и колибри, а крупные элементы пейзажа, то что отрывается и стоит особняком. Цветущее дерево табебуя на мысу, будто язык золотистого пламени. Мора де монте — огромный букет фуксиновых цветков…

Над нами пролетают два больших попугая. Удивительные создания эти длиннохвостые ара. Желтые, синие, ярко-красные перья; не птицы, а живой фейерверк. В любой другой среде такая пестрота могла бы показаться дешевой, вульгарной. А здесь они естественны, вписываются в окружающее так же органично, как вон та шелковисто-серая исполинская цапля, что стоит на краю пляжа, или парящий в голубом поднебесье большой королевский гриф[25].

Приближаемся к берегу, так что можно различить огромные листья и тонкие серебристые стволы цекропии, которую в Колумбии называют «ярумо». Странное дело с этой цекропией. В темно-зеленой пучине дремучего леса ее не найдешь. Там ее сразу задушили бы могучие великаны растительного царства, поэтому она словно бедный родственник, ютится по берегам рек, на самом краю леса. Да и то вид у нее какой-то забитый, ствол обычно кривой, как будто она привыкла кланяться соседям, и украшен всего несколькими жалкими пучками листьев.

Но стоит реке изменить течение и смыть растительность с мыса или создать новый остров, стоит урагану разорить участок сельвы или колонисту забросить свою расчистку, как вместе с первыми дождями здесь появится цекропия. Древесина у нее мягкая, рыхлая, а полая сердцевина — излюбленная обитель маленьких злых муравьев ацтека. Растет цекропия чуть не на глазах, вместе с белой бальсой первой проклевывается из перегноя и затягивает зеленой корочкой рану в шкуре лесного дракона. Человеку от цекропии никакой пользы. Она даже на дрова не годится, вспыхивает быстро и прогорает раньше, чем успеешь принести еще полешко. Прежде некоторые индейские племена применяли ее для добывания огня: воткнут в кусок сухого ярумо твердую палочку и крутят, пока древесина вокруг острия не начнет тлеть, потом раздуют огонек и подожгут им

сухую траву, или мох, или волокна черной бальсы — те самые волокна, которыми обертывали задний конец маленьких отравленных стрел, чтобы они плотно входили в полированный канал духовой трубки.

Теперь старые приемы забываются. И вообще свободный лесной индеец теряет свою самобытность, превращаясь в нищего пролетария, живущего в трущобах, где он работает, словно каторжник, на испанских монахов и священников, которые платят ему тем, что уничтожают его наследственную культуру, обращают его в христианскую веру, лишают всяких гражданских прав и национального самосознания. Впрочем, многие индейцы до этого не доживают, с ними безжалостно расправляются только потому, что земля их приглянулась той или иной монополии. Лишь за последнее десятилетие так погибло больше ста тысяч индейцев. Но вернемся к деревьям.

Итак, цекропия — пока для нее не нашли применения — считается сорной породой. Маленькие прутики, вырастающие из ее семян, в несколько лет становятся большими деревьями. Но если их не выручат топор или мачете, между серебристыми ярумо со временем поднимутся другие деревца, которые перегонят их, задушат и будут расти дальше, превращаясь в статных лесных великанов с твердой древесиной.

Высокие, как башня, сейбы, удивительно пышные караколи с множеством эпифитов на толстенных ветвях, стройные высокоствольные альмендра де монте, колонноподобные тернструмифлоры, молочный сок которых содержит смертельный яд неана, применяемый индейцами энгвера для стрел. И мора де монте, научное название — Mora excelsa.

Говорят: лес наступает. Это в полной мере относится к мора. Его семена не летают, как семена цекропии. Крупные и тяжелые, они сыпятся прямо вниз. Большинство падают на почву у подножия материнского дерева, где их ждет грустная участь. Прорежутся хилые, бледные ростки, проживут один сезон дождей, затем погибнут под могучей сенью собственных родителей. Но некоторые семена, одно на двадцать тысяч, отскакивают подальше. Стукнется орешек о ветку и отлетит рикошетом в сторону. Или его отнесет на несколько метров порывом ветра. Или обезьяна, повздорив с подругой, запустит в нее орешком. Такое семя даст начало крепкому деревцу, глядишь — вот и сделал лес еще один шаг. Мора де монте — одна из немногих пород, образующих замкнутые популяции. Эти популяции все равно что бронированные отряды, они продвигаются медленно, но верно. Так и шагает мора, пока путь не преградит море или река. Или пока не явится человек с топором и огнем.

Рокоча мотором, лодка скользит дальше вниз по реке. Пять человек, все такие разные и в то же время такие схожие между собой, идут на ней к порогам Апгостура.

Речная долина сужается. Скрылись из виду последние отроги Макаренских гор, мы миновали большой левый приток, прошли несколько быстрин, пересекли широкие, тихие плесы. Последние часы наш кругозор был ограничен опушкой леса по берегам, местность была низменная, и стена воладоров и сейбы все заслоняла. Но теперь впереди и справа, и слева опять голубеют возвышенности. В просвете между ними нас подстерегает цепочка грозных порогов. Если все будет в порядке, мы пройдем их завтра утром, со свежими силами. Форсирование таких порогов на выдолбленном стволе сейбы — занятие не для усталых путешественников. За такое дело надо браться, хорошенько выспавшись, плотно поев, в наилучшей физической и духовной форме. Иначе может случиться беда.

Еще два часа прошло. На реке царит полуденный зной. Тут и там греются на солнце группками черепахи. Это терекай (Podocnemys unifilis), у них отличное мясо, но уж очень они сторожкие. Должно быть, их недавно кто-то напугал. А вон сползает в воду большой крокодил. Фред не отказался бы взглянуть на него поближе. Крокодилы бассейна Ориноко принадлежат к эндемичному виду Crocodylus intermedius[26], четко отличаясь от широко распространенного на севере Южной Америки Crocodylus acutus[27]. Но сегодня мы вряд ли пополним наши коллекции новым образцом. Крокодилов так нещадно бьют в погоне за кожей, что во многих реках их уже не осталось. Менее ценные для коммерции кайманы могут пока рассчитывать на отсрочку.

Снова и снова встречаем речных дельфинов. Они кувыркаются, веселясь от души. Жители льяносов рассказывают, будто дельфины спасают утопающих, подталкивая их к берегу. Возможно, такой случай когда-нибудь и был. Дельфины, судя по всему, очень умные и любопытные животные. Может быть, они превзошли бы человека, если бы эволюция наделила их вместо ластов универсальным «инструментом» — руками.

Зной все сильнее по мере того, как солнце приближается к зениту. Толстый пробковый шлем меня выручает. Все птицы укрылись в тени. Совсем не видно черепах и крокодилов, в это время дня они предпочитают уйти под воду или укрыться в норе на обрывистом берегу. Камни и песок пляжей слишком горячи для живота рептилии.

Карлос Альберто достает термос и наливает всем кофе, но влага тотчас выходит из нас испариной. Мы решаем воздержаться

от второго завтрака, лучше вечером пораньше устроим привал. Фред сменяет Луиса Барбудо за рулем. Вчера у него сорвало ветром шляпу с головы, и теперь он для защиты от солнца сделал себе чалму из куска красной фланели. Разумеется, Матеито первым замечает человека на опушке. Странно. Луис видит не хуже его, всегда раньше меня замечает уток на плесе или торчащие из воды глаза крокодила, которые ничего не стоит спутать с кусками коры. Вообще, глаза горца зорче в открытой местности. А вот когда нужно различить что-то в лесной чаще, одноглазый тинигуа всех нас превосходит.

Человек на опушке делает несколько шагов и машет рукой. Фред уступает руль Луису, и тот подводит лодку к берегу. Человек направляется к нам. На вид ему лет шестьдесят. Необычно высокий для креола, худой и костистый, узкое лицо, орлиный нос, огромные седые усы, как льдинки. Между усами и острым, выступающим подбородком провал почти совсем беззубого рта. Лицо изборождено морщинами, но темные глаза глядят весело и проницательно. В руках у старика древнее ружье образца 1873 года, из тех, для которых можно самому лить пули. Музейный экспонат.

— Дон Хусто Рамирес, — шепчет мне Фред. — Один из старых каучеро.

Мы выходим из лодки и здороваемся с ветераном. Я наслышан о нем. На самом деле дону Хусто около семидесяти. Его юность пришлась на ту буйную пору, когда в амазонской сельве заготавливали каучук. Это было задолго до того, как каучуковые плантации Малайи и Зондских островов начали поставлять сырье на мировой рынок. Одна перуанская компания — не знаю уж, насколько законно, — проникла в дебри колумбийской части Амазонас; похоже, никто не ограничивал территориальные пределы ее деятельности. Компания нанимала скупщиков каучука, авансировала их снаряжением, и они отправлялись в сельву налаживать сбор того, что тогда называли «черным золотом».

Как всегда, когда природные ресурсы бесконтрольно эксплуатируются частным капиталом, дело приняло скверный оборот. Скупщики были должниками компании, каучеро (сборщики каучука) — должниками скупщиков. Все было построено на долговой кабале. Кто однажды задолжал, потом уже не мог расплатиться, сколько бы ни трудился. Цены на все товары, выдаваемые авансом, были взвинчены до предела, а годовые проценты на долг достигали и ста, и больше. Людей буквально продавали, как рабов, и отправляли в лес. Естественно, всего беззастенчивее эксплуатировали индейцев, и обращение с

ними было самое жестокое.

Целые племена вымирали, и не только из-за эпидемических заболеваний, привезенных белым человеком. Миссионеры, эти так называемые защитники индейцев, получали свою долю прибылей; понятно, их ничуть не волновали бедственное положение коренных жителей и безобразия пришельцев.

В «каучуковой» столице, Манаусе, вырос один из самых роскошных оперных театров в мире, не говоря уже о других величественных зданиях. Но роскошь, как всегда, была уделом не тех, кто своим трудом созидал богатства. На долю труженика доставались слезы, пот, кровь, голод и смерть от непосильного труда. Правда, отдельные каучеро избегали сетей эксплуататоров. Они не брали авансов и не продавались в рабство, работали в лесу самостоятельно, иногда вместе с горсткой помощников. Разумеется, власть имущие их недолюбливали. И старались подчинить себе, пускаясь на всякие уловки. Иногда такие каучеро «пропадали без вести», но в народе поговаривали, что это дело рук убийц, подосланных компанией. Мало кому удавалось сохранить и самостоятельность, и жизнь. Одним из более удачливых был дон Хусто Рамирес из Сантандера.

Он вышел один на маленькой лодке вверх по реке в зеленое море сельвы. И уцелел. В лесу дон Хусто подружился с индейцами племени уитото, женился на индеанке, потом начал собирать каучук с помощью своих смуглых родичей. Он честно обращался с ними, слух об этом быстро распространился через лесной телеграф, и родичи стали приводить своих родичей. Может быть, свободные индейцы не так мотали из себя жилы, как рабы перуанских капиталистов, зато они трудились добросовестно. Индейцы вообще не любят мошенничества.

Хусто Рамирес сбывал собранный каучук за наличные, в долг никогда ничего не брал и не давал, своих друзей снабжал товарами не скупясь. Мужчины получали рыболовные крючки, ножи, топоры, мачете и даже ружья, женщины — новые кастрюли и прочую утварь, соль и сахар, побрякушки. И все были довольны.

Утверждают, будто по меньшей мере три племени присылали к уитото ходатаев и просили уступить им дона Хусто. Факт, который сам за себя говорит. Надо ли добавлять, что у власть имущих дон Хусто стоял поперек горла. Миссионеры возмущались тем, какую безнравственную жизнь он ведет, как дурно действует на индейцев: ведь он им даже водки не продавал. Скупщиков не устраивало, что он берет за каучук только наличными. Несколько раз они пытались убрать его с дороги, но дон Хусто всегда был начеку.

Прошли десятилетия, и положение изменилось. Перуанская

компания перестала существовать. Плантации на Малаккском полуострове и в других районах Юго-Восточной Азии начали приносить урожай, и цена на каучук резко упала: почти в двадцать раз с 1910 по 1920 год. К середине двадцатых годов азиатские плантации покрывали всю мировую потребность.

Оперный театр в Манаусе закрылся и стал прибежищем летучих мышей и прочей мелкой живности. Европейские примадонны больше не приезжали на гастроли, и потребление шампанского упало до минимума. Так закончился один из эпизодов в истории окрестной сельвы. Его главным итогом была гибель нескольких тысяч индейцев и нескольких миллионов каучуковых деревьев, из которых выкачали весь сок. Частный капитал принялся искать себе другой объект для эксплуатации. Дельцы не жаловались. Богатые стали еще богаче, бедные — еще беднее; финансисты утверждали, что таков нерушимый экономический закон.

Уцелевшие индейцы вернулись к образу жизни предков. Он их вполне устраивал, больше всего они мечтали о том, чтобы их оставили в покое. Ну а каучеро? Им тоже надо было перестраиваться. На какие-либо социальные блага они не могли рассчитывать. Хочешь переквалифицироваться — заботься об этом сам. Фактически выбор был невелик: либо ложись и помирай, либо иди навстречу переменчивой судьбе с тем скудным запасом сил, который оставили малярия и голодовки. Мало кому из каучеро удалось пережить этот кризис. Хусто Рамирес выстоял. Так ведь у него для этого были совсем особые предпосылки: дружба с уитото. Он не оказался в хвосте у времени. Его кормили лес и реки, и поля родичей, хотя никто больше не покупал огромные черные комья каучука, хранившиеся под пальмовыми листьями на его «складах».

Естественно, в организации дел дона Хусто что-то изменилось. Дальние родственники один за другим возвращались к своим прежним занятиям, но самые близкие продолжали помогать ему со сбором каучука. Разумеется, не в таком масштабе, как прежде: принесут иногда комок, и ладно. Запасы мало-помалу росли. Между тем заморские плантации давали все более высокие урожаи, а там заговорили и о синтетическом каучуке. Даже сами уитото начали склоняться к тому, что есть, пожалуй, зерно истины в словах тех, кто твердит, будто дон Хусто Рамирес слегка помешался.

Но тут разразилась вторая мировая война. На первых порах она никак не повлияла на жизнь в амазонской и оринокской сельве. Польша, Фландрия — эти названия ничего не говорили жителям льяносов, для них куда более важным событием было

появление хорошего косяка рыбы или стада пекари. Однако Пирл-Харбор сыграл свою роль. Вступив в войну, японцы заняли английские и голландские колонии в Юго-Восточной Азии, где находились плантации каучука. В тот момент, когда Соединенным Штатам надо было мобилизовать все силы, они остались без каучука.

В Южной Америке в это время полным ходом шло истребление крокодилов; на некоторых реках перебили всех до одного. Но в области уитото настоящие крокодилы не водились, только кайманы, а на их кожи спроса не было. И кое-кто из родичей Хусто задумал отправиться в бассейн Ориноко, чтобы не упустить случая подзаработать на крокодилах, пока они еще есть. Дон Хусто Рамирес с сомнением относился к этой затее, однако обещал выяснить, насколько это стоящее дело. К тому же пришло время раздобыть соли, пороха, пистонов. И он пошел на лодке в ближайшую торговую факторию. Его сопровождали два индейца.

На фактории помимо разного товара нашлись и газеты. Хусто прочитал самые свежие, двухнедельной давности, и призадумался. Кстати, в этот же поселок пришел катер и привез пассажиров: двух военных из Северной Америки, их переводчика и слуг. И выяснилось, что великой державе на севере нужен для военных целей каучук. Много каучука. Приезжие предлагали большие деньги, о таких ценах тут не слыхали с тех пор, как в Манаусе гастролировала самая дорогая в мире примадонна.

Хусто Рамиресу удалось войти в контакт с этими людьми. Состоялась долгая беседа, и на следующий день он разбудил своих товарищей задолго до рассвета. Рассказал им про новые роскошные мачете, про неслыханные количества рыболовных крючков, которые только и ждут, чтобы их забрали. Индейцы добродушно улыбнулись и взялись за весла.

Когда американские скупщики после долгой поездки вверх по реке вернулись в факторию практически ни с чем, оказалось, что накануне сюда же прибыл дон Хусто Рамирес во главе целой флотилии лодок, нагруженных прекрасным каучуком. По качеству и цена. Североамериканцы взяли всю партию, рассчитались наличными и заказали еще.

Года два шла оживленная коммерция, потом взорвалась бомба над Хиросимой, и все кончилось. Каучук из леса больше никого не волновал. Но дон Хусто Рамирес предвидел такой оборот и заранее принял меры. Свою выручку он перевел в твердую валюту, приобрел новое ружье с запасными частями, тысячи пистонов, несколько килограммов пороха в герметичной упаковке, свинец для пуль, станочек для зарядки патронов, отличные ножи, мачете и топоры, рыболовную снасть и прочее.

Его жена умерла, младшие дети давно выросли и обзавелись семьями. Ничто не привязывало Хусто Рамиреса к одному месту. И вместе со старшим из братьев жены он пустился в странствия. Они переходили с реки на реку, от одного племени к другому. Учили, как это повелось с незапамятных времен, молодых приемам охоты и рыбной ловли, делились своим опытом, вели долгие беседы с местными знахарями. Их одинаково радушно принимали кофаны на Путумайо, юкуна на Марити-Парана, пуинаве на Гуавьяре в месте ее слияния с Ориноко.

Пожалуй, я не встречал более вольных людей, чем эти двое. Фред хорошо знал обоих, они не раз вместе ходили в походы по амазонской сельве. Понятно, наша встреча вызвала обоюдную радость, решили устроить привал по этому случаю и выпить кофе, У спутника дона Хусто было еще более морщинистое лицо, волосы совсем седые — большая редкость у индейцев. В руках он держал длинное гладкоствольное ружье.

Место было подходящее для лагеря, всего два-три километра отделяло нас от Ангостуры, и мы решили заночевать здесь, тем более что старики вызвались быть проводниками и показать нам лучший путь через пороги. Мы снялись, как только рассвело. Ноши у стариков были небольшие: гамаки, пологи, котелок, соль, фаринья и боеприпасы. Мачете и ружья не в счет, они как бы входили в одежду.

Словом «ангостура» обозначают узкое место на реке, вообще теснину, и этот участок вполне отвечал своему названию. Русло становилось все уже, его стиснули крутые склоны, дальше их сменили отвесные стенки. Скалы были отполированы водой много выше теперешнего уровня реки. Сразу видно, как сильно разливается Гуаяберо, когда в горах идут ливни. Сейчас, в засушливый сезон, вода была прозрачная, хорошо видно черные камни и палисадас; кое-где целые деревья, принесенные сюда в разгар дождей, застряли в щелях между плитами. Не доходя первого порога, мы пристали к берегу, чтобы осмотреться.

Скальные уступы стискивали пенящийся поток, загоняя его в желоба, где из клочьев пены торчали каменные глыбы, словно зубы дракона. Пороги чередовались с заводями, посмотришь — тишь да гладь, вдруг снизу пропарывает воду серо-черная коряга, делает несколько быстрых оборотов и снова пропадает. Да, такая штука запросто может пробить днище лодки. Я не один десяток тысяч километров прошел по южноамериканским рекам, и были среди них довольно буйные, но мне никогда не доводилось иметь дело с таким монстром, как эта Ангостура.

Мы сразу убедились, что форсировать пороги на лодке нельзя. Придется разгрузить ее, вещи перенести по берегу, а

затем попытаться провести пирогу на веревках. К сожалению, не все вещи можно было тащить через здешние камни. Решили бочки с горючим и другие тяжести оставить на борту; наиболее уязвимое и ценное имущество отнесем на себе. Сколько я ни возражал, меня назначили стеречь лодку. Шесть человек пошли с ношами по берегу; через час пятеро вернулись, а спутник дона Хусто остался ниже порогов присмотреть за вещами.

Привязав покрепче груз веревками и лианами, мы повели лодку вниз по бурной стремнине. Хусто Рамирес сбросил свою латаную европейскую одежду и шел босиком, в одной набедренной повязке. Вряд ли нам удалось бы справиться с такой задачей без этого золотого человека. Вот он, поднявшись на скалу, руководит, выбирает единственный проходимый желоб, а вот уже стоит вместе со всеми по пояс в воде, и жилистое стариковское тело изогнулось дугой…

Мы трудились усердно, как бобры. Тянули, толкали, дергали, тащили. На иных участках удавалось продвинуться за час от силы метров на сто. Выбьемся из сил, обвяжем буксирные концы вокруг камней, а сами ложимся на землю и отдыхаем. И как раз в такие минуты непременно что-нибудь случится. Скажем, буксирный конец развяжется или перетрется о камень. Беги скорей к лодке и лови ее, пока не унесло течением и не разбило о подводные камни или о палисадас. Борешься с течением, перед глазами мелькают красные пятна, воздуха не хватает, сердце колотится, силы на исходе. Лодка скачет, виляет, кренится, но руки не выпускают веревки, и ты открываешь в себе еще какие-то запасы энергии, о которых даже пе подозревал. А там и Карлос Альберто с Матеито подоспели тебе на помощь, один с рычагом, другой с веревкой. Только перевел дух и по-настоящему осознал, до чего же ты уже успел устать, как опять пора браться за лодку и держать ее, напрягая все силы и мечтая, чтобы эта адская лестница поскорее кончилась или чтобы нашелся по меньшей мере один желоб, который можно пройти по-человечески, действуя шестом и веслами. Какое там, каждый новый порог — хуже предшествующего, а руки и ноги ноют, ноют уже так долго, что начинают неметь. Пот заливает глаза, ноги подкашиваются… Впереди торчит высокая скала. Какая каверза прячется за ней?

Я стоял по грудь в воде, судорожно сжимая борт долбленки окровавленными ладонями. Течение здесь было не такое стремительное. Я напрягся, приготовившись толкать лодку дальше. Кто-то взял меня за кисти.

— В лодку, профессор, — донесся откуда-то издалека голос дона Хусто. — Ниже порогов можно и на пираний наскочить.

Фред буквально выдернул меня из реки. Я сел на дно пироги,

машинально взял черпак и принялся вычерпывать воду. Луис, Матеито и Карлос Альберто гребли. Лодка обогнула скалу — и открылся вид на широкий плес. Яркое солнце, речной простор, и никаких порогов. Никаких порогов! Пляжи, галерейные леса, ни одной скалы. Цапли стоят на берегах, в воздухе летают утки. А вон и индеец дожидается. Мы подошли к берегу, установили мотор, Луис дернул стартерный шнур. Мотор подавился кашлем, потом родился ровный рокот. Мы слушали его, как любитель музыки слушает Бетховена. Этот звук был словно бы окончательным, неопровержимым доказательством того, что пороги Ангостуры остались позади, мы вышли на просторы Гуавьяре. Да, это уже другая река.

Погрузив вещи, мы взяли курс на ближайший пляж, развели там костер, сварили кофе и повалились на песок отдыхать. Хосе и Матеито поймали на опушке леса кузнечиков и занялись рыбной ловлей. Они быстро извлекли из воды трех чудесных «дорад» Salminus hilarii, так похожих на красавиц «рубиа» из Магдалены и Сину (в реках к западу от Анд «дорадой» называют совсем другую рыбу — Salminus affinus). И вот уже разносится заманчивый запах жареной рыбы, а Фред отыскал банку с галетами. Подзакусив, мы нашли в себе силы натянуть гамаки и сетки от комаров, развесить для сушки мокрую одежду. Потом опять сели есть и пить кофе. В тот вечер беседа у костра не затянулась.

Едва ли не самый приятный момент в таком походе — это когда можешь себе сказать, что труднее уже не будет, дальше все ойдет легче. Сейчас мы вовсю наслаждались этим моментом.

# Последняя деревня

Дон Хусто и его родич расстались с нами сразу за Ангостурой. Раньше они собирались идти до ближайшего селения, чтобы купить там соль и спички. Но мы им дали все необходимое. Не в подарок — это могло бы выглядеть как милостыня. И не за то, что они помогли нам справиться с Ангостурой. Фред заикнулся было о вознаграждении, но вовремя увидел, как сверкнули глаза старого креола, и ограничился словами благодарности.

Все было сделано достойно, мы произвели обмен, приобрели у них шкуру исполинской выдры и ожерелье из зубов и когтей. Причем один коготь заставил нас, натуралистов, вытаращить глаза: он принадлежал исполинскому броненосцу, который, как утверждают все источники, встречается только по ту сторону Амазонки. Мы попытались выяснить, откуда этот коготь, но спутник дона Хусто, Хосе, не мог нам сказать ничего определенного. Он выменял его у индейца из племени тукуна, что обитает в районе Летисии. А вообще, он слышал от людей, что исполинский броненосец, хотя и очень редко, встречается по эту сторону великой реки.

За шкуру выдры старики получили вдоволь соли, спичек и рыболовных крючков, а за ожерелье они взяли нож, зажигалку с запасными кремнями и бензин в плотно закупоренной бутылочке. Обе стороны остались довольны, и два странника направились по неведомым лесным тропам через водораздел обратно, в область индейцев карихона и кубео, где реки текут в Амазонку.

Напоследок дон Хусто снабдил нас добрыми пожеланиями и советами; сказал, в частности, где есть смысл поискать супаи има има.

Дон Хусто и Хосе попрощались с нами и ушли, а мы, пятеро в одной лодке, продолжили наше плавание вниз по реке. Теперь нас увлекал за собой не стремительный поток Гуаяберо, а тихие воды широкой Гуавьяре. Просторное русло, низкие берега, длинные пляжи с гравием и песком. Иногда попадется крутой песчаный яр, но и они, чем дальше, тем ниже. Болота кишели птицами, больше всего было цапель. Потом я увидел первую стаю красных ибисов[28], они парили на светло-зеленом фоне болота, словно ожившие цветы. Верный знак того, что мы приближались к Ориноко.

В тот же день нам встретилась артель рыбаков. Около десяти человек работали с длинным неводом. Огородили им с лодки глубокую заводь, затем начали медленно подтягивать его к

пляжу. Вальсовые поплавки качались на воде, приближаясь к берегу, рыбы выскакивали на воздух, некоторые даже перепрыгивали через невод и уходили. Мы причалили к берегу поблизости и стали наблюдать.

Рыбаки были из племени гуаяберо — мужчины и юноши, смуглые, жилистые крепыши, только уж какие-то очень унылые на вид. Лоб не украшен цветной лентой, губы не улыбаются. Ни ярких набедренных повязок, ни ожерелий из пестрых семян, обезьяньих зубов или звериных фигурок, вырезанных из черного ореха. На голой груди болтаются тусклые алюминиевые амулеты. Одежда, сложенная на пляже, — дешевые, много раз латаные рубахи и штаны.

Невод, который они тянули, принадлежит не им, а деревенскому лавочнику. Свободные индейские земледельцы превратились в поденщиков. Кто теперь хозяин их земель? Какой-нибудь асьендадо. Другие присматривают за его огромными стадами, а сам он живет в Боготе. Если не в Майами или в Париже. Или может быть, здесь заправляет деревенский священник, он же помещик?.. Так или иначе, перед нами не вольные и веселые «дикари», а «цивилизованные христиане». Они мрачно глядят на нас из-под чуба. Ничего похожего на широкую дружелюбную улыбку, которой нас встречали в других племенах. Она умерла, как умерла надежда, когда гуаяберо убедились, что человек с другой кожей — враг, которого не переделают никакое радушие, никакая доброта. Когда они, как и многие другие племена до них, научились брать деньги со странника за еду и ночлег.

Невод подведен к берегу, рыбаки осторожно тянут нижний подбор. Несколько человек вооружились гарпунами. Сети кишат рыбой. Усатые головы, растопыренные плавники, трепещущие хвосты… Преобладают сомы: багре и багре бланко, кучаро, тихерета, кахаро, огромный, длиннее человеческого роста, валентон, дородный торуно. Или, по-латыни: Pseudoplatystoma fasciatum, Sorubim lima, Sorabimichthys planiceps, Paulicea Hitkeni, Phracto-cephalus hemiliopterus, Brachyplatystoma vaillantii, Zungaro zungaro.

Индейцы вытаскивают на берег здоровенных рыбин, и вот замелькали ножи. Улов надо чистить, солить, вялить, чтобы получился товйр для сбыта в районах нагорья. В Боготе, Кали, Медельине во время поста принято есть сушеного багре. Прежде его поставляла Магдалена, но там хищнический промысел извел чуть ли не всю рыбу. Примерно такое же положение, если не хуже, на реке Сину, где водился только багре бланко. Остается последний резерв — льяносы к востоку от Анд. И пусть ловят,

только бы и здесь не пошли по тому же пути: хищнический промысел, полное истребление популяций. А то ведь кончится тем, что следующему поколению нечего будет есть.

Молодой парень подвешивает сушить очищенную и посоленную рыбу. Берет следующую. Это карахо. Пожилой индеец поднимает голову и негромко что-то говорит, но так, что вся артель слышит. Я гляжу на Матеито, он напряженно вслушивается. Похоже, что парень с карахо оправдывается. Его старший товарищ отвечает ему. До спора не доходит, но в голосах угадывается недовольство. И вот уже снова кипит работа.

Матеито замечает мой вопросительный взгляд и объясняет:

— Хозяин велел им засаливать карахо вместе с другой рыбой. Белолицый лучше знает, что годится для белолицых.

Здесь не едят карахо. И не из суеверия, просто у этой рыбы неприятный запах и вкус. Прежде из карахо иногда вываривали жир, который использовали как слабительное или как смазочное вещество. Но хозяин невода решил продавать ее заодно с другой рыбой. Потребитель живет далеко, он не узнает, кто повинен в том, что попался плохой кусок. Что ж, это дело самих белых, считают индейцы. Но я уловил слово, которого Матеито не перевел: самуро — «стервятник».

Рыба очищена, невод собран, рыбаки выходят на лодке для нового замета. Рядом с развешенной рыбой лежит на земле куча больших голов. После работы артель сварит себе уху. Голов карахо в этой куче нет, они выброшены в реку. Пираньи съедят.

Мы идем дальше. Мало-помалу вид берегов меняется. Сама природа та же, но тут потрудился человек. Видим расчистки, дома колонистов. Раны, нанесенные лесу топором и огнем. Срубив деревья, их сжигают, потом сеют в золу. Индейцы тысячи лет возделывали землю этим способом. Расчищали участки с хорошей почвой, но никогда не трогали лес по берегам рек, не трогали крутые склоны, берегли самые полезные лесные породы и те деревья, которые, по их поверьям, пользовались покровительством высших сил. Разумеется, они тоже преображали природу, но осмотрительно. К тому же индейцев было не так много. Говорят. Да только кто может это знать точно? Кто считал индейцев до того, как почти пятьсот лет назад началось их истребление? Которое продолжается по сей день…

Пришли незваные гости, не умеющие жить в ладу с лесом, враждующие с ним, боящиеся его. Эти люди не расчищали, они уничтожали. Не охотились на дичь и не ловили рыбу, а истребляли и то и другое. Начисто сводили лес на берегах рек и холмах. Вот и тут мы видим оголенные берега. Сперва небольшие участки, несколько десятков метров, но таких просветов

становится все больше, они сливаются. Чаще попадаются лачуги, причаленные к берегу лодки.

Вдруг лес совсем обрывается. Дальше не только леса нет, не видно домов, плодовых деревьев, посадок маниока. Только река, пляжи да пастбища. Сколько хватает глаз, трава, сплошная трава. И скот. Тощий скот, тучный скот, преимущественно зебу. Земледельцы ушли отсюда, вытесненные большими асьендами. Возможно, поднялись выше по реке, делают там черную работу, а через два-три года и туда дотянутся щупальца асьеиды.

Скоро подойдем к селению — единственному крупному селению на десятки километров вокруг. Автомобильных дорог нет, сюда можно попасть только по реке. Власти Вильявиченсио снабдили нас рекомендательным письмом к местному алькальду[29].

Вот и дома показались: деревянные постройки, мазаики с крышей из пальмовых листьев. Такая же деревня, как сотни подобных в Колумбии, Бразилии, Венесуэле. Мы причаливаем рядом с другими лодками. Здесь приходится запирать свою пирогу цепью с замком, и груз мы уносим в надежное место. Цивилизация. Или, как тут принято говорить, «форпост цивилизации». Десяток домов под железом, церковь, тюрьма, пыльная площадь. И около сотни лачуг, половина которых грозит не сегодня-завтра развалиться окончательно. Четыре лавки, полдюжины кабаков, полицейский участок и бордель. А дорог не проложено, и водопровода нет: к чему они, когда река рядом? Правда, вода в Гуавьяре мутноватая, но жители к этому привычны, никто не жалуется. Электричество? У двух торговцев есть свои генераторы, дающие ток для нескольких лампочек и холодильника. Еще один такой же генератор освещает церкви. И у полицейских есть электрическая машина, но она почему-то не работает.

Уборных нет. За чистотой на улицах следят два-три десятка черных свиней, да несколько сот грифов, дежурящих на крышах. Отбросы сваливают в реку, ту самую реку, из которой берут питьевую воду и в которой моются — изредка. В сезон дождей очистка улиц происходит, так сказать, автоматически. Свиньи пользуются случаем вырыть глубокие ямы, чтобы потом валяться в лужах.

Года два назад в такой луже утонул ребенок. Не первый и не последний… Врача в деревне нет. Приезжал сюда один молодой лекарь, чтобы пройти обязательную деревенскую практику. Но священник его невзлюбил, ведь он был «дарвинист», а для патера это то же, что «коммунист». И вместо года лекарь проработал здесь всего четыре месяца. Правда, в лавках можно купить

лекарства. При этом лавочники сами устанавливают дозу. И цену, разумеется. Не поможет — ступай к священнику, купи у него свечи и закажи молитву. За известную мзду наличными. Если и молитва не спасет, священник отслужит заупокойную мессу. Тоже за наличные.

Школы нет, ведь селение входит в сферу влияния миссии.

Мы находим приют у одного из лавочников. Вещи вносим в его склад, и Матеито остается их сторожить. Остальные решают прогуляться по селению. Прогулка не затягивается, ведь селение ничем не отличается от сотен ему подобных.

Вечером сидим в пивнушке. Вдруг входит деревенский священник — эль сеньор кура парроко — и садится за столик. Небрежно приветствует нас, мы так же небрежно отвечаем. Патер беседует с хозяином. Они говорят вполголоса, говорят о нас, я улавливаю слова: «докторес», «натуралистас», «Рио Гуаяберо».

Но вот хозяин вынужден отлучиться в лавку. Патер, откормленный господин лет сорока, изучает нас взглядом, потом обращается ко мне:

— Мистер, Гонсалес говорит, что вы сюда прибыли с Гуаяберо.

— Мистер, — отвечаю я, — вас правильно проинформировали.

Священник багровеет. В Колумбии обращение «мистер» выражает пренебрежение, да я к тому же постарался скопировать его высокомерную интонацию. Однако он тут же берет себя в руки и спрашивает, не повстречался ли нам падре Фелипе. Святой отец отправился вверх по реке проповедовать среди этих ужасных тинигуа. Фред отвечает, что мы видели какого-то человека в сутане, в сопровождении двух колонистов. Да только вряд ли патер сумеет наладить контакт с индейцами. Они побаиваются чужаков. Патер заржал. Вот и видно, как плохо мы осведомлены об этом крае и его людях. Мало того, что свирепые и коварные тинигуа — идолопоклонники, они к тому же людоеды!

Мы удивленно переглянулись. В прошлом было принято объявлять каннибалами племена, которых намеревались так или иначе эксплуатировать. Это вроде бы оправдывало применение насилия против них. Испанские завоеватели изображали многих индейцев кровожадными людоедами. Но когда в современной Колумбии кто-то называл индейцев каннибалами, тотчас приходят на ум пресловутые басни Гитлера и его пособников о «неполноценных» народах. Словом, мы удивились. Возможно, даже улыбнулись. Все-таки Фред больше десяти лет бродил по лесам этой страны, а я и того дольше, нам ли не знать, как обстоит дело…

# Супаи има

Розыск большой анаконды идет полным ходом. Мы давно оставили деревню и вот уже третий день прочесываем местность, после того как Матеито в десяти минутах хода от нашего лагеря обнаружил след супаи има. Сколько проходит анаконда за ночь? В какой мере она привязана к определенной территории? Мы знаем, что она ведет преимущественно водный образ жизни, но как далеко и на какой срок удаляется она от своего водоема? Может быть, у нее несколько «своих» водоемов? Трудно перечислить все то, чего мы не знаем о самой крупной в мире водяной змее.

Найденный нами след, попетляв в лесу, привел к речушке и здесь оборвался: анаконда ушла в воду. Мы прошли вдоль притока три километра вверх по течению, до того места, где русло перегораживают сложные пороги, но других следов обнаружить не удалось. Разумеется, это было все равно, что искать иголку да не в одном, а в нескольких стогах сена. Даже зоркий тинигуа не сыскал никаких признаков того, что супаи има вышла обратно на берег. Может быть, анаконда притаилась в самой речушке? Забралась в нору и лежит там. Конечно, такой змее нужна немаленькая нора, но ведь убежища, которые отрывает себе в берегах крокодил, достаточно велики! Да она могла просто нырнуть и лечь на дно. Сколько часов проводит анаконда под водой? У рептилий жизненные процессы протекают куда медленнее, чем у теплокровных, особенно когда они отдыхают. Даже Фред, кое-что знающий о змеях, не берется сказать тут что-нибудь определенное. Нам остается только гадать и придумывать различные гипотезы по поводу того, что может и чего не может анаконда. И искать. Искать.

Вечерами мы обсуждаем волнующий нас вопрос: в самом ли деле исполинская анаконда (если правомерно говорить о таком подвиде) настолько редка? Или нам просто не везет? Почему нам вовсе не попадаются молодые анаконды? Может, пока они не вырастут, у них есть в природе свой враг — какой это враг? Может, они в этом возрасте ведут скрытный образ жизни? А может, мы еще не нашли настоящего биотопа анаконды?

Утром третьего дня Фред вместе с нашими тремя спутниками опять уходит вверх по реке. Они решили подняться еще на два-три километра к северу. Фред и Карлос Альберто обследуют один берег, Луис Барбудо и Матеито — другой. Изнуренный странствиями и поисками, я остаюсь сторожить лагерь. Идти с ними нет смысла, я буду только обременять их.

Проводив друзей, достаю мелкоячеистую сеть, и принимаюсь за сбор образцов ихтиофауны. Никто еще не изучал мелких рыб этой речушки. Вообще о рыбах бассейна Ориноко известно поразительно мало. Хорошо, если ученые успеют открыть и описать все виды, раньше чем они будут истреблены. А такая опасность есть, если вспомнить, как поступает со средой человек, не вооружившись надлежащими биологическими знаниями, не уяснив себе природных взаимосвязей.

Может быть, в конечном счете удастся разумно решить гигантскую проблему продовольственного снабжения быстро растущего населения Южной Америки. Мне же пока остается только брать образцы в этой и других речушках и заспиртовывать их для последующего определения.

Да, приходится убивать мелких рыбок. Конечно, куда приятнее было бы заняться, скажем, этологией. Молодой наукой Конрада Лоренца и Нико Тинбергена[30], которая исследует поведение животных и его причины. Быть мояадт, она позволит нам лучше понять самих себя, ведь наше родство с животными предками несомненно. Смотришь, преуспев в новой науке, мы научимся не столь зверски обращаться друг с другом и с прочей фауной.

Но пока наши познания в систематике страдают зияющими пробелами (о птицах в этом смысле мы знаем почти все, зато сколько еще не известно о рептилиях, рыбах и других классах), даже обыкновенный коллектор, вооруженный сетью и ружьем, может принести пользу в плохо изученных тропических районах. Систематика в науке так же необходима, как азбука в создании и сохранении литературы.

Я закидываю свою сеть. Сам вязал ее несколько месяцев, ячея такая мелкая, что упитанная муха не пролезет. Извлекаю улов на песок. Малюсенькие карпики, представители пяти, а то и больше видов. Цихлида, похожая на окунька. Пухлый панцирный сомик с широкими пятнистыми плавниками. «Крысохвост» с анальным отверстием на шее и длинным колышущимся плавником вдоль всей нижней части тела. Далекий хлипкий родич электрического угря.

Отправляю всю компанию в банки со спиртом и перехожу к соседней заводи. Она неглубокая, от силы полтора метра. А на большей глубине моя накидка и не даст надлежащего эффекта. Пока она ляжет на дно, самые быстрые рыбки уйдут.

Дергаю повода и чувствую, что есть улов. Но какой? Странно как-то отбивается моя добыча, не как обычная рыба. Во всяком случае, это не коряга, коряги не шевелятся. Осторожно, соблюдая все правила — не первую тысячу раз закидываю! — подвожу сеть

к берегу. Бывает, конечно, какой-нибудь особенно прыткий житель вод спасается бегством. Но этому бежать не удается. Вот уже сеть на берегу, и я вижу, как в ней корчится диковинное существо.

Так и есть, то, что я думал, — черепаха. Но не простая! Во-первых, она гораздо более плоская, чем обычные черепахи, словно приплюснутая сверху. И на спине у нее три зубчатых киля, разделенных глубокими вырезами. Голова на длинной шее тоже как бы сплющенная и почти треугольная. Много кожистых лоскутов на голове и на шее, а на конце морды торчит нечто вроде короткого хоботка. Хвост такой куцый, что о нем и говорить-то смешно; рядом с ним тоже висят резные кожные лоскуты. Окраска панциря сверху каштановая, снизу грязновато-зеленая, на некоторых щитках есть более темные или более светлые пятна. Как будто черепаха надела маскировочный халат.

Пойманную мной водяную рептилию называют матамата или бахромчатая черепаха — Chelys fimbriata. Длина панциря сантиметров двадцать, но матамата бывает и вдвое больше, свыше полуметра, считая шею и голову. Этот вид довольно обычен в притоках Гуавьяре и других водоемах восточных льяносов. Предпочитает медленные илистые потоки и стоячие лужи, питается мелкой рыбешкой, улитками (Ampullaria) и другой подобной живностью, иногда водными растениями. Матамата малоподвижна, любит зарываться в ил. Потревоженная черепаха втягивает голову и ноги и ждет, пока ее оставят в покое. Я никогда не слышал, чтобы матамата кого-нибудь атаковала. И люди, как правило, ее не трогают. У нее неприятный запах и малоаппетитный вид. Не знаю, пробовал ли кто-нибудь ее мясо. Если кто и пробовал, то ни с кем не делился своими впечатлениями.

Полагая, что это диковинное создание может заинтересовать Фреда, помещаю черепаху в пластмассовое корыто, наливаю в него воды и кладу плоский камень, чтобы она могла выбраться на воздух и подышать. Затем продолжаю лов. Мне попадаются еще матамата, потом опять идут рыбешки. Перехожу к более глубокой заводи. И снова в накидке бьется что-то крупное. На это не черепаха, я сразу чувствую разницу. Подвожу сеть к берегу, и вдруг меня ударяет током. Да еще как!

Когда ловишь рыбу в притоках Ориноко, надо быть готовым ко всяким сюрпризам. Электрический угорь, ясное дело. Симпатичная добыча, куда там. Ну, ничего, сейчас я его… Я приметил, в каком из ящиков Луис Барбудо держит свой инструмент, и вот уже у меня в руках клещи с длинными изолированными рукоятками. Теперь можно спокойно браться за

сеть. Наконец угорь извлечен из воды. Небольшой экземпляр, от силы три четверти метра. Можно считать, мне повезло, учитывая, что переутомленное сердце последнее время все чаще пошаливает.

После этой закидки удача мне изменяет. Сеть рвется, я сажусь ее чинить, осаждаемый песчаными мухами. Не один час уходит на починку, затем я развешиваю сеть на ветках, чтобы просохла. Снимаю очки и протираю их, поглядываю на реку. Вдруг на другом берегу раздается крик выпи Tigrisoma. Ну и голосок, словно корова промычала. Снялась с ветки и перебралась повыше. Похоже, заметила в воде что-то опасное.

Секундой позже и я вижу: из-за лодки вниз по течению выплывает длинное тело. Невероятно длинное. Моя первая мысль — это сомы Pygidium migrans. Сейчас как раз то время, когда они идут на нерест вверх по Гуаяберо, идут колоннами шириной с полметра и длиной в несколько метров. Но ведь эта штука плывет вниз по течению, а Pygidium себя так не ведут. К тому же глаза меня не обманули, я на самом деле вижу сплошное извивающееся тело. Над водой поднимается голова — и всем сомнениям конец. Это змеиная голова. Самая большая змеиная голова, какую я когда-либо видел. Анаконда. Она проплывает о поднятой головой метра три-четыре, потом снова уходит под воду. Миновав лодку, длинное тело быстро плывет мимо моего пляжа, ближе к другому берегу, где глубина побольше.

В двадцати метрах ниже по течению к речушке с обеих сторон вплотную подступает лес. Берусь за ружье, но это чисто рефлекторное движение: стоит пальцам ощутить сталь, как торжествует рассудок. Такую анаконду дробью с одного, даже самого меткого, выстрела не убьешь. Кстати, не так-то просто попасть по движущейся мишени, когда она вся под водой. Подранишь змею — уйдет и спрячется. Но допустим даже, я уложу ее на месте. К чему это приведет? Анаконда утонет. А в ней весу килограммов триста, если не больше. До возвращения моих товарищей я никак не смогу ее вытащить на берег, а пираньи зевать не станут. Убийство такого экземпляра оправдано лишь в том случае, если можно его спасти для науки. Если бы я мог выманить ее на берег и заставить атаковать меня. Может быть, тогда и удалось бы парализовать ее выстрелом. Но она не обращает на меня никакого внимания. Возможно, она вообще не ест людей, хотя при желании вполне могла бы расправиться с человеком. Возможно, я ей не приглянулся. Проследить за ней, посмотреть, куда она денется? Все равно из этого ничего не выйдет. Лучше всего не пугать ее, оставить в покое. Дождусь товарищей, а там Фред что-нибудь придумает.

Анаконда исчезает вдали под нависшими над рекой ветвями. Я не сомневаюсь, что это та самая, чей след нашел Матеито. Фред предполагал, что в ней метров восемь. По-моему, она будет побольше, но неспециалисту недолго и ошибиться.

Часа через два в лагерь возвращаются четверо охотников за змеями, основательно утомленные тщетными десятичасовыми поисками. Я докладываю о происшедшем. Фред выражается не совсем академично, но все же оправдывает мои действия. В данных обстоятельствах я в общем поступил более или менее правильно, да и что спрашивать с какого-то сортировщика мелкой рыбы.

Вместе с Матеито он идет вниз на рекогносцировку. Перед самым наступлением темноты они возвращаются ни с чем. Карлос Альберто уже приготовил обед, мы садимся есть, потом пьем кофе и совещаемся. Решаем завтра утром свернуть лагерь и спускаться вниз по реке. Нам известно, в какую сторону ушла анаконда. Пройдем пятнадцать — двадцать километров и, если не найдем ее, попробуем придумать что-нибудь другое.

…Пирога скользит, будто через туннель. Берега круто обрываются в воду, и кроны высоченных деревьев смыкаются у нас над головой. В туннеле полумрак. С каркающими криками разлетаются спугнутые нами серые кваквы. Мотор сегодня отдыхает, мы работаем веслами и шестами, стараясь не шуметь. Конечно, змеи глухи, но не исключено, что они воспринимают вибрацию от мотора. Лучше не рисковать.

Русло становится глубже, берега — выше, зато они теперь не такие крутые. То и дело над нами открываются просветы, и сверху свисают лианы с пурпурными или огненно-красными цветками. Серебристо-сизые зимородки, проносясь мимо, щебечут на пределе звукового спектра свои солнечные песенки.

Естественно, первым замечает супаи има Матеито. Вон она лежит на береговом откосе, часть тела на суше, часть под водой. Толстая, даже бесформенная. Не иначе, ночью заглотала крупную добычу. Речка тут широкая и прямая. Странно, что змея выбрала для отдыха место, где ее видно со всех сторон. А впрочем, при таких размерах кого из лесных обитателей ей бояться? Осторожно причаливаем к берегу по соседству. Матеито и Карлос Альберто прыгают на сушу и углубляются в лес, совершая обходный маневр. Первый несет несколько саженей каната из лиан, второй взял наши самые толстые веревки. Выждав немного, Луис Барбудо медленно, осторожно подводит лодку ближе к змее.

Фред, изменив своему любимому малокалиберному оружию, заряжает оленьей картечью ружье двенадцатого калибра. Но он мыслит вполне здраво. Когда я проверяю свой штуцер, мой Друг

шипит мне:

— Что бы ни произошло, не стреляй в голову!

— Только в самом крайнем случае, — шепчу я в ответ, чтобы подразнить его. — Все-таки наша жизнь дороже.

Герпетолог качает головой, точно я его не убедил.

Осталось метров двадцать. Анаконда кажется еще больше, чем прежде. А вон на берегу и наш десант; змея их не видит. Они уже обвязали свои веревки одним концом за толстые стволы, на другом конце сделали петли-удавки. Собираются набросить арканы на шею анаконды, раньше чем мы откроем огонь. Работа не для слабонервных. А без арканов змея может уйти в реку, и поминай как звали. Это было бы чистой катастрофой после стольких недель поисков.

Луис разворачивает пирогу так, чтобы нам с Фредом было удобнее стрелять, если анаконда примется слишком бурно возражать против наших посягательств на ее личную свободу.

Вот Матеито крадется вперед, держа аркан наготове. Его движения напоминают замедленное кино. Что-то у него получится? Кажется, ровным счетом ничего. Пока голова анаконды прижата к земле, невозможно накинуть ей веревку на шею. Надо как-то заставить змею сдвинуться с места. Луис машет веслом, пытаясь привлечь ее внимание. Какое там… Анаконда остается недвижима. Дремлет, переваривая пищу. Или что-то задумала, готовит сюрприз нарушителям спокойствия? На берегу качается ветка: это Карлос Альберто «пугает» змею. По телу анаконды — во всяком случае, по первым двум-трем метрам — как будто пробегает трепет. Но голова по-прежнему лежит на земле. Поднимаю штуцер, прицеливаюсь. Фред знаком велит мне подождать. Что ж, ему лучше знать. Вдруг Карлос Альберто кидает палку прямо в морду чудовищу. Терпению змеи приходит конец, она с поразительной быстротой поворачивается к воде и буквально стекает вниз по откосу, отрывая при этом голову от земли ладони на две. Большего и не надо. Матеито бросает свой аркан и рывком затягивает петлю. Несколько секунд — и на шею анаконды накинута вторая веревка.

Дальше события развиваются так быстро, что трудно уследить. Огромная, ленивая, разморенная рептилия внезапно оживает. Представьте себе взбесившийся пожарный рукав полуметровой толщины! Змея устремляется к воде, но веревки ее останавливают, и она взмывает вверх метра на два. Фред стреляет раз, другой. Я стараюсь поймать на мушку середину бешено извивающегося змеиного тела, чтобы поразить позвоночник подальше от веревок. Но анаконда так мечется, что мне остается только ждать.

А змея уже изменила тактику, она идет в атаку. Голова, как наконечник копья, летит вверх, и Карлос с Матеито прячутся за деревья. Атака тут же прекращается, анаконда опять отступает к реке. Одна веревка натягивается до отказа и рвется. Теперь только канат из лианы удерживает змею.

Вдруг Фред выпрыгивает из лодки на берег. Этот поразительный человек подбегает к беснующейся анаконде, хватает брошенную ему индейцем веревку и ловко накидывает ее на шею змеи. Карлос Альберто живо обматывает другой конец веревки вокруг дерева. Змея делает выпад, но Фред отскакивает, и анаконда промахивается. Наконец-то мне удается прицелиться. Я нажимаю спуск, перезаряжаю, целюсь опять. Но второй выстрел явно не нужен. Голова и полтора метра длинного тела безвольно упали на землю, хотя все остальное тело продолжает корчиться. Обе веревки натянуты, как скрипичные струны. Проходит не одна минута, прежде чем движения змеи становятся настолько вялыми, что можно планировать следующий ход.

Отвратительно?.. Да, конечно, теперь есть время подумать и об этой стороне дела. Убивать всегда отвратительно, тем более когда смерть не мгновенна… И мы ровным счетом ничего не можем сделать, чтобы ускорить события, положить конец этим конвульсиям. Хребет перебит, анаконда мертва, как мертва курица с отрубленной головой. Можно выпустить в нее еще пять пуль, и ничего не изменится. Все дело в том, что у рептилии, и особенно у змеи, процесс умирания протекает не так, как у теплокровных. Но мне от этой мысли ничуть не легче.

Причаливаем лодку и впятером беремся за обе веревки, чтобы вытащить на берег всю нашу добычу. С таким же успехом мы могли бы тянуть вросшее в землю дерево. Анаконда обвила хвостом какую-то корягу под водой, и все наши усилия впустую.

— Этот червь-переросток мертв, никакого сомнения, — говорит наконец Фред, вытирая лоб. — Только он сам еще этого не уразумел. Предлагаю разбить здесь лагерь и подождать, пока червь как следует не осознает, что случилось.

Никто не возражает. Гляжу на часы. Десять минут десятого по среднеколумбийскому времени. Но лишь после двух часов дня сопротивление змеи ослабевает настолько, что нам удается вытащить наш роскошный экземпляр под деревья и приступить к обработке. Фред решил взять не только кожу, но и скелет. Чтобы потом не было споров о размерах нашей анаконды. Естественно, мы первым делом растягиваем змею и тщательно замеряем рулеткой.

— Восемь метров сорок три сантиметра, — объявляет герпетолог с довольной улыбкой. — Не так уж плохо. Во всяком

случае, побольше максимума, о котором писал Дитмарс. Но и рекордом это не назовешь. Есть экземпляры покрупнее. Намного крупнее…

В его голосе звучит что-то вроде тоски. Опять недоволен? Надо же.

Мы беремся за ножи. Не просто снять кожу с такого чудовища. Голову наскоро очищаем и засаливаем вместе с кожей. До чего же маленький мозг у анаконды! Нам не удается извлечь его целиком, но приблизительно вес определить можно. От силы тридцать граммов. На каждый грамм не меньше десяти килограммов тела. Невольно вспоминаются драконы юры и мела. Они тоже не отличались высоким интеллектом. Конечно, и внутренности представляют интерес, однако всего заспиртовать мы не можем, поэтому отправляем их в реку, но сперва исследуем содержимое желудка. Очковый кайман (Caiman sclerops) длиной около ста восьмидесяти сантиметров… Грудная клетка раздавлена, позвоночник переломан. Змея, способная целиком проглотить такого каймана, пожалуй, и с человеком справится. Не удивительно, что анаконда сперва была вялая: вон, как живот набила. Возможно, нам только потому и удалось ее добыть. Более философски настроенный автор, вероятно, предложил бы тут читателю несколько нравоучительных суждений о вреде обжорства.

Естественно, мы не управились с препарированием в один вечер. Оставалось лишь надеяться, что завтра утром останки змеи не будут пахнуть слишком скверно. Я сочувствовал Карлосу Альберто, которому предстояло довести до конца эту работу, когда мы вернемся в Институт естествознания… И вообще я был вполне доволен своей специальностью сортировщика мелкой рыбы.

С каким наслаждением мы искупались в тот вечер… Осторожности ради — на берегу, поливая друг друга из черпака. Меня отнюдь не манило нырнуть в речку, где пираньи и прочие аборигены наверно вошли в раж, отведав того, что мы выбросили. Интересно: они не тронули убитую анаконду, когда мы ее вытаскивали из воды. Может быть, им ее запах не нравится? В одном из притоков Магдалены я пробовал удить на крокодилье мясо. Никто не клюнул. Но ведь я сам однажды видел, как раненый крокодил спасается на берег от пираний… Вот и разберись тут, что к чему.

С рассветом опять приступаем к работе. Трудимся не один час. Наконец скелет анаконды можно засаливать. Но ведь надо все упаковать, чтобы везти с собой. Придется провести еще одну ночь на этом берегу. И уж лучше перенести гамаки подальше.

Больно тяжелый запах там, где мы работали. И деревья облеплены грифами.

…Новый день. Все интересующее нас уложено в лодку. Остальное — грифам. Пускаем мотор и идем по притоку вниз к большой реке. Собранный нами материал сложен на носу, накрыт брезентом и пальмовыми листьями. Он уже занимает немало места. Позади меня сидит Матеито. Я оборачиваюсь, предлагаю ему сигарету. Немного погодя показываю на наш багаж и говорю чуть ли не единственные слова, которые знаю на его языке:

— Супаи има, има.

Индеец отвечает не сразу.

— Супаи има, има — нет, — он качает головой, смотрит на наши свертки и объясняет: — Супаи има.

Снова пауза, наконец сигареты выкурены, тогда Матеито указывает подбородком вперед и говорит:

— Супаи има, има!

Он считает, что мы не нашли настоящую большую анаконду, встреча с ней еще предстоит. Вот так.

# Супаи има, има

Фред и Карлос Альберто вернулись. Они побывали в Боготе, отвезли в столицу собранный нами материал. Заодно Карлос Альберто залечил укусы, полученные от одной из двух молодых анаконд, пойманных нами на Гуавьяре. Попав в клетку, она вознамерилась съесть свою подругу по несчастью, препаратор вмешался и был награжден двумя укусами.

Мы пополнили свое снаряжение, я прочел самые важные письма и свежие газеты, отведал «цивилизованной» пищи, выпил стопочку разбавленного виски. Кроме того, мы подобрали в условленном месте Матеито, отдали Геронимо обещанные фотоснимки (на них — его отец, он сам, его жена и дети), и теперь снова идем вниз по реке, выслеживая настоящую большую анаконду. Время поджимает. Пока что нам везло с погодой, но сезон дождей уже да подходе, а тогда конец всем работам здесь до следующего года. Вообще-то нам удалось в этот заход добыть еще один экземпляр, но в нем нет и шести метров. Подросток для данного вида, вернее, подвида. Неужели мы не получим веского доказательства, что здешняя анаконда вполне заслуживает приставки gigas (гигантская)?

Сегодня мы должны подойти к тому месту, где в реку вливаются воды из обширных болотных озер. Эти озера не показаны ни на одной из известных мне карт. Матеито узнал о них от тестя Геронимо. Старик рассказал про большое озеро, на котором он держит лодку, хотя сам редко туда наведывается, потому что там собираются злые бесы.

Вот и рукав, соединяющий реку с болотами. Первым его обнаруживает всевидящий Матеито. Нелегко отыскать ворота «озера духов», устье притока совсем закрыто кустами. Правда, в это время года прибрежный лес обычно не такой зеленый, но непосвященный человек может и не заметить этого. Или отнести за счет близости реки. Во всяком случае, Матеито оказывается правым, как и следовало ожидать.

Разбиваем лагерь на песчаном берегу. Фред, Луис Барбудо и Матеито отправляются вдоль рукава на разведку. Хорошо бы подняться на пироге возможно выше: надежно укроем ее от чужих глаз, пока будем обследовать озеро, и не так далеко тащить па себе снаряжение. Там, где живут только некрещеные индейцы, краж бояться нечего. Но здесь, у большой реки, слоняется всякий народ. Вспоминаю, что мне однажды сказал мой незабвенный друг Хаинамби, когда мы еще были молодыми и ходили на медведя в предгорьях Западных Анд:

— Понимаешь, старший брат, из наших людей никогда не выйдут настоящие христиане, мы не умеем ни врать, ни воровать.

За два часа до заката разведчики возвращаются. Усталые и голодные, зато с добрыми новостями. Километра три можно пройти на лодке, дальше путь преграждает бурелом. Мы стоим на пляже и совещаемся, в это время до нас доносится рокот мощного мотора. Матеито молча забирает свой узелок и ружье и удаляется в лес.

Через несколько минут из-за поворота появляется большая лодка, полная людей. Она пристает к берегу рядом с нашей долбленкой. Пассажиры выходят. Патер из ближайшего селения и его служка, румяный дородный полицейский чин, капрал, восемь жандармов и два рыбака: проводники и чернорабочие. Миссионерская экспедиция за душами индейцев. Чин подходит к нам и справляется, кто мы. Предъявляем ему наши документы и рекомендательное письмо губернатора. Прочтя письмо, он становится малость вежливее. Просит показать разрешение на оружие. Ему явно приглянулся мой штуцер, но бумаги в полном порядке, не придерешься. Затем он осведомляется, не встречались ли нам индейцы. Услышав отрицательный ответ, говорит:

— Если встретите, стреляйте! Это опасный и коварный народ.

Я смотрю на патера, он ухмыляется и кивает. Н-да, вот так обращают в праведную веру индейцев в шестидесятых годах нашего века… Невольно вспоминается миссионерский гимн, который я слышал в молодости. В этом гимне говорилось, что путешественник странствует под защитой охранных грамот и винтовок, а вот миссионер идет впереди него тихо и скромно, имея только топор и ложку. Я ни разу не видел миссионера, работающего топором. Зато частенько наблюдал, как они орудуют ложкой. В чужих котлах.

Великолепная компания отправляется дальше. Гул мотора смолкает вдали, после этого мы переносим лагерь на скрытый кустами рукав подальше от греха. Выходит Матеито. Он стоял за деревом в десяти шагах от нас и наверно все слышал. Что ж, ему это полезно.

Рано утром следующего дня, пройдя на лодке половину пути до озера, делим между собой ноши, остальное прячем в лесу. Товарищи настаивают, на том, чтобы я шел впереди с ружьем, они возьмут снаряжение. Я понимаю, что это просто уловка с их стороны: они берегут меня. Но не спорю: никуда не денешься, мои силы уже не те, что прежде.

Три километра. Казалось бы, недалеко. А вы попробуйте одолеть их в тридцатиградусную жару, пробиваясь сквозь тропические заросли с ношей за плечами. Правда, я расчищаю

путь мачете, но все равно моим товарищам приходится не сладко.

Вот и берег озера. Мы принимаемся искать лодку старика. Конечно, ее находит Матеито. Она тщательно замаскирована сухими пальмовыми листьями. Должно быть, целый отряд индейцев оттащил ее волоком на катках подальше от воды, чтобы спрятать в укромном месте. Мы тоже делаем катки и спускаем лодку к воде.

Широкое озеро со всех сторон окаймлено дремучим лесом. Блестящие водные зеркала чередуются с полями водных гиацинтов Eichhornia. Цветки — словно лиловые облачка над плавучим ковром из листьев и корней. Тут и там торчат темно-зеленые кочки камышей, на плоских мысочках и островках стоят деревья. И птицы, птицы, куда ни посмотри: черные ибисы, красные ибисы, зеленые ибисы, красноклювые аисты магуари[31], огромные белые аисты ябиру[32] с черной головой и красным воротничком. Бакланы, змеешейки, султанки, утки, поганки, яканы[33]. Цапли, не меньше десяти видов, даже не хочется их определять, а только упиваться великолепием форм и красок. Вижу поблизости на воде что-то вроде кусочков коры. Глаза и конец морды небольшого крокодила. Похоже, он понял, что обнаружен. Стоило мне протянуть руку за ружьем, на пробу: вдруг в этой глуши рептилии не успели еще узнать, что такое человек, — как он ушел вглубь и исчез. Беру вместо штуцера спиннинг. Моя блесна соблазняет красивую муэлуду — это один из местных видов Вгусоп. Славная рыбка, килограмм потянет. За первой следуют еще две, но дальше клеву конец, хотя я вижу рябь на воде от проходящих косячков и забрасываю туда блесну.

Луис Барбудо устраивает из листьев навес над нашими гамаками. Карлос Альберто, сидя на корточках, нарезает мясо капибары для копчения. Фред и Матеито ушли искать анаконду. Возвращаются и докладывают, что обнаружили только следы. Завтра начнем систематические поиски.

…Раннее утро. Туман над озером, легкая, нереальная мгла, пронизанная лунным светом, полная птичьих голосов. С другого конца болота доносится доисторический рев. Буйный, свирепый и в то же время какой-то тусклый звук. Наверно, так вызывала друг друга на бой древние ящеры в ту пору, когда предки человека еще не успели стать полуобезьянами; сидели на деревьях этакие волосатые насекомоядные и дрожали, глядя, как внизу ревут и дерутся драконы. Теперь потомкам ящеров приходит конец, И потомки насекомоядных должны что-то сделать, чтобы спасти их, ведь крокодилы нужны для естественного баланса в больших тропических водоемах.

Небо над лесом на востоке оранжевое, а выше — бледно-

зеленое. Желтое зарево медленно оттесняет зелень к зениту. Кваквы возвращаются к своим гнездам. Вижу их силуэты в небе, пока мы готовим лодку. Рассвело, можно отчаливать. Лодка типа гуанахибо, узкая-узкая. Сел и сиди, уже не поменяешься местами, даже размяться нельзя, если ноги затекут.

Матеито рулит. Карлос Альберто и Луис гребут. Мы с Фредом сидим спина к спине, потому что в этой лодке не развернешься, и можно стрелять только влево. Берег с левого борта, за эту сторону отвечает Фред. Я слежу за островками и водной гладью. Проходит час за часом, мы видим и слышим всевозможных животных, большинство из них красивые, и все — интересные. Солнце начинает припекать. Туман улетучился, птицы укрываются в тень. Но никаких признаков анаконды. Высаживаемся на островки и мысочки, пересекаем поля водных растений, прочесываем камыши и кустарники. Никакого результата. Пусто. Около полудня разводим на мысу костер, варим кофе, разминаем ноги. Потом снова занимаем места в лодке и идем дальше.

Три часа пополудни. Обследовано больше половины озера. Воздух неподвижен, жарища — хоть хлеб пеки. Несмотря на пробковый шлем, у меня голова раскалывается от боли, подташнивает. Не иначе, старая малярия напоминает о себе. А может быть, новую подцепил. Как бы то ни было, самочувствие отвратительное. Сейчас бы лежать в гамаке…

— Все равно сегодня все озеро не осмотрим, — не выдерживаю я в конце концов. — Супаи с ним, пошли обратно в лагерь. Пойдем мимо того островка, сократим путь.

Никто не возражает. Легким движением кисти Матеито заставляет наш «стручок» развернуться вправо.

Встреча происходит посреди озера, возле гиацинтового поля. Вдруг Матеито с шипением втягивает в себя воздух. Это сигнал тревоги и в то же время знак крайнего удивления. Потом он показывает подбородком. Я поворачиваю голову и вижу. Ее. Супаи има, има. Никакого сомнения. Она плывет в противоположном направлении. Нас не разделяет и десять метров, но анаконда даже не глядит в нашу сторону. Она слишком велика, ей некого остерегаться. Исключая человека… Никто из нас не видел еще такой огромной анаконды. Она длиннее лодки, а в лодке десять о половиной метров. Толщина соответственная. Плывет под водой, извиваясь, будто уж. Только голова время от времени приподнимается над поверхностью. И я вижу холодный глаз. Он кажется слепым, как это нередко бывает со змеиными глазами при определенном освещении.

Анаконда идет справа от лодки. Моя сторона. Приклад к плечу. Двустволка заряжена оленьей картечью, надо целиться в

основание головы. Сижу наготове. Как только голова снова покажется над водой… Вот она. Прицеливаюсь. Но что-то заслоняет от меня мушку. Смуглая рука Матеито легла на ствол ружья. Легкий всплеск, анаконда исчезает и уже больше не показывается. Вижу, как по гиацинтовому ковру пробегает извилистая волна. Дальше начинаются густые, непроходимые камыши.

Удивленно смотрю на индейца. Что он — с ума сошел? Столько месяцев искали, наконец нашли гигантскую змею, и вдруг Матеито не дает мне стрелять! В его ответном взгляде угадывается улыбка. Он берет утиные потроха, припасенные нами для наживки, и бросает в воду. В тот же миг со всех сторон слетаются темные силуэты. Мелькают желтые бока с темными крапинками, короткие челюсти рвут кровавую добычу. Пираньи. Притом не маленькие, обычные, а Serrasalmus nattereri величиной с леща, весом один-два килограмма. Убей я здесь большую анаконду, пираньи несомненно разорвали бы ее в клочья. А что сталось бы с нами, если бы змея — вполне вероятный случай — конвульсивным движением опрокинула лодку и вывалила нас в гущу прожорливых хищниц?

Разумеется, Матеито правильно поступил. Но до чего трудно это признать.

— Ладно, — говорит Фред, — во всяком случае мы знаем, что она здесь. Будем продолжать поиск, пока не найдем ее в надлежащем месте, при надлежащих обстоятельствах. Это великое счастье, о сортировщик мелкой рыбы, что ты не выстрелил. Вот было бы досадно, если бы такая редкость досталась проклятым пираньям.

Фред тоже прав. Но разочарование так велико, что мне трудно его перенести. К тому же я чувствую себя ужасно. Как только мы возвращаемся в лагерь, бреду к своему гамаку. Фред вливает в меня лекарство и виски, Луис помогает мне разуться, потом я несколько часов в бреду сражаюсь с воображаемыми крокодилами и драконами. На следующее утро я похож на выжатую тряпку, и все, что ни возьму в рот, на вкус такое же горькое, как вчерашний хинин. Заурядная малярия. Уговариваю своих товарищей отправиться на поиски анаконды, а сам остаюсь в лагере и питаюсь маленькими белыми таблетками. Вскоре после полудня они возвращаются ни с чем, если не считать подстреленного недалеко от лагеря оленя.

Еще один день, и температура спадает. Правда, самочувствие мерзкое, я гожусь только на корм стервятникам, но на душе уже веселее. Остальные опять идут на разведку, а я сажусь читать стихи Карльфельта — самого мужского поэта из всех поэтов-

мужчин.

В полдень небо, словно чаша из бронзы. Я уже приметил, что бронза с каждым днем все темнее и каждый закат — багровее и мрачнее предыдущего. Резкий, короткий звук разрывает гнетущую тишину. Выстрел из штуцера. Поднимаю голову и прислушиваюсь. Еще выстрел. Через несколько секунд — третий, почти одновременно с ним звучит голос дробовика. И снова тишина. Мертвая тишина. Но я знаю, что в пальмовых зарослях в другом конце озера произошло что-то важное. Без веской причины Фред не выпустит подряд три пули. Либо им наконец попалась большая анаконда, либо пришлось от кого-то обороняться. Ведь мяса у нас достаточно.

Проходят часы. Дело к вечеру, тени совсем длинные. Стою на поваленном стволе и всматриваюсь вдаль. Вот и лодка. Наконец! Она огибает мыс. Раз, два, три, четыре — все на месте, значит, ничего страшного не случилось. Между рулевым и гребцами лежит большущий сверток. Утром его не было. Одновременно я замечаю еще одну вещь. В небе далеко на северо-западе пухнет грозное многоэтажное облако. Несмотря на расстояние, ошибиться невозможно. Сезон дождей на пороге. Не сегодня-завтра польет. Лодка подошла к берегу, спускаюсь навстречу товарищам.

— Добыли еще одну анаконду, — сообщает Фред. — Правда, не рекорд. Чуть больше восьми метров. Точнее, восемь метров двадцать четыре сантиметра. Она лежала среди бурелома, я не мог ее как следует разглядеть, и она мне показалась длиннее.

— И хорошо, что не пренебрег, — отвечаю я. — Если эта туча не обман зрения, нам здесь лучше не задерживаться. Сдается мне, нашей охоте пришел конец.

Воздух тяжелый, безжизненный. Фред обращается к Матеито:

— Как ты думаешь, ночью будет дождь?

Индеец кивает. И неожиданно произносит целую речь:

— Может быть настоящая буря. Лучше уходить. Здесь много деревьев.

И вот уже мы работаем полным ходом, спешим погрузить все в лодку, пока не стемнело. Звезд не видно, и мы тщательно накрываем все вещи брезентом и прорезиненной тканью. Можно отчаливать. Матеито правит, Карлос и Луис гребут, мы с Фредом освещаем путь фонариками. Ветер все пронзительнее завывает в кронах. Падают сухие листья и ветки. Нынче ночью в свете фонарей не вспыхивают звериные глаза. Ни кайманов, ни крокодилов, ни броненосцев, ни паки, ни выдры. Они чуют, что надвигается, и укрылись в своих норах. Ветер ревет. Где-то позади рушится могучее дерево, сбивая в падении другие. Гул заставляет

нас втянуть голову в плечи, но гребцы не перестают работать веслами.

Прямо над нами раздается громкий треск. Толстый сук длиной в два человеческих роста шлепается в воду перед самой лодкой. Матеито успевает свернуть в сторону. Яркая молния озаряет темную ленту воды и лес по берегам. Матеито и Луис меняются местами, мотор прокашливается, потом рождается мерный рокот, и мы мчимся сквозь ночь, огибая бурелом.

Молнии сверкают все чаще. Видно просвет впереди, мы подходим к большой реке. Что нас там ожидает?

Последняя завеса из кустарника, и мы выскакиваем на широкую Гуавьяре. Молнии освещают изрытую ветром поверхность реки. Волны захлестывают пирогу. Луис ведет ее к песчаному пляжу, причаливает подальше от высоких деревьев и выключает мотор. Мы ждем.

Ждать приходится недолго. Прямо на нас бежит на тысячах белых ножек серая стена. Ливень. Мы пригибаемся, держась за борты. Первые капли хлещут, как плетью, но стена дождя быстро глушит ветер. Молнии и гром не прекращаются, а мы как будто отгорожены от всего ревущей серой громадой. Словно в атмосфере нет места ни для чего, кроме этого невероятного, немыслимого дождя. Льет, как из ведра, струи воды сбегают по одежде, плещутся у наших ног. Мы безостановочно вычерпываем воду из пироги калебасами, ведерками, котелками.

Река разливается на глазах. Она подступает к лодке, снова и снова заставляя нас выпрыгивать в воду и, ухватившись за борта, тащить вверх отяжелевшее суденышко. И черпать с удвоенной энергией, чтобы пирога не завязла в песке.

У нас было два плаща и одно прорезиненное пончо. Мы завернули в них мотор, едва начался дождь. Что бы ни случилось, мотор нужно сберечь. Сейчас с Гуавьяре шутки плохи, веслом не сладишь. Время идет, но мы его не замечаем, время перестало существовать, на свете есть только дождь, беснующаяся вода и мрак. Ветер словно захлебнулся, во всяком случае, мы его не ощущаем.

Но вот мрак, похоже, начинает рассеиваться. И дождь уже льет не подряд, а с перерывами, мы поспеваем вычерпывать из лодки почти всю воду. Над рекой занимается мглистый свинцовый день. Гуавьяре раздалась вширь так, что никаких пляжей не видно. За ночь уровень поднялся почти на метр, и вода продолжает прибывать. Мутный поток несет ветки, сучья, целые деревья. Большая ежегодная уборка началась.

Хочешь, не хочешь, надо трогаться с места. Луис Барбудо снимает с мотора плащи, долго возится с ним и наконец

запускает. Мы идем вверх по реке. Сидим озябшие, мокрые, в отвратительном настроении и смотрим на скользящие мимо берега. Рулевой внимательно следит за тем, чтобы пирога не столкнулась с плавником. Время от времени тучи нещадно поливают нас дождем. Мы непрерывно вычерпываем воду из лодки; иногда приходится приставать к берегу и общими силами перевертывать ее. Две ночи проводим в лесу под наскоро сооружаемыми навесами. Один раз ночуем в лачуге поселенцев из Толимы. Делимся с хозяевами остатками провианта, даем им лекарство от малярии и дизентерии. Они рассказывают нам, что большая лодка с патером и жандармами еще не возвращалась, поэтому они прячут свинью и кур в сарае в лесу.

Наконец впереди показывается селение. Моя малярия, похоже, совсем меня отпустила, зато донимает астма, и сердце шалит. Я вынужден сидеть сложа руки и смотреть, как работают мои товарищи. Мы прощаемся с Матеито. Он получает условленное вознаграждение и, кроме того, подарки, в том числе мою финку. Луис провожает его до опушки, дальше индеец сам доберется.

Приходит самолет из Боготы. Поддержанный могучей рукой Фреда, карабкаюсь в кабину. Гляжу в окошко на исчезающие вдали льяносы с пеленой дождевых туч. Впереди длинным голубым облаком высятся Анды.

— Так и не удалось нам взять самую большую анаконду, — говорит Фред. — Ничего, хороший материал собрали. И ведь будут, как говорится, еще поезда…

— Может быть, — отвечаю я. Хотя знаю в душе, что мне-то уже не бывать на болотных озерах у реки Гуавьяре.

# Эпилог

Не один год прошел с тех пор, как мы выслеживали на Гуавьяре гигантскую анаконду и нашли ее, да не смогли увезти с собой. Наша компания распалась. Фред, как и раньше, профессор университета, и Карлос Альберто, если не ошибаюсь, по-прежнему помогает ему. Может быть, им уже удалось взять большую анаконду, но я об этом пока не слышал. Не сомневаюсь однако, что в один прекрасный день они ее добудут. Луис несколько лет работал мотористом в Северной Колумбии. Потом уволился и вернулся в льяносы. Больше мне о нем ничего не известно. Агапито, последний вождь тинигуа, решил в конце концов отправиться в Боготу, чтобы просить президента республики помочь вымирающему племени. Томми посадил его на свой старый самолет. В пути Агапито умер от паралича сердца. Томми ничем не мог ему помочь. Матеито умер, как жил, — в лесу, вольным человеком. Подробностей не знаю. Из всего племени тинигуа осталось лишь шесть человек. Четверо мужчин и две женщины, давно уже не способные рожать. Бесследно исчез целый народ вместе со своей культурой и языком.

Это были гордые люди. Они не дали себя поработить, не пожелали стать «христианами». Поэтому за ними не признавали человеческих прав. Поэтому миссионеры вкупе с полицией и солдатами охотились на них, как на диких зверей. Поэтому им пришлось умереть. Поэтому память о них стерта с лица земли. Такое же истребление грозит другим племенам: карихона, куива, юко, кубео.

Что до меня, то астма и слабое сердце навсегда закрыли мне дикие дороги. Но они не могут лишить меня моих воспоминаний. Некоторое время я еще могу сидеть под деревом и рассказывать тем, кто меня пожелает слушать. Если кто-нибудь не пожалеет дерева для старика.

Спасибо за все, что мне выпало увидеть, услышать и пережить. Спасибо, жизнь.

*Г. Даль*

# Последняя река

*Доктору Эрнандо Рейес Дуарте, руководителю нашей борьбы за охрану природных богатств Колумбии, посвящается эта книга.*

# «Дзизора уанья до-намаэрре пуза-ин»

Глухой стук в глубине тропического леса. Кто-то, где-то передает послание. Короткая дубинка из белого, как кость, твердого дерева каиманчильо ритмично колотит по барабану, похожему на лодку.

Маленький смуглый человек в красной набедренной повязке отрывает взгляд от сети, которую он вяжет. С минуту напряженно слушает. Потом поднимается и идет за своим барабаном. Это выдолбленная кривая колода из чибога, заостренная с одного конца, обтянутая тем, что некогда было желудком крокодила. Ладони человека легко ударяют по тугой пленке, передавая послание дальше: «Дзизора уанья до-намаэрре пуза-ин» («Старый человек спускается по реке к морю»).

По лесной речушке скользит через перекат пирога. Она выдолблена из бревна сейбы. Длинная, низкая и поразительно устойчивая, хотя такая узкая, что только-только впору сесть человеку.

На носу стоит молодой индеец с шестом, чтобы отталкиваться от скал и подводных камней. Его гибкое тело чуть-чуть покачивается, пружиня, как у лыжника на крутом спуске. Другой индеец рулит широким веслом, третий сидит с веслом в руках, готовый помочь, если понадобится.

Три молодых парня с характерными спокойными лицами индейцев энгвера — высокие скулы, подстриженные челкой густые иссиня-черные волосы. Они одеты в андеа — как бы лубяные плавки — и короткие набедренные повязки, но ожерелий на них сегодня нет, и лица не раскрашены. Между ними сидит в челне седой мужчина, он намного старше их. Хотя лицо, шея и руки его от многолетнего загара почти такие же смуглые, как у индейцев, все равно сразу видно, что это белый человек, европеец. Сейчас он одет так же, как его товарищи, а на щеках и носу видны следы индейского ритуального узора. Красная краска из ачиоте и жира дикой свиньи смыта, но черный сок плодов генипа не сразу поддается воде и мылу.

Поверх двух тонких бальсовых бревнышек на дне лодки лежат мешки и узлы из прорезиненной материи, которую делают лесные индейцы, пропитывая тонкий брезент соком гевеи. Раньше для того же применяли луб.

Лодка скользит дальше через бурлящие пороги, через глубокие тихие плесы — они сейчас, в засушливую пору, прозрачнее зеленого стекла. Весла вспугивают стайки рыб, с солнечных лужаек на берегу сползают в воду широкие черепахи.

Красные и темно-фиолетовые цветки на гирляндах лиан роняют в реку лепестки, за ними гоняются золотистые дорады.

Текут километры. Идут часы. Снова перекат, между камнями клокочет белая пена. Последний маленький бунт реки перед тем, как равнина начнет ее укрощать.

Белый мужчина поворачивает голову и долго глядит на бурлящую воду, слушает ее песню.

Рулевой направляет длинную пирогу к песчаному берегу, за которым плотной стеной стоят невысокие деревья со светлой корой и большими сердцевидными листьями — белая бальса. Несколько ниже по реке возвышается могучее дерево караколи. Длинные, прямые, толстые, как канат, темные лианы свисают с его кроны, купая в воде свои корневища. Это анкла, самые крепкие и упругие среди здешних лиан. Выше по течению, рядом со стремниной, растут сурибио, низкие, сутулые, ветвистые, с блестящими ланцетовидными листьями. Узловатые ветки далеко простерлись над рекой.

Четыре странника выходят на берег. Индейцы забирают из пироги мачете и топоры. Двое начинают срубать бальсу, самые высокие и толстые стволы. Третий живо сооружает наклонный навес из листьев бихао в таком месте, чтобы не видно было с реки.

Белый надевает кожаный пояс с мачете и финкой, берет дробовик и уходит в глубь леса. Через несколько минут индейцы слышат выстрел. Смотрят друг на друга, кивают, и снова топоры рубят пористую бальсовую древесину. За час до заката старик возвращается, на поясе у него висят два тинаму[34] — забавные птицы чуть больше цесарки, с круглой мясистой тушкой, тонкой шеей и смехотворно маленькой головой.

Лагерь уже готов, кофе вскипел, первые два длинных бальсовых ствола срублены. На импровизированных подставках, прикрытые сверху большими листьями, коптятся с полдюжины очищенных жирных дорад.

Смеркается. Белый подвесил между двумя деревьями свой гамак и сетку от комаров. Индейцы постелили себе под навесом. Теперь все четверо сидят и ждут, когда сварится птица, которая кипит в котелке вместе с пятью-шестью очищенными корнями икаде.

В зарослях ниже по реке кричат маленькие длиннохвостые древесные чачалаки. Полчища насекомых и древесных лягушек начинают свой сумеречный концерт.

Белый грезит наяву. Переносится в мыслях на несколько десятков лет назад, вспоминает свои первые встречи с индейцами энгвера и их рекой. Не с теми молодцами, которые его сейчас

сопровождают. Их еще не было на свете, когда Мари-гама, старый мудрый знахарь, усыновил молодого белого натуралиста и дал ему имя До-хиви— «речной орел».

Полтора года лесной жизни было за плечами До-хиви, когда он впервые пришел в это племя. И он прожил у индейцев два года, с одним только коротким перерывом: ездил к морю за своей молодой женой. Она последовала за ним в дебри. Здесь они провели вместе четырнадцать месяцев. Жили в свайной хижине, одевались и раскрашивали себя, как индейцы, а иногда обходились без одежды; охотились, ловили рыбу, возделывали землю. Единственным неиндейским было у них скудное научное снаряжение, чтобы собирать фауну для университетов и музеев, кроме того, дробовик, штуцер, пистолет, аптечка и фонарь. Дважды они чуть не умерли с голоду и почти всегда жили впроголодь. Но они были молоды, а молодость выносliва, не падает духом и не боится передряг. Сельва их не сломила. И когда они в конце концов оставили ее, то сделали это прежде всего потому, что мечтали о ребенке, о сыне.

С тех пор До-хиви много раз навещал усыновившее его племя, временами жил у него, стараясь помогать и служить ему в меру своих сил. А в промежутках надо было делать свою работу, следуя своему жизненному предназначению. Он был шкипером рыболовного судна, экспедиционным проводником, хранителем музея, учителем в интернате. И всегда — исследователем, все остальное было только средством для того, чтобы заниматься исследованиями.

В один прекрасный день его пригласили на должность профессора государственного университета, а через несколько лет предложили основать и возглавить новое исследовательское учреждение, составить программу экспериментов и наладить морские изыскания. Объем работы рос, росла и ответственность. Но как только представлялась возможность, он возвращался к своим смуглым друзьям в обширных лесах у подножия Анд.

Он видел, как отступает лес, как индейцев шаг за шагом теснят «поселенцы», присваивающие себе чужие земли, как молодых отрывают от родной культуры и развращают смертельные враги всех первобытных народов — виноторговец и миссионер. Правда, он делал все, что мог, отстаивая права своих друзей, но этого было мало, слишком мало.

Теперь он снова их навещал, в последний раз, и простился навсегда. Немного их осталось, старых друзей, с которыми он сблизился тридцать лет назад. Престарелый знахарь возвратился к Солнцу. Его старший сын, «тотемный брат» До-хиви, ушел туда чуть раньше. Один за другим легли на отдых в лесную землю

другие товарищи по охоте: «Тот, который пьет из многих рек», «Тот, который не разговаривает», «Маленький змей», «Два копья». Только Я-диби, До-чама и Не-эн-саби — «Коршун», «Выдра» и «оцелот» — встретили его скупой стариковской улыбкой, преданным дружеским взглядом. Это их сыновья спустились с ним вниз по реке и теперь помогают ему строить плот.

Он хочет проститься и с рекой тоже. Рекой, с которой знаком столько лет, рекой, чьих рыб первым исследовал и описал в книге, принесшей ему звание профессора. Он изучал много других водоемов: оба океана, омывающих берега Южной Америки, тихие блестящие горные озера на студеных парамос Анд, лиманы, угрюмые мангровые болота, широкие и мелкие равнинные озера, укрытые ковром цветущих водных гиацинтов. И реки, впадающие в Карибское море, в Тихий океан, в залив Дарьен, в Ориноко и Амазонку. Но эта для него река из рек, его река. В последний раз пройдет он по ней от предгорий Анд до самого моря, пройдет так, как много лет мечтал. Не на большой грузовой пироге и не на шумном катере, а на бальсовом плоту, сама река тихо донесет его до побережья. Это будет не экспедиция, а общение.

Ведь он теперь сам хозяин своего времени. Теперь, когда пришла пора подвести итог делу жизни и покинуть страну, которой отданы многие годы. Чтобы вернуться на «родину». Родина — страна, которой он не видел добрых два десятка лет. Что он знает о ней теперешней, о ее ритме, новом лице? Не станет ли она для него чужбиной?

Старик пожимает плечами и усмехается про себя. Нашел, из-за чего тревожиться! Разве он не был всегда и всюду чужаком? Не считая каких-нибудь редких минут…

Он поднимает голову и напряженно вслушивается. В темнеющем колодце леса зовет птичий голос:

— Па-ку-не! Па-ку-не!

Старик улыбается, вспоминая испанское имя этой птицы. Соледад — «одиночество».

Индейцы молча ложатся спать под навесом. Белый по-прежнему сидит у костра. Воспоминания — будто стая белых цапель над тропическим болотом на рассвете. Воспоминания о первом посещении индейцев, когда он был принят в общину вольных дикарей и получил имя.

# «До-хиви»

Мы встретились под вечер на берегу реки. Встретились нежданно-негаданно, во всяком случае, для меня. Кустарник словно сам расступился, и я увидел его, моего друга с доброй улыбкой, — Обдулио, старшего сына знахаря.

Мы не раз виделись с тех пор, как я несколько месяцев назад впервые пришел в его хижину на расчистке под горой. Особенно часто я к нему наведывался, когда на его отца, добродушного старого знатока лекарственных трав, которого креолы звали Хуаном, насела злая малярия. К счастью, несколько инъекций помогли старику, так была заложена основа нашей дружбы.

Дружелюбие индейцев было прямо-таки трогательным. Они брали меня с собой на охоту, на рыбную ловлю, приносили мне из леса интересных животных и начали обучать меня своему языку. Мы все больше сближались.

Энгвера прекрасно понимали, что я никогда не научусь тенью скользить через лес, как они, но зато у меня было современное оружие, которым я неплохо владел. Они подводили меня на выстрел к оленям, диким свиньям, медведям. Моя маленькая коллекция шкур и черепов постепенно росла.

Поскольку в моем лагере работали неиндейцы — креолы и несколько чернокожих ребят из Чоко[35], Обдулио предпочитал встречаться со мной в лесу, особенно когда хотел сказать мне что-нибудь важное.

Мы сели на мертвое дерево и молча покурили. Лесных индейцев не нужно занимать пустой болтовней, и они никогда не торопятся, кроме тех случаев, когда дело не терпит отлагательства.

Наконец Обдулио заговорил. Он пришел звать меня на охоту на следующий день. Я, разумеется, не имел ничего против.

— А на кого будем охотиться?

— Уи. Медведь. В горах.

Он показал на горную цепь к западу от реки. Настоящие глухие дебри, нетронутый лес, каким он был еще до прихода индейцев.

Я кивнул и ответил: «Хнг'са биа-буа» («ладно»), Обдулио промолчал, как бы собираясь с мыслями. Потом сказал:

— Я задумал, что мы пойдем на уи по-нашему. Не с ружьем, а с копьем.

Мне вспомнилось, как старый траппер, метис Эмилиано, от которого я узнал по-настоящему, что такое профессиональная охота на крокодилов, однажды рассказывал про ритуальную

медвежью охоту лесных индейцев. Ее устраивали для того, чтобы молодые люди могли показать свое мужество и умение обращаться с оружием. Во всяком случае, так говорила Эмилиано его мать-индеанка. Подробностей она, естественно, знать не могла, ведь ритуальная охота — сугубо секретное мужское занятие.

Сказать, что приглашение Обдулио меня заинтересовало, — слишком мало. Неужели я и вправду буду участвовать в таком деле? И как они ухитряются подойти с копьем к сторожкому черному медведю? Мне это представлялось самым трудным из всего.

Справлюсь ли я с копьем в случае чего? Много лет. назад, далеко за Полярным кругом кочевник Нила, мой старый друг, на счету которого было двадцать восемь бурых медведей, учил меня, как брать медведя на копье. Одно ясно — такого случая упускать нельзя.

— Хорошо, мой брат. Значит, ружья брать не надо?

— Возьми ружье с двумя стволами — то, из которого мой брат стреляет птиц. Может быть, нам встретятся паукообразные обезьяны[36], или олень, или дикие свиньи. В медведицу тоже можно стрелять, когда у нее нет медвежат. Но уи дьюмакира надо убить копьем, в эту пору он ищет себе самку, он злой, не уступает дорогу человеку, а идет на него. Да и уи муэра тоже не отступит, если у нее есть детеныши, которых надо защищать. И пусть лучше мой брат оденется так, как мы. В набедренной повязке легче двигаться, чем в одежде белого человека.

— Ладно, брат, — ответил я. — Где мы встретимся?

Индеец описал одно место километрах в двух от моего лагеря. Мы уже встали, чтобы разойтись, когда он добавил:

— Приходи один, брат!

— Я сделаю так, как говорит мой брат Обдулио.

— Не Обдулио, — возразил он с доброй улыбкой. — Хаинамби. Обдулио я себя называю, когда кругом капуниа, но мой брат может называть меня моим настоящим именем — Хаинамби.

Я помолчал, думая о том, что вот и подтвердилось то, о чем я догадывался, слушая малопонятные для меня разговоры между индейцами. Потом спросил:

— У всех энгвера есть такие имена?

— Да, у всех нас есть настоящие имена, но чужакам мы их не называем.

Мы сели опять, и он продолжал:

— Имя моего отца Мари-гама, а брата, Хоакина, по-настоящему зовут Эй-ке-ауври-зама. Имена моих друзей, женатых

на моих сестрах, — Доби-гари и Я-диби. Сына моей сестры, которого бледнолицые называют Рикардо, на самом деле зовут Са-ндиама, а Хосе, что стал христианином, звали Хаи-вер-ки-са. Завтра я скажу моему брату имена других соседей, их жен и детей.

— А сами они не скажут?

— У нас это не принято, брат. Никто сам не произносит своего имени, особенно при чужих. Я назвал тебе свое имя, потому что между братьями все иначе.

Мы долго сидели и размышляли молча. Наконец я сказал:

— Мой брат знает, что в глубине души я индеец, а не капуниа. Если я останусь здесь, когда уйдут чужаки, которые живут в моем лагере, построю себе хижину, расчищу участок и съезжу за женой — может быть, на тот случай и мне лучше было бы называться индейским именем?

Белые зубы Хаи-намби сверкнули в улыбке.

— Нунг! — произнес он и в тот же миг исчез в высокой траве, как умеют исчезать только лесные кошки и лесные индейцы: беззвучно и бесследно. Но его краткий ответ наполнил мое сердце радостным предвкушением, ведь «нунг» означает «завтра».

На другое утро я еще до рассвета пришёл в условленное место, на старую полузаросшую тропу, поднимающуюся на отрог. Свою одежду я тщательно спрятал на дереве, теперь на мне была только набедренная повязка, сандалии, пояс с ножом и мачете, патронташ. Кроме того, я взял двустволку двенадцатого калибра. Один ствол зарядил картечью, другой — пулей. Не прошло и пяти минут, как на тропе показались Хаи-намби и его младший брат Эй-ке-ауври-зама. Они несли корзины, мачете и копья, припасли копье и для меня. Недурное оружие. Наконечник был сделан из обломка мачете длиной сантиметров сорок и заточен с обеих сторон. Его вставили в расщеп двухметрового древка из темного твердого дерева и крепко привязали. Я взвесил копье на руках. Сбалансировано хорошо, удобное в обращении.

Братья раскрасились очень тщательно. Лицо, грудь, руки и ноги покрыты изящными геометрическими узорами, зубы черные от сока стеблей кидай. Хаи-намби отделил от своего ожерелья высушенный лесной плод, вынул деревянную затычку и показал мне, что этот маленький сосуд наполнен краской из размолотых семян ачиоте и жира дикой свиньи. Он окунул в краску щепочку и нарисовал на моем лице несколько черточек. Потом сделал знак, чтобы я шел за ними, и мы зашагали в гору.

Следом трусили три собаки, три тощих животных неведомой породы, совсем дикие на вид. У двух из них были страшные шрамы на голове и лопатках. Третья, маленький черный Бийон,

принадлежавший Хаи-намби, был немного поупитаннее и явно играл роль вожака. Я знал, что он прекрасный охотник. К сожалению, индейские псы производят довольно отталкивающее впечатление, да иначе и не может быть, если подумать, как с ними обращаются. С другими животными энгвера очень ласковы, но собака играет нелестную роль в их мифологии, и обычно с ней обходятся соответственно. Собака рождена под знаком Луны, значит, она вор, а на заре времен она покусилась на Великую Мать, от чего последовали разные неприятности для человечества.

Все в гору и в гору, час за часом… Я обливался потом, сердце и легкие работали на пределе. Хотя я тогда был в неплохой форме, мне стоило величайших усилий поспевать за плечистыми индейцами, а они шли, как ни в чем не бывало — ни капли пота, ни малейшего признака усталости. Для их ступней с жесткой, словно ороговевшей кожей и подвижными растопыренными пальцами корни и камни были надежной опорой, а мои сандалии с кожаной подметкой поминутно скользили на каком-нибудь влажном корне.

Не меньше трех часов мы поднимались на узкий гребень, который вел на запад-юго-запад, в глубь необитаемого края. За все это время мы не видели дичи, только слышали, как впереди взлетело несколько тинаму. В одном месте тропу пересекал вчерашний след пумы.

Никто из нас не говорил ни слова. Время от времени индейцы обменивались знаками, и только. Они великолепно друг друга понимали. Этот язык жестов так богат, что они могут подолгу беседовать, не открывая рта.

Примерно через полтора часа после того, как мы вышли на гребень, начали появляться следы медведя: старые отпечатки лап, несколько совсем свежих, царапины на стволах, сломанные пальмы, изуродованные горные дубы. Крупные желудевидные плоды горного дуба (Quercus granatensis или, возможно, Q. columbiensis) — одно из любимых блюд черного андского медведя[37].

В одном месте мне показалось, что медведь прошел совсем недавно, однако следы были недостаточно свежими, чтобы заинтересовать собак. Но вот под скалистым гребешком с редкими горными дубами и участками густого кустарника маленький Бийон вдруг остановился и уткнулся носом в след. Он тихонько ворчал, вся шерсть на загривке и на лопатках встала дыбом. С минуту пес стоял на месте, подняв голову и принюхиваясь к ветру. Потом красноречиво посмотрел на хозяина и затрусил к кустам. Другие собаки не отставали от него. Хаи-

намби побежал за собаками, Эй-ке-ауври-зама поспешил в обход гребешка. Где мне гнаться за этими быстроногими охотниками! К тому же мне, честное слово, не мешало отдохнуть. И я остался.

Местечко было неплохое. Достаточно простора для прицельной стрельбы, и многочисленные старые следы говорили о том, что здесь часто проходят медведи. Откровенно говоря, я вовсе не полагался на свое умение пользоваться копьем. Поэтому я прислонил его к кустам, взял в руки ружье и стал напряженно вслушиваться. Буквально в ту же секунду поднялся шум за гребешком. Собаки выли и злобно лаяли, один раз донеслось отчетливое «о-уфф», по которому сразу узнаешь рассвирепевшего медведя. Я замер в ожидании, держа палец на предохранителе.

Какое волнение сравнится с тем, которое испытываешь, когда собаки подняли опасного зверя и ты знаешь, что он вот-вот покажется на расстоянии выстрела?! Удивительно сильное чувство, граничащее с физической болью… Несколько таких секунд легко перевешивают впечатления недели будней.

Что-то зашевелилось в кустах справа. И показался медведь, совсем небольшой медведь, преследуемый по пятам старой пегой сучкой Дьидьондрой. Медведя от меня частично заслоняло толстое дерево, корявый горный дуб. Подойдя к дубу, мишка вцепился когтями в ствол и полез вверх. Меня отделяло от него шагов двадцать. Вскарабкавшись на толстый сук в четырех-пяти метрах над землей, медведь остановился и поглядел вниз на собаку. Дьидьондра стояла на задних лапах, опираясь о ствол передними, и лай ее перешел в визгливое, тонкое тявканье.

Серебристая мушка сверкнула на фоне косматой лопатки. И грянул выстрел. Тяжелая пуля заставила медведя покачнуться. Несколько секунд он еще цеплялся за ствол, стараясь дотянуться зубами до того места, куда вошла пуля. Еще выстрел. Второй ствол был заряжен волчьей картечью. Большой бесформенный ком сорвался с дерева и покатился вниз между камнями и кустами, где я потерял его из виду.

Шум, гам, лай собаки, медвежий рев… Вдруг между скалами появилось что-то большое, черное и ринулось по склону прямо на меня, будто сорвавшаяся глыба. Мощная туша, вздыбленная черная шерсть, разинутая пасть с желтыми клыками… Я едва успел отбросить ненужное ружье, схватить копье и принять боевую позу: колени полусогнуты, упор на переднюю ступню. Правая рука у самого наконечника, левая — на древке сзади. Медведь бросился на меня. Я выставил копье вперед. Столкновение было ужасающим, я упал на колени. Тяжеленный зверь теснил меня назад. Железо глубоко вонзилось ему в грудь. Ко мне тянулись когти, меньше метра отделяло меня от ревущей

пасти. Коленями, ступнями я искал опору среди корней и камней. И все время думал об одном: я должен его удержать, не то эти когти и зубы дотянутся до меня. Сильнейший удар лапой по копью, громкий треск. На секунду напор ослаб, и я встал, судорожно сжимая руками древко. К моему удивлению, оно легко подалось назад. Наконечник обломился и остался в ране, у меня в руках было только тяжелое пальмовое древко. Зверь поднялся на дыбы, норовя поймать меня передними лапами и подтащить поближе к своим зубам. Когти задели мое бедро, появились длинные кровавые царапины. Желтые клыки сверкали совсем близко. Я отскочил и ударил медведя по голове древком. Оно еще рае переломилось, но медведь опустился на все четыре лапы. Еще удар — я попал ему по носу и услышал рев, в котором слились ярость и боль. Снова замахиваюсь… Но на этот раз широкая лапа отвела удар, я потерял равновесие и еле успел увернуться, когда медведь рванулся вперед, чтобы подмять меня. Он промахнулся чуть-чуть, острые когти вырвали клок из моей набедренной повязки.

Дальше все происходило, как во сне. Отскакиваю в сторону, бью палкой, отскакиваю. Пот заливает глаза. Прыгаю за дерево, получаю несколько секунд передышки. И опять он наседает на меня, слышу запах кровавой пены на оскаленных зубах. Снова нас разделяет дерево. Мой следующий удар приходится в основание черепа. Медведь падает. Древко в моих руках стало еще короче. Я опять укрыт за деревом. Медведь встал, идет на меня, но уже медленнее. Из ноздрей и пасти течет светлая пенистая кровь. Бью его по голове. Он ловит зубами мою правую ногу, я бросаюсь в сторону, клыки царапают мне лодыжку, но соскальзывают. Медведь на минуту остановился. Собрав последние силы, ударяю его древком поперек носа, пониже глаз. Древко разлетается в Щепки. Швыряю обломок на землю, прячусь за дерево и стою, Держа наготове финку.

Где собаки? Куда запропастились индейцы? Сейчас медведь снова пойдет в атаку — в последнюю атаку… Но медведь не шел. Он стоял на месте, понурив голову. Вдруг по медвежьему телу пробежала судорога. Послышался звук, похожий на вздох, медведь опустился на землю и замер.

Я тяжело сел на поваленное дерево. Меня била дрожь, зубы выстукивали чечетку. Правое колено было разодрано, на бедре — царапины, чуть выше лодыжки — глубокий след от клыков. Я был в поту и в крови, у меня все расплывалось перед глазами, скалы и камни словно плясали в красном тумане. Неожиданно рядом со мной возник Хаи-намби. А вон и Эй-ке-ауври-зама прыгает с камня на камень, спускаясь по склону. Около мертвого медведя

он остановился, достал нож и о невозмутимым видом начал снимать косматую шкуру.

— Хорошо, брат, — сказал Хаи-намби. — Но почему ты не упер копье другим концом в землю? Так гораздо легче удержать медведя.

Трезвое замечание опытного охотника помогло мне выйти из транса. Красный туман постепенно рассеялся. Я встал и помог Эйке-ауври-зама снять шкуру с медведя. Эта шкура была мне дороже всех моих прежних охотничьих трофеев. Заодно я понял, почему зверь не сопротивлялся дольше. Копье распороло ему легкое. Если бы не это обстоятельство, исход мог быть другим. Мне попросту повезло. Но где огнестрельные раны? Не мог же я на таком близком расстоянии дважды промахнуться, тем более по неподвижной мишени?..

Когда шкура была снята и грудная клетка зверя вскрыта, Эйке-ауври-зама обмакнул палец в кровь из медвежьего сердца и начертил у меня на лице и груди поперечные полосы. И вот наконец вся туша разделана. Хаи-намби вытер руки листьями:

— Пошли свежевать второго медведя!

Боюсь, у меня в эту минуту был не очень умный вид.

— Какого второго медведя, брат?

— Медведицу, ты ведь сам ее застрелил.

Зверь, которого мы только что освежевали, был старым самцом. Я поднял ружье, перезарядил его и пошел к дубу. Ну и ну! Между большими камнями, сраженная наповал пулей и дюжиной картечин, поразивших область сердца, лежала медведица. На ее черной косматой спине, скалясь, будто дух из преисподней, сидел маленький Бийон. Он охранял добычу. Две другие собаки ждали в сторонке с голодным и недовольным видом.

Хаи-намби улыбнулся.

— Теперь мой брат видит, почему я всегда даю этому песику лакомые куски и ласкаю его, — сказал он. — Это не какая-нибудь паршивая, вороватая лунная тварь, как вон те две, в нем живет дух мужчины.

Хаи-намби погладил своего четвероногого друга и дал ему кусок мяса. Только после этого Бийон оставил убитого зверя и начал есть.

Не буду скрывать, я был очень доволен, несмотря на боль и усталость. Не всякий день с утра удается сразить двух медведей, к тому же одного из них — копьем. Что бы ни случилось дальше, сегодня я славно потрудился. Вскоре и вторая туша была разделана. Но индейцы не раскрасили меня кровью медведицы. Этой чести охотник удостаивается только в том случае, если зверь

убит холодным оружием.

Приключение кончилось, предстояла тяжелая работа — тащить мясо домой. Неотъемлемая, малоромантическая часть охоты в дебрях. Мы направились в стойбище Хаи-намби, нагрузив на себя обе шкуры, черепа и не меньше тридцати килограммов мяса. И это было далеко не все. В медведице, по-моему, было килограммов девяносто — сто, в медведе — около ста сорока. Я еще не встречал такого крупного андского медведя, а уж мне их довелось и видеть, и взвешивать немало.

В справочной литературе этот вид обычно называют очковым медведем и пишут, что он черный с белыми метинами на морде и вокруг глаз. Мне попадались такие медведи на Восточной Кордильере, но ни у одного из убитых и вообще виденных мной в Северной Колумбии светлых метин не было. Вероятно, здешние мишки со сплошь черной мордой представляют цветовую фазу обычного Tremarctos ornatus; для медведя характерны довольно широкие внутривидовые вариации.

Хорошо, что обратно почти всю дорогу идти под гору! То, что нам было не унести, мы подвесили на лианах и накрыли большими листьями, чтобы грифы не добрались. А затем двинулись в путь. Пошатываясь от тяжелой ноши, мы затрусили вниз по склону. Примерно через час нам встретились четыре молодых индейца, которые выслеживали стадо пекари. Хаи-намби попросил их помочь перенести мясо, и они охотно согласились. Трое пошли туда, где были убиты медведи, четвертый помчался, как спугнутый олень, звать еще соплеменников. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы пропало столько мяса! Это был бы великий грех, и Па-ку-не может разгневаться, а тогда не миновать неприятностей. Судя по наставлениям, которые получил гонец, нам в этот день еще что-то предстояло. Я понял далеко не все, но уловил имя знахаря.

Мы продолжали путь с нашим грузом и часа через два вышли на прошлогоднюю расчистку в полутора километрах от стойбища Хаи-намби. Здесь нас ждал старик Мари-гама. Мы положили на землю свои ноши и оружие и подошли к нему поздороваться. Я еще никогда не видел старого знахаря в таком облачении. На нем была совсем новая красная набедренная повязка и синий плащ, а свисающий до колен конец его андеа из тонкого белого луба украшали магические узоры. Лоб Мари-гамы охватывала широкая бисерная лента, и разноцветные бусинки образовали кружевной орнамент. Такое же украшение прикрывало шею спереди. На грудь опускались ожерелья из когтей медведя и ягуара, а также из шейных позвонков пака, отгоняющих духов болезней. Не только лицо старика, но и все видимые части тела покрывали

хитроумные символические узоры, нарисованные черной краской.

В одной руке знахарь держал черную пальмовую трость около метра длиной. Ее рукоятка изображала стилизованную человеческую фигуру. В другой руке у него были три стрелы для охоты на птиц с духовыми трубками. Они чуть потолще спички, длиной около тридцати сантиметров, острые, как игла. На них не делают надреза в двух-трех сантиметрах от острия, как на стрелах для крупного зверя, и они не бывают отравленными.

Хаи-намби долго что-то рассказывал отцу. Говорил он медленно и так тихо, что я не разобрал ни слова. Старик вполголоса отвечал ему. Наконец Хаи-намби кивнул и подошел ко мне.

— Мой брат, — сказал он, — ты убил медведя копьем, это хорошо. Теперь мы, мужчины, хотим, чтобы ты стал одним из нас, стал домико, членом рода «хепа» — удава, большого удава дама дрома, который жил еще до того, как появилось Солнце. Но сперва мы должны узнать, можешь ли ты выносить боль. Так нужно, в братство принимаются только настоящие мужчины, из которых могут выйти хаи-бана и вожди.

Думаю, в ту минуту я согласился бы на все, что угодно. Конечно, я знал, что никогда не сравнюсь выдержкой с этими смуглыми лесными стоиками, которые только посмеивались, когда я не очень умело врачевал их тела, орудуя ланцетом и хирургической иглой. Но теперь, когда мне так фантастически повезло при первом испытании, было бы просто обидно отступать. Вам часто удавалось поразить медведя копьем?..

Я понимал, что мой друг Хаи-намби заранее все тщательно подготовил, и был ему чрезвычайно благодарен. Поразмыслив минуту, я ответил:

— Хорошо, мой брат. Я горжусь, что удостоен такой чести. Только позволь мне сперва пойти к ручью и умыться. Мужчина должен быть чист, когда ему предстоит встреча с хаи-бана биа.

Хаи-намби молча кивнул. Похоже было, что мой ответ пришелся ему по душе. Я пошел к ручью, смыл с себя пот и кровь, незаметно проглотил таблетку аспирина, запил ее водой и вернулся к остальным. Хаи-намби предложил мне сесть на поваленное дерево и стал у меня за правым плечом; слева занял место Эй-ке-ауври-зама. Знахарь засунул трость и две стрелы себе за пояс, крепко сжал мне пальцами правую руку и третьей стрелой пронзил ее насквозь на ладонь ниже локтя. Тут же он выдернул стрелу и нацарапал ею на коже вокруг ранки изображение пятнистого хвоста удава. Потом опустил мою руку мне на колено и тщательно обернул окровавленную стрелу куском чистой лубяной материи.

Я сидел, стиснув зубы, и силился делать вид, будто все это меня не касается. Попытался разобрать по лицу знахаря, доволен он или нет, да разве поймешь. Тем временем старик вытащил из-за пояса вторую стрелу, взял меня за левую руку и повторил операцию. Он действовал со знанием дела — стрела проткнула мышцу сантиметрах в полутора от артерии. И эту руку, естественно, украсило изображение змеиного хвоста. Вторую стрелу знахарь тоже обернул в клочок лубяной материи. После этого он взял третью стрелу и левой рукой нацелил ее мне в грудь, а правой поставил трость между моими коленями так, что голова фигурки, вырезанная на рукояти, оказалась вровень с моим подбородком. В следующую секунду левая рука старика метнулась вперед, словно голова атакующей змеи. Я смотрел в воздух мимо него, изо всех сил стараясь выглядеть невозмутимо, а главное, не моргать. Однако на этот раз стрела не вонзилась в меня. Она поразила фигурку на трости и переломилась. Старик протянул мне сломанную стрелу и сказал:

— Теперь, мой сын, ты один из нас. Хаи-намби — твой брат по тотему. Ты принадлежишь к роду домико, и твоим знаком будет хепа.

«Хепа» — название удава на языке энгвера. Отныне великая змея стала моим духом-хранителем. Удар стрелой по человеческой фигурке (после я рассмотрел, что она покрыта чешуей) был магическим действием, посвящением в тотем. Одновременно он служил как бы знаком союза между мной и моим новым родом. Сломанная стрела — очевидный символ мира и дружбы, известный многим народам. Что до духа-хранителя, то на мою долю достался далеко не самый худший. Если разобраться, удав-констриктор — безобидное существо. Конечно, он способен стащить у вас курицу, а очень крупный может и поросенка проглотить. Но фантастические россказни о нападении удава на человека могут только вызвать усмешку у того, кто знает, что представители этого вида лишь очень редко достигают в длину больше четырех с половиной метров. Правда, на Тринидаде отмечен экземпляр в пять с половиной метров, однако его надо считать аномалией. Даже четырехметровые удавы-констрикторы редки. К тому же они совсем не агрессивны в отличие, скажем, от куда более крупной и подвижной анаконды. Надо долго и упорно дразнить удава, чтобы он укусил вас.

После ритуала посвящения, оставив ноши на земле — их подберут другие, — мы направились к хижине Хаи-намби. В ту самую минуту, когда мы пересекали крутой овраг, спускающийся к реке, над нами пролетел белогрудый орел Spizaethus[38]. Я показал на него и спросил, как он называется на языке индейцев.

— Хиви, брат, — ответил Хаи-намби. — Эта птица — добрый знак. Теперь ты До-хиви, потому что это первое животное, на которое ты показал после того, как стал одним из нас. Он такой же светлый, как ты, и далеко видит. До-хиви — «речной орел» — так тебя будут называть в нашем народе. Но сам этого имени не произноси, если хоть немного сомневаешься в человеке, с которым говоришь.

Так у меня появилось индейское имя и свой личный символ. Кстати (тогда я этого не знал), мне сразу присвоили имя взрослого мужчины, который прошел посвящение. А вообще энгвера меняет имя до двух раз. Первое, детское имя, иногда шутливое, иногда ласкательное, присваивается часто еще в младенчестве. Когда подходит переломный возраст, он получает «мужское» имя, которое обычно и сохраняет всю жизнь. Если же энгвера, став постарше, участвует в ритуальной охоте с последующим посвящением, ему дают третье имя, но оно обязательно только для будущих знахарей. Во всяком случае, так было в те годы. Теперь, тридцать лет спустя, возможно, пришел конец и ритуальной охоте, и хаи-бана биа.

…Пройдя последний лесок, мы вышли на просторную расчистку, но не сделали и десяти шагов, как из хижины высыпали женщины и дети и направились к огородам за ручьем. Мы остановились и подождали, пока они не исчезли.

В хижине оставались три пожилых индейца, и они торжественно приветствовали нас, когда мы поднялись по приступке. Им достаточно было увидеть в моей руке сломанную стрелу, чтобы догадаться, что произошло. А скорее всего, все было тщательно подготовлено заранее. Старик Мари-гама подошел к очагу, сделал канавку среди горящих головешек и положил в нее оба сверточка с окровавленными стрелами. Потом взял у меня сломанную стрелу и сжег ее тоже. Когда осталась одна зола, он сгреб ее на большой лист, вынес и скрытно от всех закопал в землю. Младший из присутствующих мужчин принес дров и снова развел огонь. Мне предложили сесть на маленькую бальсовую колоду, которой резчик придал сходство с кайманом. Хаи-намби подал мне новую андеа и новую набедренную повязку, и, когда я переоделся индейцы начали меня раскрашивать. Ритуал требовал, чтобы на мне были изображены все присвоенные мне символы: знак змеи, знак мира, грим на губах — знак женатого мужчины, наконец, мой личный знак. Мари-гама сам нарисовал мне на веках знак тотема. В заключение у меня на груди, на бедрах и на ногах шаблоном из бедреной кости тапира отпечатали черные узоры рода домико. Руки, запястья и лодыжки были обведены двойной черной линией с красными пятнышками,

в просвете — символ «хепа», удава. Как только раскраска была закончена — она отняла немало времени, к тому же охотники тоже перекрашивались, — два индейца принесли огромный глиняный кувшин, литров на тридцать — сорок. Он был наполнен итуа — брагой из молотой кукурузы.

Итуа — праздничный напиток лесных индейцев, играющий важную роль во многих ритуалах; в частности, он соответствует трубке мира североамериканских краснокожих. У некоторых племен принято, чтобы добиться брожения, пережевывать кукурузу, маниок или другой продукт, содержащий крахмал, и выплевывать кашицу в глиняный сосуд, где она потом и доходит. Энгвера для брожения добавляют в свежую смесь немного крепкой старой итуа. И они вовсе не употребляют маниок, предпочитая спелые бананы, ананас или сок сахарного тростника, но чаще всего мягкую кукурузу. Для ритуальной итуа выращивают особые виды кукурузы.

Хаи-намби наполнил большую деревянную чашу и поднес своему отцу, тот выпил брагу и вернул ему сосуд. Следующая порция была подана сидевшему рядом со мной До-би-га-ри, старшему зятю Хаи-намби. До-би-га-ри, естественно, был не «удав», а «зимородок»: «удав» не может жениться на женщине своего тотема. Он и несколько «коршунов» не появлялись, пока шла раскраска, они вошли в хижину только после завершения ритуала.

До-би-га-ри учтиво предложил мне разделить с ним чашу и пить первым. Я сделал глоток. Не люблю я итуа, но отказаться не мог. Тем самым я чудовищно оскорбил бы всех присутствующих, и прежде всего моего нового брата, который все устроил и угощал нас. Вообще, отказ пить или есть у энгвера почти равносилен объявлению войны. Поэтому я сделал вид, что пью с большим удовольствием, произнес одобрительное «биа кируа» и передал чашу До-би-га-ри. Церемониал продолжался, пока каждый не выпил примерно с литр этой гадости. Затем кувшин накрыли высушенным на дыму листом и отставили в сторону.

Теперь в хижину вошли женщины и дети. Хозяйки тотчас принялись стряпать. Они принесли с огородов маниок, батат и несколько банановых гроздей, к тому же с самого утра женщины мололи кукурузу для бека — своего рода булочек или лепешек, составляющих один из главных продуктов питания энгвера. Два молодых индейца растянули медвежьи шкуры для сушки под потолком. Еда была почти готова, когда вернулись мужчины, ходившие за мясом. У них на спине были огромные ноши, однако и они всего не унесли, другие взяли оставшееся и должны были вот-вот подойти.

Со всех сторон сходились на праздник индейцы — мужчины, женщины, дети. Лесной телеграф работал безупречно. К началу великого пира в хижине собралось человек сорок — пятьдесят, да и после продолжали прибывать гости. Места хватало, еды тоже, и у всех был довольный и радостный вид.

Жена Хаи-намби наполнила две больших деревянных миски вареным и жареным мясом, сырыми и печеными бананами, вареным маниоком, кукурузными лепешками, жареной и копченой рыбой — достаточно, чтобы накормить дюжину хороших едоков. Одну миску она поставила перед знахарем, другую передо мной и дала нам сверх того по чашке мясного бульона и деревянные ложки. После этого она раздала еду остальным. Мисок не хватало, поэтому угощение клали на большие листья бихао, которые ополоснули в ручье возле хижины и подержали над пламенем.

Каждая семья окружила свою отдельную зеленую «тарелку», лишь несколько холостяков сидели особняком в углу. Индейцы ели медленно, с достоинством, блюдя изысканные манеры: самые заманчивые куски сперва предлагались соседу. Все тщательно мыли руки перед едой и после еды; со мной они были так же вежливы, как друг с другом. Поесть они любили и могли поглотить поразительное количество пищи, вовсе не проявляя при этом жадности.

Я не представляю себе более гостеприимных людей, чем энгвера. Они всегда готовы поделиться последним бананом, последней кукурузной лепешкой с другом. Или с чужаком. Если вы в компании предложите индейцу сигару или сигарету, он зажжет ее, быстро прикинет, сколько человек присутствует, выкурит свою долю и передаст сигарету соседу, который поступит так же. Нет страшнее позора для индейца, чем если о нем скажут, что он «идьеа неко абарбоа» (ест один), иначе говоря, не делится с тем, кто в это время оказался поблизости. Правда, на сей раз даже шесть десятков индейцев не смогли всего съесть, хотя надо признать, что они старались изо всех сил.

Я ожидал, что после еды все лягут и будут спать, словно сытые удавы. Ничего подобного. Мужчины закурили самокрутки продолжали пить итуа. Когда чаша обошла круг, Хаи-намби встал и что-то сказал. Старшие поддержали его одобрительными возгласами. Он снял пояс с мачете и ножом, принес свое копье, ружье, духовую трубку, колчан, лук и сложил все оружие под самой высокой из подвешенных к потолку платформ. Один за другим остальные индейцы последовали его примеру. Это была удивительная коллекция: духовые трубки, старые ржавые громобои двадцать восьмого калибра, копья, луки для охоты на рыбу и

саженные стрелы с железным наконечником, остроги, мачете, ножи, топорики…

После того как все разоружились, племянник Хаи-намби Сандьяма залез на платформу и стал принимать оружие, которое подавал ему снизу мой брат. Я подошел к Хаи-намби, отдал ему свое ружье, нож и мачете и спросил, в чем смысл происходящего.

— Мы всегда так делаем, перед тем как начинать пить всерьез, — объяснил он. — А то бывает, молодые охотники выпьют лишнего и затевают ссору — тут уж лучше, чтобы оружие лежало подальше. Голыми руками они друг друга не убьют, только поборются да подергают один другого за волосы. У нас исстари заведено убирать оружие, когда садишься пить итуа. Хороший обычай, и в моем доме пусть так будет. Ты, мой старший брат, можешь оставить при себе свое оружие, ведь ты ни с кем не повздоришь.

Конечно, я настоял на том, чтобы и мое оружие забрали. Раз я стал индейцем, на меня распространяются те же правила, что и на всех остальных. Про себя я подумал, что, если против ожидания дойдет до потасовки, у меня больше шансов отбиться кулаками, чем ножом или мачете. Индейцы мастерски владеют холодным оружием, а вот на кулаках драться не привычны, даже как будто не представляют себе, что это возможно. Вообще энгвера дрались очень редко, но уж если схватывались между собой, то всегда с оружием в руках и с твердым намерением убить противника. Если индеец убьет другого индейца, священный долг семьи убитого осуществить кровную месть, но она направлена только на самого убийцу. Иной раз на почве мести возникает межродовая вражда, которой не видно конца. Понятие о прощении и примирении индейцам почти неведомо, и в ненависти они заходят так же далеко, как и в дружбе.

Когда все оружие было убрано и Са-ндьяме поручили сидеть на платформе и охранять его (следовательно, ему в этот вечер больше не разрешалось пить итуа), мужчины сели в широкий круг поодаль от очага. Это их место в свайной хижине, тогда как женщины и дети жмутся к огню. На дворе уже стемнело, но в хижине было достаточно светло от очага, нескольких самодельных масляных светильников и полудюжины свечей, представлявших мой маленький вклад в празднество.

Вдруг на опушке леса замелькали факелы. Пять-шесть молодых парней принесли оставшиеся куски медвежатины. Их накормили, потом они сели с нами в круг, около выхода, как полагается молодым и неопытным. Женщины принялись разрезать мясо на тонкие полосы, чтобы сушить его и коптить над очагом. Засаливать мясо у них не принято, соль здесь дорогой

товар, ее нельзя разбазаривать. Пищу обычно варят без соли, и только в торжественных случаях к еде подается щепотка. Кувшинище с итуа поставили рядом с Хаи-намби, и постепенно завязалась беседа.

Поначалу мужчины вели себя очень сдержанно, даже церемонно. Говорили глухо, негромко, почти не шевеля губами, друг друга ни в коем случае не перебивали. Дождутся, пока говорящий закончит свою мысль, молча обдумают сказанное, потом, когда подойдет очередь, выскажутся сами. Чаша ходила по кругу, пока кувшин не был опустошен. Тогда двое молодых мужчин принесли другой, почти такой же огромный кувшин и откупорили его.

Волей-неволей приходилось выпивать глоток, когда чашу вручали мне, или хотя бы делать вид, что я пью. Я жульничал, насколько смелость позволяла. Когда появился второй кувшин, я, должно быть подсознательно, скроил кислую рожу. Во всяком случае, поглядев на Хаи-намби, я заметил его вопросительный взгляд. Едва заметно кивнув, он сделал знак своей жене. Она улыбнулась и принесла ему большую чашу с выжженным узором. Хаи-намби встал и протянул чашу мне. Она была полна почти до краев, но не итуа, а чем-то другим.

— Мой брат, — сказал он громко, чтобы все слышали, — по справедливости, ты сегодня должен получить подарок. Поэтому я дарю тебе эту чашу. Никто, кроме тебя, не должен пить из нее, и, как только она опустеет, женщины этого дома снова наполнят ее. Ты мой старший брат До-хиви.

Кольцо смуглых фигур отозвалось бормотанием. Все явно одобряли учтивую речь Хаи-намби. Я от души поблагодарил его и поднес чашу к губам. В ней был свежий кофе! Забота и такт Хаи-намби выручили меня.

Индейцы пили медленно, но прилежно, и в конце концов кукурузное пиво подействовало. Нет, они не утратили своего достоинства, просто стали менее чопорными. Несколько человек взяли в руки музыкальные инструменты. Три барабана: один — деревянный, обтянутый кожей дикой свиньи и заостренный внизу, другой — из обожженной глины, с оленьей кожей; на третьем, совсем маленьком, был натянут желудок крокодила. В остальном оркестр состоял из музыкального лука с одной струной, фаллической флейты и старой, сильно помятой, астматической губной гармоники.

И вот зазвучала музыка. Мне она показалась довольно монотонной, но я в этой области не знаток. Во всяком случае, для танца она вполне годилась. Несколько охотников помоложе встали и начали танцевать анкосо. «Анкосо» означает «гриф», а

точнее, речь идет о черном грифе урубу Coragyps atratus[39].

Была исполнена настоящая пантомима. Индейцы изображали, как грифы парят в поднебесье, растопырив маховые перья, как снижаются широкими кругами, обнаружив что-то, как приземляются и неуклюже бегут по земле с расправленными крыльями, чтобы наконец остановиться и рассмотреть поближе добычу. Танцоры ходили на цыпочках, потом на полной ступне, потом стали все ниже и ниже приседать. Их руки в точности передавали движение крыльев черного грифа. Танцуя, они пели фальцетом:

— Вождь, охотник До-хиви убил двух медведей. Много мяса! А теперь слетаются грифы.

Слова песни меняются в зависимости от имени охотника, а также рода и числа убитых им животных. Танец анкосо исполняют только в тех случаях, когда речь идет о крупной добыче — тапире, медведе, пекари. Женщины в танце грифа не участвовали. Это танец охотников. Есть другие танцы, в которых женщины участвуют, есть и чисто женские.

Мои смуглые друзья продолжали танцевать, бить в барабаны и пить итуа. Трепетный отсвет пламени ложился на гибкие, стройные тела, на раскрашенные лица, бесхитростные украшения. Люди и бархатно-черная ночь со звездами на небе и светлячками на опушке леса, вечный хор цикад, далекий вой пумы в горах — все сплелось воедино в дикой, своеобразной гармонии. И я почувствовал, что случилось долгожданное: я влился в новый мир, в корне отличный от моего собственного, но этот новый, самобытный мир уже становится и моим.

На дворе стоял сплошной треск разгрызаемых костей. Каждому псу в округе досталось по большой кости, и они усердно расправлялись с угощением, очутившись на седьмом небе индейских псов. Им некогда даже было рычать друг на друга. Три собаки, которые участвовали в охоте, лежали в хижине возле приступки. Им достались внутренности, мясные обрезки и кровь, и теперь они походили на надутые шары — того и гляди взлетят!

Я все сильнее ощущал страшную усталость. Охота и переход с тяжелой ношей по крутым тропам не прошли мне даром. Проколотые стрелами руки словно налились свинцом, пострадавшая от медвежьих когтей нога тоже болела. Конечно, я улучил минуту и незаметно промыл ранки дезинфицирующим раствором, но боль от этого не утихла. В голове упорно вертелась мысль о том, как это будет некстати, если у меня откроется заражение крови, ведь до ближайшего врача неделя ходу. Я готов был лечь, где попало, только бы забыться сном на час-другой. В это время подошел старик Мари-гама, сел рядом со мной и

спросил, не болят ли руки. Услышав утвердительный ответ, он предложил испробовать заживляющую смолу.

Из маленького мешочка знахарь достал несколько твердых черных комков, совсем не похожих на известные мне разновидности смолы. Взяв один комок пинцетом из пальмовых щепок, он подержал его над светильником, пока смола не расплавилась, и накапал мне жидкой смолой на ранки. Потом подсушил над огнем несколько зеленых листьев и прилепил их сверху той же смолой. Так полагается обрабатывать свежие, незагрязненные раны, объяснил Мари-гама. Листья все равно какие, только не от ядовитых растений. Обязательно зеленые, чистые и без ворсинок. Лучше всего — листья тохати, их полезно также жевать при сильной боли. Или когда нечего есть, чтобы заглушить голод. (Речь шла о листьях кустарника, напоминающего коку, вероятно, Erythroxylum novogranatense.) Но часто жевать тохати не стоит, предупредил старик, иначе без них уже не сможешь обходиться.

Он рассказал, что в лесу водится много разных пчел, есть «богатые» пчелы, есть «бедные». Смолу, которой он меня лечил, можно найти только в гнездах определенной черной пчелы. Она дает много меда, но очень уж злая.

— Старею я, — заключил Мари-гама. — У моих внуков уже свои дети пошли. Охотиться, ловить рыбу, рубить лес еще могу, но вот танцевать и пить итуа целую ночь, как молодые охотники, сил не хватает. Пожалуй, отдохну.

Он завернулся в свой плащ, лег на лубяную циновку и уснул, как дитя. Я выбрал уголок потемнее и стал искать удобное положение на пальмовых жердях для своего измученного тела. Слипающимися глазами я увидел, как ко мне подошли два молодых индейца и накрыли меня своими плащами.

Глядя в ночь, окутавшую дебри, я думал о том, что у меня, кажется, появился временный дом, из которого мне пока не хочется уходить. Завтра напишу письмо. Индеец отнесет его в деревню за горами. Дальше оно пропутешествует три-четыре дня в сумке конного почтальона до Ярумала, где начинается шоссе. Оттуда автобус доставит его в Медельин на Центральной Кордильере, а потом оно полетит на самолете через горы, саванну и море, пока не попадет в руки женщины на другом конце земного шара.

Захочет ли она приехать сюда и разделить со мной общество вольных индейцев в нетронутых тропических лесах? Могу ли я надеяться, что хотя бы на несколько месяцев перестану чувствовать себя вечным чужаком? Как и все, что составляет подлинную суть жизни, это в конечном счете зависело от

женщины. От живой настоящей женщины. Или от символической Па-ку-не. Иногда они сливаются воедино — на один день, или на одну ночь, или хотя бы на те секунды, что реку пересекает тень коршуна. И уж если это случилось, вы не останетесь тем, чем были прежде…

# Строим плот

Светает. Звучит резкий трубный голос пенелопы. Над лесом пролетают крикливые амазонские попугаи, у реки перекликаются чачалаки. Маленький токе-токе (так индейцы называют манакина Гульда[40]) исполняет в зарослях свою коротенькую, словно незаконченную, песенку. Как будто он забыл полстрофы и вставляет невпопад какие-то случайные трели.

Четыре странника проснулись задолго до рассвета. Утреннее купание уже состоялось, без него энгвера не чувствует себя человеком. Сейчас все четверо сидят у костра, едят копченую дораду и пьют кофе. После завтрака двое молодых индейцев продолжают заготавливать бревна. Для такого плота, какой попросил связать До-хиви, их нужно немало. Третий идет за лианами к чибоге.

Белый берет дробовик и шагает в лес поискать что-нибудь подходящее для голодных желудков. Это его часть работы — добывать мясо.

Обычная путевая провизия, поджаренная молотая кукуруза, годится, когда надо пройти небольшой отрезок с умеренной ношей или когда отправляешься охотиться, ловить рыбу на день-другой. В крайнем случае, если не требуется большого расхода сил, можно прожить на одной кукурузе целую неделю. Но при большой нагрузке (например, когда надо тащить тяжелую ношу, или рубить лес, или строить лодку, вязать плот) необходима пища посытнее, чтобы не донимало чувство голода. Да и настроение лучше, когда плотно поешь.

Старик направляется в ту сторону, откуда недавно донесся крик пенелопы. Две-три хохлатых пенелопы (по-научному Penelope cristata) и несколько горстей риса — приличный ужин для четверки голодных мужчин.

Он тихо крадется через лес. Время от времени останавливается, чтобы вслушаться и посмотреть — вправо, влево, вверх, где ветви переплелись в сплошной свод. Обычно самое трудное при охоте в дремучем лесу — обнаружить дичь. А уж когда знаешь, где она находится, остальное всецело зависит от терпения.

Чу, кажется, это пава зовет? Негромкий, раскатистый крик — не сигнал побудки и тревоги, а переливчатый нежный свист, обращенный только к своей семье. Охотник усмехается про себя. Не будь пава такими болтливыми, вряд ли было бы возможно отыскать их в безбрежном хаосе древесных крон. Да и сейчас это будет не просто, тем более слух уже не тот, что прежде.

Старик поднимает ногу, чтобы перешагнуть через поваленный ствол, да так и застывает, держа ногу на весу. За стволом лежит на земле змея, серая змея с черным узором на спине. Голова, как висячий замок, курносая морда. Раскраска превосходно сочетается с устилающими лесную почву сухими листьями и сучками. Это чистая случайность, что он заметил неподвижную гадину, изготовившуюся для атаки. Фер-де-ланс, лабария[41], мапана экуис — у нее много прозвищ, и ни одного ласкательного. Медленно, осторожно-осторожно охотник ставит поднятую ногу обратно. В следующую секунду длинный узкий клинок его мачете выскакивает из потрепанных ножен и описывает в воздухе сверкающий полукруг. Тупая сторона клинка поражает тело змеи в дециметре от головы, ломая ей позвоночник. И еще один удар, в самую голову: ядовитую змею лучше добивать наверняка.

Острием мачете охотник заталкивает судорожно извивающееся длинное тело под лежащее дерево, чтобы кто-нибудь не наступил невзначай на ядовитые зубы. Затем он медленно идет дальше. Когда у тебя за плечами шесть десятков лет, добрая треть которых проведена в сельве и диких горах, не мешает и поберечь то, что осталось от сердца и легких. Для охоты в лесу пока еще хватает, но это ненадолго. Что будет потом?

Впереди, совсем близко звучит крик пава. Охотник замирает на месте. Его взгляд пристально изучает ветку за веткой, крону за кроной. Что это красное там светится? Какой-нибудь эпифит из бромелиевых? Нет, яркое пятно шевельнулось… Это кожная складка на шее пава. Смотри-ка, в нескольких метрах выше, наполовину закрытая зеленой веткой еще одна птица. А вот и третья не столько перелетела, сколько перескочила на соседнее дерево. Полчаса спустя все три висят на петле из тонкой лианы. Охотник продолжает путь. На узкую звериную тропку перед ним выбегает тинаму, но он нарочно не замечает его: трех пенелоп четверым довольно.

У прозрачного лесного ручья он останавливается, ощипывает и потрошит птиц, смывает кровь с рук и присаживается на бревне, чтобы выкурить сигарету. Как приятно отдохнуть немного. Под деревьями, рядом с быстрым потоком, который скачет по камням с веселой песенкой, свежий воздух, прохладная тень. Охотник сипит так смирно, что ящерицы и пичуги покидают свои укрытия, чтобы взглянуть на него.

Солнце уже перевалило через зенит, когда он наконец встает и не спеша идет обратно в лагерь. Проходя место, где состоялась встреча с ядовитой змеей, он покачивает головой. Это могло и плохо кончиться. Если бы зубы лабарии вонзились в его ногу,

пришлось бы ставить крест на ближайших планах. А то и на его могиле… Невезучая правая нога, всегда-то ей достается. Дважды ее кусали ядовитые змеи. Где-то в кости до сих пор сидит обломок шипа хвостокола. Однажды в ней завелись нуче — личинки мухи Dermatobia; они совсем малюсенькими забиваются в поры, но постепенно разрастаются, становясь толщиной с карандаш, длиной с большой палец. Или вот еще памятка от медведя.

Длинное серое тело змеи облепили черные муравьи. Бродячие муравьи Eciton, слепые воины, которые сплоченными рядами маршируют через лес. Только вода или огонь могут их остановить, все живое спасается от них бегством, литература полна кошмарных историй о набегах этих разбойников. А ведь чтобы спастись от них, достаточно сделать шаг-другой в сторону и пропустить колонну мимо. Так и с большинством других опасностей сельвы. Но не со всеми.

Муравьи поедают змею. Не убей он ее, они бы сейчас ели что-то другое. И однако есть люди, порицающие убийство змей. Эти люди ни разу не видели, как женщина или ребенок умирают в страшных муках от змеиного укуса. Они не способны мыслить биологически и подходят с меркой горожанина к жизни в диком крае…

Вот и лагерь. Сын Выдры поднимает взгляд от своей работы — он скручивает веревки из луба — и улыбается.

— Мзезе туей бедусиа? — спрашивает он. («Мой отец убил пава?»)

— Мбеа туей, — отвечает старик. («Три пава».)

Он разрезает птиц на подходящие куски и кладет их в котелок. Потом сидит и следит за котелком, а из гущи леса выползает вечерняя прохлада, и опять птица соледад кричит свое извечное:

— Па-ку-не! Па-ку-не!

Старый охотник грезит о давних лесных ночах и о Па-ку-не.

# Лесные ночи

Высоко в небе над рекой висит луна. Полная луна, педеко дрома кируа — «та, которая пишет волшебными красками». Она расцвечивает перекаты пятнами серебристой пены, перебрасывает золотые мосты через глубокие тихие плесы. Река негромко поет. Журчит, воркует, булькает. То словно задорный девичий смех звучит, то будто парень шепчет ласковые слова.

С двух сторон к реке подступают заросли — пятнистые, как шкура пантеры, какое-то колдовское, чарующее смешение оникса и серебра. Дальше, сколько хватает глаз, простирается высокий лес. Исполинская бесформенная масса темного малахитового цвета. Он сейчас представляется мне чудовищным существом, этаким спящим драконом. Или он вовсе и не спит? А неотступно следит за мной сотнями темно-зеленых глаз? Я ощущаю его дыхание. Оно нашептывает мне о лунной росе и влажной земле, о гниющих листьях и затаившихся цветах, о жизни, весь срок которой один лунный час, и о жизни, которая длится тысячи лет, о любви, рождении и смерти в нескончаемой шахматной партии, где мраморно-белый свет играет против теней цвета умбры.

С каждым вздохом запахи меняются, как меняются голоса, звучащие в кронах деревьев, в зарослях сурибио, в густой вязи лиан. Голоса сотен незримых существ. Они скрипят, и щебечут, и тренькают, сливаясь в трепетный металлический хор. То вдруг утонут в чьем-то крике, рычании, стоне, то опять всплывают на волнах тишины.

На узкой косе между Икаде-до и Данда-до стоит белая статуя. Но это не холодная мраморная белизна, а живая, теплая, с оттенком лунного золота. Она не шевелится — статуя, которая вовсе и не статуя, а моя жена. Глаза ее чутко ловят малейший всплеск или рябь около лески, заброшенной в заводь под большим камнем ниже переката. Глядя на нее, я забываю о собственной удочке.

Мы начали удить через час после того, как зашло солнце. Стоящая между нами корзина до половины наполнена широкими золотистыми дорадами, скоро можно идти домой и коптить наш улов. Но сейчас нам всего на свете дороже эти минуты под луной, у певучей реки.

Мы оба воспринимаем ночь, но воспринимаем по-разному. Ей больше говорит лунный свет, этот неправдоподобный тропический лунный свет, который вливается в хижину и не дает нам уснуть, который завораживает ординарные заросли и берега, превращая их в фантастический сказочный край, и населяющие

этот край немыслимые, неслыханные существа кажутся более живыми и реальными, чем наши собственные тела. Свет, в одно и то же время неудержимо манящий своим волшебством и наполняющий душу глубоким, таинственным страхом перед непонятным призывом, которому ты должен подчиниться.

Моей душе ближе мрак, черный бархатный мрак под пологом сельвы. Я почти физически ощущаю его, словно черную жидкость, которая расступается передо мной, когда я вхожу в нее, но тотчас смыкается позади меня, как смыкается вокруг пловца вода в черном омуте. И рука невольно сжимает крепче древко копья или рукоятку мачете. Где-то во мраке скользят лабария и бушмейстер[42], лежат в засаде ягуары, но для меня именно мрак — реальная субстанция, а все эти существа из плоти и крови — лишь своего рода эманации мрака. И однако он манит меня, манит так сильно, что хочется нырнуть в него, как ныряешь в воду.

Но я ощущаю и лунное волшебство, всем своим существом убеждаясь в справедливости древнего индейского сказания о лунном жале. В отличие от солнечного жала оно не убивает насмерть, зато отравляет нервы и жилы коварным ядом странного безумия. Па-ку-не — «живущая в лесу», «говорящая без голоса», называют индейцы лесную колдунью, которая завлекает охотника и обнимает его так, как не может обнять ни одна женщина, рожденная женщиной, и поедает его глаза и сердце. Индейцы рассказывают о ней только шепотом, только днем, только в хижине.

Теперь я знаю Па-ку-не. Если бы не дивная белая статуя, что стоит в нескольких шагах от меня, я сегодня ночью устремился бы в заросли искать Па-ку-не. Вдруг статуя становится женщиной. Рука зашевелилась, и вот уже все тело полно кипучей жизни, ноздри расширились, губы то приоткроются, то плотно сомкнутся. Она осторожно выбирает леску… отпустила несколько метров… снова тянет, уже быстрее. На крючке — рыба, большая рыба.

Я берусь за мачете в ту самую секунду, когда сверкающий полумесяц взлетает на метр над водой и падает в рое бледно-золотых брызг. Еще рывок — добыча на песке. Короткий, резкий удар тупой стороной мачете, и она застывает недвижимо. Это рубиа килограмма на четыре — лососевидная рыба длиной чуть не с руку, с темно-красными плавниками, невыразимо красивая. Так и кажется, что ее выковал Бенвенуто Челлини из серебра, меди и электрона на радость какому-нибудь князю эпохи Возрождения.

Пора кончать и идти домой, нашего улова хватит на

несколько дней, и не только нам, но и собакам, которые остались сторожить хижину. Забрасываю корзину на спину, и мы ныряем в бамбуковые заросли. Здесь нужен фонарик, чтобы не оставлять клочья собственной шкуры на жесткой и острой траве или на кривых шипах бамбука гуадуа. Тело не защищено одеждой, ведь мы пошли удить ночью в уединенный уголок, до которого от дома не больше километра. По той же причине у нас нет никакого оружия, кроме мачете.

Впереди открывается прогалина, отделяющая высокий бамбук от толстых стволов дремучего леса. Отсюда до нашего ближайшего участка кукурузы всего пять минут ходу. Вдруг мы замираем на месте и стоим, словно каменные, взявшись за мачете. Из темных зарослей на узкую световую дорожку от фонаря не спеша выползает змея. Тяжелое, мощное туловище, темно-коричневые ромбы на сером фоне — все ясно. Это бушмейстер. Больше двух саженей литой силы, этакая смертоносная лиана с колено толщиной.

Мы выдергиваем мачете из ножен, но это пустой жест. Что наш короткий клинок против этой бесшумной смерти. Сейчас бы хорошую, длинную палку, а впрочем, палкой здесь не размахнешься: ветки мешают. Будь у нас ружье, лук со стрелами, даже копье, мы могли бы сразиться с драконом. Теперь остается лишь стоять на месте и ждать, что он соизволит предпринять.

Змея медленно свивается в широкую спираль и лежит, словно круглый ковер. Плоская голова с дюймовыми клыками покоится на одном из колец, маленькие гранатовые глаза завороженно глядят на фонарь. Эта тварь и не помышляет о том, чтобы спасаться бегством или уступить нам дорогу, как поступило бы большинство других пресмыкающихся, ибо бушмейстер не ведает страха. Правда, она и не нападает. А просто ждет с возвышенным спокойствием, сознавая свою силу. Посмей кто-нибудь подойти слишком близко, и удар будет нанесен так быстро, что глаз не уследит.

Отойти в бамбуковую чащу, через которую пробираешься, согнувшись в три погибели? Нет, уж лучше стоять здесь, на прогалине. Погасить фонарь? И останемся мы во тьме с притаившейся у самых ног бесшумной смертью. А пока на змею падает луч света, она не двигается с места.

Медленно поворачиваю фонарик, направляя свет туда, куда змея ползла, когда мы ее заметили. И напрягаю зрение, силясь уследить за тем, что происходит за краем светового конуса. Рукоятка мачете стала влажной и скользкой на ощупь. Проходит минута, проходит вечность. Наконец бушмейстер начинает выпрямляться, потом трогается с места. С каждым дюймом

скорость нарастает, широкая голова скользит по настилу из увядшей листвы вдогонку за круглым световым пятнышком, которое двигается по земле перед самым носом змеи.

Уведя бушмейстера от тропы на расстояние, равное его двойной длине, выключаю фонарик. Мы стоим во мраке, затаив дыхание, и слушаем, слушаем… Куда поползет теперь ядовитой чудовище? Вперед? А если обратно, искать пропавший источник света, что тогда? Мы чувствуем себя очень нагими, и нам вдруг становится очень холодно в теплой тропической ночи.

Бушмейстер уходит. Мы отчетливо слышим, как он метрах в десяти слева от нас заползает в бамбуковые заросли. Сухие листья гуадуа шуршат, словно мятая жесткая бумага, совсем иначе, чем листья зирпе на прогалине.

Проходит еще минута. Теперь мы слышим только цикад и древесных лягушек. Когда я снова включаю фонарик, видно лишь корни, хворост и опавшую листву. Мы чуть ли не бегом пересекаем прогалину, ныряем в прохладный мрак высокого леса и выныриваем уже на залитой лунным светом расчистке, где стоит наполовину поспевшая кукуруза. Наша собственная кукуруза.

Посреди расчистки, в пятидесяти шагах от опушки, лежит могучий ствол с гладкой серебристо-серой корой. Он опирается на толстые сучья, вонзившиеся в почву, и около полутора метров отделяют его от земли. В обращенной вверх части комля между досковидными корнями есть пространство шириной в четыре локтя. Мы вешаем на сук корзинку с рыбой, влезаем на ствол и забираемся в укрытие между корнями. И ждем здесь, когда зайдет луна и среди высоких кукурузных стеблей поползут белесые плети утреннего тумана. Спать можно днем, для этого есть трезвые дневные часы и свайная хижина. А сейчас мы вдвоем в ночной сельве, где боги и чудовища бродят при луне и Па-ку-не безмолвно поет в зарослях.

А может быть, это Па-ку-не лежит тут рядом со мной, между воздушными корнями поверженного исполина?

* * *

Вечер. Долину заполнили тени, только над кручами по ту сторону Икаде-до еще замешкались последние лучи солнца. Над обрывом, будто огромный шпиль из фуксиновых цветков, наклонилось дерево мора де монте. Уже перекликаются долгим, странно печальным свистом тинаму. В дремучем лесу спустился сумрак. Под лиственным пологом порхают маленькие

насекомоядные летучие мыши. То тут, то там вспыхнет желто-зеленая искорка, предвестник факельных шествий и звездных балов, которые затеют ночью светлячки. С хриплыми криками пролетают мимо попугаи — попарно, шеренгами, вереницами. Высоко над рекой, там, где персиковый цвет закатных лучей сменяется абрикосовым, размеренно махая крыльями, плывет в воздушном океане большая серо-голубая магдаленская цапля.

Медленно, неуклюже слезаю вниз с развилки на старом сурибио, где я просидел весь вечер, ожидая, не выйдет ли олень к Данда-до, чтобы напиться ее прозрачной зеленой воды. Олень не пришел. Вот его следы, оставленные вчера вечером и в другие вечера. Но сегодня за весь день из зверья под моим укрытием прошел только молодой агути[43], слишком маленький для тяжелой штуцерной пули. Да, я вышел на охоту со штуцером: у нас осталось всего полторы коробки дробовых патронов.

Неподалеку от моего дерева, в зарослях бихао, я спрятал заплечную корзину с лесками, наживкой, фонарем и лубяным мешочком, в котором лежат полдюжины запасных патронов, пачка сигарет, зажигалка, пузырек с бензином, крючки и складной нож. Как и следовало ожидать, моя корзина облеплена черными муравьями. Ничего особенного, взял да смахнул их веткой, они никому не внушают почтения, не то что злые бродячие муравьи или свирепые кахона, которые всегда бегают с челюстями наготове, чтобы не упустить случая во что-нибудь их вонзить. Или длинные, стройные ардиты, или смахивающие на бескрылых ос темные конга, от укуса которых по нескольку дней держится жар.

Жесткие, плоские древесные муравьи не жалят и не кусают, и под одежду им не забраться, ведь на мне всего-то хлопчатобумажная набедренная повязка, пояс и сандалии. Да еще, разумеется, мачете — острый полуметровый клинок, тонкий, прямой и упругий, как шпага из Толедо.

Среди деревьев извивается сухое русло — мадресека. Во время дождей здесь протекает рукав Данда-до, а сейчас осталось лишь несколько темных луж, в которых плавают сухие листья и гниющие плоды. Русло выстилает гравий и окатанные водой круглые голыши; над ними висят облепленные бромелиевыми узловатые ветви с двухметровой бахромой папоротников-эпифитов.

Проглядывающее между ветвями синее небо с каждой минутой коротких тропических сумерек становится все темнее и темнее. А вот и вода заблестела впереди. Большая заводь, одно из самых рыбных мест на Данда-до. Над водой вздымается серая с чернью шершавая скала. Я перебираюсь на нее по длинной ветке

сурибио. Скоро будет совсем темно. Включаю фонарик, световой конус скользит по воде. Сверкнет где-нибудь красный глаз? Обитавшего здесь крокодила настигла моя пуля на прошлой неделе, и, похоже, с тех пор никто еще не пришел ему на смену. Впрочем, когда речь идет о крокодилах, лучше не спешить с выводами.

Прошел час, как я начал удить. В корзине лежит одна-единственная дорада. Большая, красивая, ничего не скажешь, но ведь этого мало для двоих людей и двух собак с отменным аппетитом. Сижу на камне, напряженно ожидая клева, смотрю на озаренный звездами, блестящий, словно металлический, щит заводи, на едва различимые силуэты древесных исполинов за рекой.

Тихо. Идет перекличка жаб и лягушек. Большая ночная птица с мягкими перьями и огромной пастью время от времени кричит: «О-о-о-Хуан». И как всегда, звучит хор насекомых, к которому я уже настолько привык, что перестаю его замечать.

Несколько минут назад в молодой поросли сурибио на другом берегу поднялся шум, трещали ветки, что-то глухо стучало о землю, как будто завязалась отчаянная схватка. Это длилось всего несколько секунд. Сейчас там царит тишина.

Слышу громкий всплеск у противоположного берега. Кто-то расписывает густые тени полосками из звездного серебра. Не иначе рубиа гоняется за рыбьей мелюзгой. Где охотится рыба, там и рыбаку место. Сматываю леску и возвращаюсь на берег, чтобы перейти через речку пониже, по мелкому перекату. Перед самым бродом гаснет фонарик: лампочка перегорела. Ничего, луна уже всходит. Вешаю корзину и штуцер на толстый, надежный сук, привязываю к поясу лубяной мешочек и вхожу в воду. Теплая река ласково гладит колени.

Выйдя на другой берег, насаживаю на крючок свежую наживку. Несколько минут — и вот уже на камнях отчаянно прыгает крупная рыба — рубиа килограмма на два. Теперь завтрашний день обеспечен. Забрасываю удочку еще два-три раза, но клева нет. Что ж, пора и домой.

Леска смотана и привязана к поясу, вдруг что-то большое и мягкое проносится мимо моего лица. Летучая мышь? Из вампиров? Они здесь не редкость, но мне кажется, это было что-то другое, не те движения. Летун возвращается, и теперь я успеваю его рассмотреть. Ночная бабочка, но какая: размах мерцающих серыми блестками крылышек около тридцати сантиметров. Это Thysania agrippina, самый крупный из серых ночных пилотов дремучего леса.

Бабочка присаживается на камне рядом со мной, сразу

вспархивает и снова возвращается на тот же камень. Эх, мне бы сейчас сачок. И садок побольше! А что если попытаться осторожно накрыть ее набедренной повязкой, потом сдавить пальцами и держать пока не перестанет трепыхаться? Попытка не пытка. Снимаю набедренную повязку и подкрадываюсь к бабочке, но в тот миг, когда я уже готов ее накрыть, она снимается с камня и летит прямо в чащу сурибио.

Надо сказать, что в зарослях сурибио обычно есть свободное пространство над самой землей, ведь это дерево больше всего любит каменистую почву, и под его ветвями почти ничего другого не растет. Я пригибаюсь, проникаю, крадучись, в чащу и пытаюсь увидеть в свете луны широкие серые крылышки. И вот — чистое везение — снова вижу ее, она сидит на ветке над самой землей. Медленно-медленно подбираюсь к ней, стараясь не шуметь, но она опять ускользает, летит в самую гущу пляшущих теней и лунных бликов, будто заманивает меня. Следую за ней. Кажется, села?..

Я не совсем уверен, призрачный лунный свет не прочь подшутить над человеческим глазом.

Вдруг слышу впереди какой-то звук, какое-то глухое, низкое ворчание. Должно быть, жаба. Три года брожу по сельве, а знаю далеко не все голоса лягушек и жаб. Делаю еще шаг. Ворчание принимает злобный, угрожающий оттенок. Нет, жаба тут ни при чем! Меня подстерегает в темноте теплокровное существо, притом довольно крупное. Останавливаюсь, нащупываю в мешочке зажигалку, поднимаю ее над головой и чиркаю колесиком по камешку. Трепещущий язычок пламени освещает кусты на несколько шагов. В лучах света над самой землей, шагах в четырех от меня, вспыхивают два глаза — большие желто-зеленые глаза. Различаю широкую голову, прижатые к черепу короткие круглые уши. Оскаленную пасть с блестящими клыками. Длинное мощное тело, расписанное черными и желтыми пятнами, как окружающая лесная подстилка. Нервно подергивающийся хвост. Тяжелое тело и широкие лапы хищника подмяли под себя создание потоньше, постройнее. Только что убитого оленя.

Язычок пламени вздрагивает и гаснет, я остаюсь в темноте лицом к лицу с самым грозным из всех лесных охотников — старым ягуаром, охраняющим свою кровавую добычу.

Медленно, насколько могут выдержать нервы, беру зажигалку левой рукой, а правую опускаю на рукоятку мачете, сделанную из бычьего рога. Дюйм за дюймом вытаскиваю пз ножен длинный, острый клинок, потом делаю шаг назад левой ногой и снова чиркаю зажигалкой. Ягуар лежит там же. Вижу, как шевелятся

мышцы под жестким коротким мехом. Кажется, он подтягивает задние лапы. Большая кошка готовится к прыжку. Малейшее мое движение может быть воспринято как угроза, и на меня обрушатся, словно подброшенные стальной пружиной, девяносто килограммов костей, мышц и жил, рвущие когти, свирепые клыки.

Осторожно, плавно изготавливаю мачете к обороне: рукоятка упирается в бедро, острие смотрит вперед. Теперь можно и отходить. Ступни дюйм за дюймом скользят по земле назад, я готов к схватке, хоть и знаю, что она безнадежна. Если ягуар пойдет в атаку, может быть, я и убью его, но прежде оп разорвет меня в клочья. Мне дважды доводилось видеть, что может сделать ягуар с человеком в несколько секунд. Яркое и кровавое воспоминание, настолько яркое, что я гоню его от себя, чтобы не поддаться панике.

Расстояние между нами почти удвоилось, а ягуар все еще колеблется. Ему не нужна схватка с человеком, если ее можно избежать. Он хочет тихо, спокойно набить брюхо парным, кровавым мясом, напиться из речки и подыскать себе логовище, чтобы поспать всласть до предрассветного часа росы. Только бы я не покушался на его добычу, тогда и он не станет вздорить со мной.

И вот я наконец вышел из чащи на берег. Ярко светит луна, за моей спиной журчит речка. Привязываю лубяной мешочек на лоб, забираю свою рыбу и переправляюсь вплавь на другую сторону.

Десять минут спустя, вооруженный штуцером и импровизированным факелом, я снова вхожу в заросли сурибио. Но ягуара уже нет. Он захватил добычу и ушел, наверное сразу после моего отступления. Ушел в такое место, где можно поесть без помех. Если бы не кровь, шерстинки и клочья шкуры на земле, я мог бы усомниться, был ли он здесь вообще, не пригрезилось ли мне, может, луна и лес подшутили надо мной…

Моя набедренная повязка, которую я выпустил из рук, когда взялся за мачете, лежит в четырех шагах от того места, где ягуар убил оленя. Ждать и искать здесь больше нечего. С корзиной за плечами и штуцером в руке иду вдоль сухого русла, потом по берегу Данда-до до ручья. Этот ручей протекает вблизи нашей хижины, и я вхожу в воду. Шагаю вброд, по большей части вода мне до лодыжки, но есть места и по колено, и по пояс. Луна успела подняться довольно высоко, через просвет в лесном пологе над ручьем ее лучи озаряют мне путь.

Вместе с ручьем огибаю большие деревья хобо и вдруг вижу перед собой ее.

Па-ку-не.

В лунном свете — белая Па-ку-не, восхитительная, как сама лесная ночь. Она ждет меня. Решила, что я очень задерживаюсь, взяла мачете и ружье и вышла мне навстречу. Взявшись за руки, мы идем по ручью до тропы, ведущей к нашей свайной хижине на бугре. Купаемся в серебрящейся лунными бликами заводи. Потом поднимаемся в хижину и переворачиваем приступку.

Собаки могут спать на воле.

* * *

Вечереет. Солнечные лучи пронизывают наискось лесной полог возле реки. Они уже не дотягиваются до земли. Над широким потоком еще царит день, а здесь, в лесу, медленно сгущается зеленоватый сумрак. Через полчаса вылетят из своих убежищ плотоядные летучие мыши; их маленькие насекомоядные родичи уже охотятся. Через час начнет звучать звездная песнь больших бело-шеих стрижей.

Десять километров пути к дому пройдено. Рано утром я отправился в деревню за покупками и, не задерживаясь, вышел в обратный путь. Скоро мне пересекать первую речку. Утром прошел дождик и уровень реки поднялся, но ненамного, теперь вода уже спадает и очищается от мути.

В заплечной корзине лежат в прорезиненном мешке кульки с солью, сахаром, кофе, мукой, бутылка свиного сала, сигареты и спички. Кроме этого мешка, двустволки и мачете, мою ношу составляют две пенелопы и ошейниковый пекари.

Первыми я подстрелил птиц, это было в каких-нибудь двух-трех километрах от деревни. Еще через пять километров дорогу мне пересекло маленькое стадо пекари. Одним выстрелом я уложил молодую жирную свинку. Меня еще подмывало подстрелить кабанчика — у вожака были роскошные клыки, — но груз оказался бы для меня непосильным, поэтому кабанчик остался жив. Когда я выходил утром, дома не было ни мяса, ни соли, так что теперь я стараюсь идти побыстрее. Охота отняла много времени, ночь наступит задолго до того, как я доберусь до хижины, а мне нечем освещать себе дорогу. Последняя лампочка в фонаре перегорела на прошлой неделе, а у деревенского лавочника лампочек не оказалось. К тому же ночь будет безлунная.

Солнце касается древесных макушек, когда я выхожу к первому броду. Река здесь широкая, но выше переката тянется длинный намыв. Я пересекаю реку по нему, снова углубляюсь в лес и вскоре выхожу к второму броду. Здесь, пожалуй, поглубже.

Я давно, как только отошел немного от деревни, сменил рубашку и штаны на набедренную повязку. Ненавижу, когда мокрые брючины хлопают по ногам и мешают идти. Тут мне, наверно, будет по пояс…

На самом деле оказалось еще глубже. Вода в реке опять прибывает, и в ней взвешена муть. Должно быть, в горах снова выпал дождь. Река и небо становятся все темнее. Вдруг от глубоких заводей снизу мимо меня проносится косяк бокачико. Рыбы идут у самой поверхности, от испуга то и дело совершая длинные прыжки по воздуху. Не иначе, за ними гонится рубиа. Или багре — большой тигрово-полосатый сом. А может быть?..

Несколько шагов отделяют меня от скрытого под водой широкого камня. Я ушиб ногу о него на днях, когда охотился за рыбой с луком и стрелами. Тороплюсь подойти к этому камню, взбираюсь на него, поправляю корзину на спине и держу ружье наизготовку. По-прежнему мимо меня мчатся испуганные бокачико. Вдруг у самого камня над водой появляется длинная бугристая спина. Потом остроносая треугольная голова. И раскрывается огромная белесая пасть, усаженная острейшими клыками.

Меньше двух метров отделяют дуло ружья от головы большого крокодила, когда из правого ствола вырывается заряд крупной дроби. На таком маленьком расстоянии дробь подобна одной тяжелой пуле. Голова уходит под воду, могучий хвост сбивает пену, брызги обдают меня с ног до макушки. Раза два ощущаю даже воздушную волну от этих страшных взмахов. Будь я на локоть поближе, и меня сбросило бы с камня в речку.

Волчья картечь из левого ствола поражает позвоночник корчащейся туши на ладонь повыше крестца. Секунду длинное тело еще бьется в судороге. Затем выпрямляется, коченеет и идет на дно желтым брюхом кверху. Живо перезарядить ружье! Потом я спрыгиваю с камня, торопливо иду к берегу, выскакиваю из воды и снова углубляюсь в лес.

Два следующих брода одолеваю без приключений. Оба потока широкие, и течение довольно сильное, но глубина небольшая, чуть выше колена. До чего не хочется входить в темную воду теперь, когда мое отвращение к крокодилам возродилось с новой силой, да выбора нет. От брода до брода я почти бегу.

Незадолго перед тем, как мне выйти к пятому, самому трудному броду, который мы прозвали Чертовым, как-то вдруг сгущается тьма. В древесных кронах на пригорках завывает ветер. Когда я наконец выхожу из леса на берег реки, то даже на фоне неба с трудом различаю собственную руку. Здесь меня настигает дождь. Он длится всего каких-нибудь десять минут, но чувство

такое, словно я иду сквозь стену воды.

Шагаю через перекат. До противоположного берега несколько десятков метров, но вода успевает прибыть не меньше, чем на ладонь, пока я добираюсь до него. Темень такая, что еле видно белые пятна пены, да и то лишь на ближайших камнях. Только по напору течения могу я судить, что иду в нужную сторону, ведь ни каменистого пляжа, ни леса за моей спиной уже не видно. А стремнина напирает так, что я с трудом удерживаюсь на ногах. Вот и берег наконец. Я вынужден переждать дождь, потом свечу зажигалкой и отыскиваю то место, где тропа от переката входит в чащу.

На опушке срезаю себе длинную палку, чтобы прощупывать путь. Сразу чувствуешь разницу, где натоптанная дорожка, а где мягкая лесная почва. Двигаюсь страшно медленно, чуть не ощупью. На каждом шагу шарю палкой по земле, и все равно раз-другой напарываюсь на колючие пальмочки. Бреду, выставив перед лицом согнутый локоть, и всей душой надеюсь: хоть бы ядовитые змеи и бродячие муравьи не вздумали сегодня ночью воспользоваться этой тропой.

Что-то тяжелое с шумом ломится сквозь подлесок. Трещат ветки, шуршат под ногами сухие листья. Что за зверь? Поди угадай, это может быть кто угодно — от дикой свиньи до медведя. Если бы знали ночные бродяги, как смешон и жалок их злейший враг ночью, во мраке, без поддержки своего друга и защитника — огня! Да, если бы они это знали и воспользовались этим, наверное, человек был бы истреблен или, во всяком случае, стал бы такой же редкостью, как горилла или антилопа бонго. Но они не знают этого, к тому же у них не принято убивать ради удовольствия. Только человек, особенно полуцивилизованный, разрушает, движимый страстью к разрушению.

Где-то здесь неподалеку живет колдунья, старая знахарка, с которой дружна моя жена. Может, у нее найдется для меня огарок свечи, или факел, или хотя бы несколько лучин, чтобы мне было чем освещать себе путь. После дождя с листьев непрерывно капает, а в моей зажигалке бензин на исходе.

Лезу в мешок и отыскиваю большой сухой лист бихао, в котором завернут сахар. Скручиваю из листа факелок и продолжаю двигаться ощупью до тех пор, пока палка и ступни не сообщают мне, что тропа как будто разветвляется. Тут я зажигаю свой факел. Света от него немного, но ориентироваться можно. Так и есть — развилка. Сворачиваю влево, и примерно через сто шагов, когда лист уже догорает, вижу огонек в хижине колдуньи. Делаю еще несколько шагов и кричу слова приветствия. Молчание.

Кричу опять. Огонь в очаге разгорается ярче, я различаю силуэт — старушка зажигает самодельный факел и подходит к приступке, держа в руке широкий мачете. Оробела, бедняжка. Хоть ты и колдунья, а не так-то просто разобрать, кто это кричит человеческим голосом в ночном лесу — на самом деле человек или антомиа, недобрый лесной дух. Подхожу ближе и снова здороваюсь. Старушка узнаёт меня, и страхи ее проходят. Я объясняю, зачем пришел, она отвечает с беззубой улыбкой:

— Хороший мужчина! Идет ночью, не боится, не хочет, чтобы женщина с солнечными волосами оставалась одна. Я дам факел. Хнг-са биа-буа!

Это одобрительное выражение, едва ли не самая высокая похвала на языке энгвера.

Я получаю от нее факел, сделанный из сухого луба и кантурона — твердой черной смолы из гнезда диких пчел. Когда он горит, от него распространяется своеобразный приятный запах и много белого дыма. Но главное, он светит достаточно ярко, чтобы можно было различить тропу.

Следующие два километра я отмеряю довольно быстро. Приближаюсь к каменистой прогалине, где встречаются две реки. И вдруг замечаю на кронах деревьев отсвет, как будто на берегу торит костер. Костер тут, в глуши, — что это значит? Гашу факел и осторожно крадусь вперед. Не выходя из прибрежных кустов, останавливаюсь, чтобы проверить, что за народ здесь очутился среди ночи. А, индейцы. Тогда все в порядке. Но как их много! Что их сюда привело?

— Хаи-та зе-буруа? — спрашивает низкий голос от костра. Этот голос я узнал бы среди тысячи. Это Хаи-намби, мой брат по тотему. Он спрашивает, кто идет.

— До-хиви-те зе-буруа, — звучит ответ из зарослей в десяти — двенадцати шагах от меня. («Это До-хиви».)

Из тени выходит Са-ндьяма, у него в руке длинная духовая трубка, а на груди висит колчан с черными палочками, смазанными смертоносным растительным ядом не-ара.

Поделом тебе, неуклюжий бледнолицый, не пытайся незаметно подкрасться к лесным индейцам в их собственном лесу!

Через две минуты я уже сижу на камне у костра, ем печеную рыбу и пью кофе. Меня окружают мои лучшие друзья: Хаи-намби, До-би-га-ри, Эй-ке-ауври-зама, Ду-ла, Я-диби, Не-эн-саби. Они рассказывают, что пришли сюда из-за горы порыбачить. Багре не поднимаются в речку за горой, а здесь они есть, и как раз сейчас идут большие косяки жирных кисаба и чумурру. На подставках для копчения уже лежит изрядное количество рыбы.

Мои друзья знали, что я скоро приду, и приготовили кофе. Откуда они могли это знать? Хаи-намби добродушно улыбается.

— Перед закатом Не-эн-саби ходил вниз по реке, проверял, много ли рыбы идет вверх через перекаты. Он услышал ружье моего брата, два выстрела. А мы еще раньше видели следы моего брата, следы утренние, вот и получалось, что теперь мой старший брат возвращается домой.

Эти благородные и деликатные люди не смеются над моей несообразительностью, а уговаривают меня хорошенько поесть и подливают кофе, потом спрашивают, останусь ли я с ними рыбачить или мне надо домой. Я говорю, что устал за сегодняшний день, тогда Са-ндьяма взваливает себе на спину мою ношу, остальные берут по головешке, мы пересекаем вброд Данда-до и идем напрямик через лес. Смуглые лесные люди провожают меня почти до самого дома, только на нашей расчистке они прощаются и покидают меня. Я стою и молча провожаю взглядом цепочку факелов — словно огромные светлячки качаются вверх-вниз между высокими метелками кукурузы, потом пропадают в лесу. И этих людей называют дикарями, шлют к ним миссионеров, чтобы «цивилизовать» их!

Я вскидываю ношу на спину и иду к дому. У поваленного де «рева, которое служит мостиком через ручей, издаю условный клич и вижу, как в высокой свайной хижине загорается лагерный фонарь — будто огненный цветок распускается.

Потом до меня доносится ответный возглас. Кажется, еще никогда в жизни я не ощущал так остро, что значит вернуться домой. Остались позади одиночество и ночной мрак и ливень, усталость и крокодильи челюсти. И, возможно, Па-ку-не. Что мне Па-ку-не теперь? Единственная Па-ку-не, которая что-то значит для меня, которая может меня завлечь сегодня, ждет там, в хижине.

Поляну вокруг пышного дерева гуаяба заливает свет. Не яркий, резкий дневной свет, а мягкое, но вместе с тем насыщенное сияние, которое превращает поляну с обрамляющим ее кустарником и лесом в сказочный дворец из нефрита и серебра. То четко выделяется каждая травинка, то все сливается с глухой, угрюмой тенью на опушке.

Мой гамак подвешен на краю поляны, я сижу с ружьем на коленях в пяти саженях над землей, чтобы никакой запах не выдал меня тем, кто бродит внизу, под деревьями. Я рассчитываю на то, что падалица под гуаябой приманит какого-нибудь зверя. Животные каждую ночь ходят сюда, об этом мне рассказали аккуратные, сердечком, следы оленей, глубокие отпечатки пяток паки, трехпалые следы покрупнее — от ног капибары, помельче

— от задних лап агути. Кто же из них выйдет на лунную поляну?

Самая желанная добыча — пака, но этот вариант исключен. Жирный веронгора, как его называют мои друзья индейцы, не любит никакого света. Днем он отсиживается в своей глубокой норе, которую подчас разделяет с бушмейстером, выходя из нее лишь после того, как гаснет последний закатный луч. Но пака и лунному свету не доверяет. И если это животное в такую ночь, как эта, покидает нору, то держится оно в густой тени под высокими деревьями. Бродит между корнями этакая морская свинка неслыханной величины, от шести до десяти килограммов нежнейшего мяса.

Мог бы появиться агути, но ведь они чаще всего кормятся поздно вечером и рано утром. То же можно сказать об оленях. Сегодня у меня главная надежда на капибару, вот почему один ствол заряжен самодельной пулей, а другой картечью. Капибара, это удивительное создание, с виду нечто среднее между обычной свиньей и гигантской морской свинкой, — крупнейший грызун в мире, ее вес превышает пятьдесят килограммов. И мясо недурное, особенно у молодых животных.

Проходят часы, но никто не показывается. Во всяком случае, ничего такого, что мне хотелось бы подстрелить и унести домой. Вот семенит через поляну опоссум[44], он похож на огромную крысу, только голый хвост задран кверху и образует двойную завитушку. Маленькая сова садится на ветку поблизости от меня, дважды кричит, отвешивает глубокий поклон, потом расправляет мягкие крылья и пропадает во тьме. С осыпей вверху между холмами доносится дикий раскатистый крик пумы. Так и представляешь себе разъяренную амазонку, обуреваемую жаждой мести. И все оплетает, все пронизывает металлическими нитями трепетная музыка цикад, кузнечиков и сверчков. Луна огромна до неправдоподобия.

Вдруг в лесу отдается новый звук. Я не могу его определить. В сельве, наверно, тысячи звуков, которых я не знаю, но этот особенный, вроде бы чужеродный и в то же время — не знаю уж, как это объяснить, — он вполне к месту.

Опять…

Это не лесной голос, это какой-то струнный инструмент звучит. Но кто же может играть среди ночи здесь, в дремучем лесу?

Маленький олень вскачь пересекает поляну и пропадает среди теней раньше, чем я успеваю вскинуть ружье. Это сейчас не важно. Я должен определить источник чарующей музыки.

Еще десять или двенадцать вдохов седая лунная поляна вокруг гуаябы остается пустой. Но что это там на опушке, какая-

то тень зашевелилась среди прочих теней. Секунда — и она превратилась в человека, он отделяется от леса и идет в мою сторону. Да ведь я его знаю. Это Ки-амана, земледелец с задумчивым, безмятежным лицом. Он что-то держит в руках — уж не скрипку ли, что сделал по образцу настоящей, которую видел в деревне?

Нет, это другой, новый инструмент, плод его собственных грез. Струны, возможно, скрипичные, но форма совсем иная. Не разберу как следует: похоже на ветвистый рог оленя, только он много крупнее, чем обычно бывают рога у оленей саванны. Какой-нибудь прототип арфы? Видоизменение примитивного музыкального лука?

Ки-амана остановился. Озаренное луной лицо обращено ко мне, но он меня не видит. Губы его приоткрыты, ноздри расширены. Глаза его видят лесных демонов, видят дива дивные, драконопо-добных богов с перьями кетцаля[45] и ары[46], но это сейчас несущественно. Он захвачен не тем, что видит, а тем, что слышит. Захвачен каденцией звуков, мелодией. Никак не может ее уловить во всей полноте. И тогда он совершенно замыкается от внешнего мира, всем слухом уходит в мир внутренний.

Он поднимает вверх свой инструмент и касается струн. Я лишен музыкального слуха, по мне представляется толика того, что он услышал.

Па-ку-не. И я припоминаю… Сидя в хижине знахаря, охотники вполголоса говорили о «той, которая живет в деревьях». И Ки-амана тогда прошептал про себя:

— Она поедает глаза и сердце человека.

Теперь его постигла эта участь.

Вдруг лицо Ки-амана преображается. Теперь это лицо фавна, но фавна не из Аркадии, и не с Палатина, а из Чичен-Ицы и Майяпана[47].

Вот он опять пошел. Идет, не чувствуя под ногами земли. Сейчас Ки-амапа охвачен творческим озарением. И когда вокруг него смыкается чаща, чудится мне, что она его ласкает.

Проводив его взглядом, отвязываю гамак, оставляю свою засаду и иду домой. «Та, которая живет в деревьях» нашла себе любовника на эту ночь. Надо уходить. Если замешкаюсь, она, чего доброго, и мои глаза съест вместе с сердцем,

А может быть, уже съела?

# Интермедия

Стремнина несет через пороги красный плод, он кружит в водовороте и попадает в глубокую заводь между черными камнями. У самой поверхности возникает золотистый блик, это широкая рыба разворачивается и ловит яркую приманку. Плод исчезает. Две пары глаз наблюдали движения рыбы. Сын Коршуна глядит на своего белого друга и указывает губами, как это принято у его народа.

— Ампарра дрома (большая дорада).

Старик кивает.

— Мой сын, — тихо говорит он, — найди мне несколько зеленых кузнечиков, у которых широкие крылья. Тинкомиа.

Молодой индеец идет в заросли. Через десять минут он возвращается с кульком из листа бихао.

— Тинкомиа, — говорит он, улыбаясь, берет топор и уходит вверх по течению, туда, где над речкой наклонились стволы сурибио.

Старик готовит свою снасть — крепкое метровое удилище с катушкой и прочной найлоновой леской, короткий металлический поводок, солидный крючок. Осторожно привязывает к крючку шелковой ниткой кузнечика, подкрадывается за широкими листьями к самому перекату и кистевым движением забрасывает приманку.

Кузнечик отчаянно бьется на быстрине, его несет в заводь у черных камней. Что-то блеснуло под водой. На приманку идет рыба, крупная дорада, не меньше килограмма. Она заходит сбоку и клюет. Рыболов тотчас подсекает. Удочка изгибается дугой, будто рапира, когда рыба, почувствовав крючок, бросается прочь! Сперва вглубь, к укрытию между камнями, потом через быстрину к маленькому заливчику на другой стороне, где водоворот крутит обломанные сучья. Если дорада доберется туда, она будет спасена. И рыболов держит ее, держит так, что удочка становится похожей на лук. Рыба поворачивает обратно, всплывает, заходит на цель. Снова и снова смыкаются ее челюсти, но даже зазубренные, как пила, зубы дорады бессильны против стального поводка. Она дергает, она тянет, наконец выбивается из сил, и старый рыболов осторожно подводит ее к заранее намеченному месту, где по песку и гравию можно вытащить добычу на берег. Удар по голове тупой стороной мачете — и можно подвешивать рыбу на лиане.

В это время в зарослях сурибио начинает стучать топор. Старик качает головой. Может быть, у рыб и впрямь не такой уж

хороший слух, но вибрации, конечно, дойдут и испугают их. К тому же течение скоро принесет сверху свежие щепки и сучья. Лучше поискать другой уголок для рыбной ловли. Обернув рыбу в листья бихао, он перевешивает ее в тень, берет ружье и поднимается мимо переката к следующему плесу.

Здесь в реку впадает ручей. Он кишит мелкими рыбешками, самая крупная не больше указательного пальца. С полдюжины видов представлено тут, и у каждого свои повадки, каждый занимает свою крохотную нишу в микрокосме лесного ручья. Старик молча глядит на них, мысленно сортирует, перебирая латинские названия; две-три из этих рыбешек описаны и наименованы им самим. Но сейчас он их классифицирует безотчетно, больше по долголетней привычке к занятию, с которым пришла пора расстаться. В эту минуту для него гораздо важнее то, что эти Bivulus elegans как будто сделаны из золота и эмали, а Gephyrocharax marthae (они короче спички) кажутся олицетворением понятия «металлический блеск». А вон та, вся в синих пятнах — Aequidens pulcher… Но полно, он должен найти что-нибудь покрупнее для тружеников, которые мастерят для него плот. Старик перешагивает через ручей и идет дальше.

На следующем перекате он берет двухкилограммовую рубиа, на плесе — три дорады, а в глубокой, темной заводи под корнями упавшей сейбы — увесистую черную мохарра, рекорд дня. Конец кузнечикам, av значит, и клеву. Сегодня рыба никакой другой наживки не признает. Ничего. Добытого хватит с лихвой для четверых, пусть даже трое из них — молодые индейцы с завидным аппетитом.

Старик уже возвращается вниз, когда его обгоняет плот, совсем небольшой, из тонких бальсовых бревнышек. На носу, работая длинным шестом, стоит индеец, на корме опустилась на колено молодая женщина с грубо оструганным веслом. Между ними лежит на настиле из жердей какая-то фигура, завернутая в плащ. Две заплечных корзины подвешены на стойках из сучьев сурибио, чтобы водой не замочило.

Мужчина и женщина одеты только в короткие набедренные повязки. Они заметили старика в кустах на берегу, но не показывают вида, только сильнее разгоняют плот, и вот быстрина у переката подхватывает его и увлекает за собой. Когда старик приходит в лагерь, чужой плот уже причален возле лодки. Завернутая в плащ фигура лежит на берегу под тенистым деревом, женщина занята стряпней у костра, мужчина сидит и негромко переговаривается с тремя молодыми индейцами, которые вернулись из леса.

Белый идет за своей первой дорадой и складывает весь улов

на берегу, в двух-трех шагах от воды. Потом моет руки и подходит к индейцам. Уголком глаза он видит, как женщина встала, нашла в своей корзине короткий нож и принялась чистить рыбу. Короткое приветствие, старик присоединяется к кружку мужчин. Несколько минут все сидят молча. Потом сын Оцелота говорит:

— Мой отец, люди с Зеленой реки привезли больного. У них больше нет своего знахаря, после того как дед вот этого человека умер в прошлом году.

Знахарь с Зеленой реки, Яри Домико — старый друг, брат по тотему удава… Один из многих, которые уже ушли из жизни. Выходит, этот молодой человек с умным, спокойным лицом — внук Яри.

— Куда вы направляетесь? — спрашивает старик.

Индеец с Зеленой реки мнется. Проходит несколько минут, наконец за него отвечает сын Выдры.

— Они слышали, что мой отец сейчас здесь, на этой реке, — говорит он. — И подумали, что, может быть, мой отец согласится лечить больного. Но они стесняются просить моего отца о помощи, потому что у них нет достойного дара для хаи-бана биа.

— Не нужно никаких даров, чтобы я помог внукам моего брата, если только это в моих силах, — говорит старик. — А что с больным?

— Его порубили мачете, — отвечает внук Яри. — Чужие люди, капуниа, бледнолицые, пришли туда, где он посадил какао, и стали наполнять свои корзины его плодами. А когда брат моей жены попытался отстоять свое добро, они пустили в ход мачете. Если бы мы с моим братом тут не подоспели, они бы его убили.

— Вы сообщили об этом случае в деревню? — спрашивает старик.

— Сообщили. Алькальд хотел наложить на нас штраф за драку. А священник сказал, чтобы мы принесли свинью пожирнее, тогда он прочтет молитвы и зажжет восковую свечу. Но у нас нет жирной свиньи.

Старик опускается на колени около раненого. Мышцы на груди рассечены клинком, рана длинная, но не глубокая, ребра не задеты. Есть воспаление. На предплечье ножевая рана поглубже. Температура высокая, похоже на начинающееся заражение крови.

— Вскипятите два котелка воды! Подайте мне мешок с красной завязкой! Имангаи, тебе придется помогать мне. Вымой руки сперва водой с мылом, потом вот этим спиртом! А остальные пусть смастерят навес и широкие нары!

Не успел он договорить, как три мачете уже рубят кусты. Индейцы умеют работать быстро, когда знают, что это нужно. Три

часа спустя больной лежит под навесом на чистом покрывале. Раны очищены, продезинфицированы и перевязаны. Он получил пенициллин и стрептомицин, температура упала на несколько десятых. К счастью, на людях лесного племени, как правило, все быстро заживает.

Индейцы с Зеленой речки остаются в лагере. Мужчина помогает заготавливать материал для большого плота: жерди сурибио, чтобы скрепить основу, лианы анкла и луб махагуа для вязки, сапановые палки для настила под багаж, прутья мангалеты и листья бихао для навеса. Женщина стряпает и с разрешения «знахаря» присматривает за раненым.

Наступает вечер. Старый охотник сидит на своем гамаке и курит трубку. Рабочий день индейцев закончен, они сейчас купаются в реке пониже лагеря. Вот один из них возвращается, это внук Яри. Он говорит что-то жене, которая раздувает костер, стоя на коленях. Она встает и роется в одной из их корзин, висящих на ветке поблизости от плота. Вот достала сверток из прокопченных листьев и передает его супругу. Молодой индеец медленно подходит к белому охотнику, останавливается в двух шагах от него.

— Хаи-бана, — говорит он уважительно.

— Говори, сын мой, я тебя слушаю.

Индеец распутывает лубяные завязки и протягивает сверток старику. Охотник берет его в руки.

Восемь початков кукурузы. Два золотисто-желтые, два темно-красные, два густо-фиолетовые, два иссиня-черные. Четыре рода ритуальной кукурузы, которые знахарю положено выращивать около своей хижины. Плодородие, успех на охоте, врачевание и ключ к стране духов.

— С участка моего деда, — объясняет молодой человек.

Старик молча кивает.

Восемь — символ могущества, волшебное число, в нем соединяются и бесконечность, и бренность. Кукуруза священна. Дар мертвого знахаря живому.

# Сев

Узкая долина между высокими кряжами, обросшими дремучим лесом, погружена в густую тень. Деревья и лианы роняют капли рассветной росы. Посреди горного склона напротив, над светлой зеленью молодого леса, стелется длинная белая прядь тумана. Несколько дождевых сезонов назад здесь прошел обвал и смел старые высокие деревья. Но рана уже зарубцовывается, сельва смыкается.

Высоко в светлеющих небесах плывут над долиной, над грядами светлые утренние облачка. Вдруг между двумя из них что-то вспыхивает, как будто искорка зажглась в тропической синеве. Это старый королевский гриф кружит там наверху, кружит так высоко, что с земли его только тогда и увидишь, когда луч восходящего солнца осветит белое брюшко и грудь и широкие подкрылья. В его царстве уже полный день, и он видит на десятки километров вокруг, что происходит внизу, в переплетении голубых горных цепей между истоками трех рек.

Здесь, в предгорьях Западных Анд, рождаются Сину, Сан-Хорхе и Тараса. Вначале быстрые, прозрачные, с зеленым стеклом глубоких заводей между вереницами белопенных порогов. Веселые, буйные молодые реки — они еще успеют стать бурыми, широкими, степенными в своем долгом извилистом странствии через саванны Северной Колумбии к Карибскому морю. Только Сину сама доходит до моря; Сан-Хорхе вливается в Магдалену, а Тараса — в Кауку, тоже приток Магдалены. Но так далеко даже гриф не видит.

Зато ему, несомненно, виден широкий полукруг смуглых мужчин и женщин, тихо сидящих на просторной расчистке под крутой горой. Все лица обращены к большой свайной хижине. Все молчат, все напряженно ждут. Это не то спокойное, терпеливое ожидание, которое я про себя называю «каменное терпение». Одно дело ждать, когда сварится мясо, или рыба схватит наживку, или олень подойдет на выстрел. Сейчас совсем другое дело, другое ожидание, настолько напряженное, что им насыщен самый воздух, что его слышно сквозь тишину, которую оттеняет звонкий хор кузнечиков и цикад. Честное слово, мои уши воспринимают его не менее явственно, чем глаза — гордый орлиный профиль сидящего рядом со мной Я-диби.

Многие из собравшихся здесь энгвера пришли издалека, совершив до трех дневных переходов. Десятки километров пройдено по узким, извилистым лесным тропам, форсированы реки и горные гряды. И это лишь завершающее звено в цепи

приготовлений. Прежде чем выйти в путь, они восемь дней (восемь — священное, могущественное число) постились и проходили очищение.

Купались в быстрых, прозрачных горных ручьях, окатывали себя водой, в которой на медленном огне кипятились особые растения, ночами сидели в дыму священных курений. Воздерживались от табака, мяса, рыбы, кукурузного пива, пряностей и соли; все дни поста ели только жареную молотую кукурузу пукура, да и то ровно столько, сколько нужно для поддержания сил. Не убивали даже комара, не касались ничего мертвого или кровавого, не произносили грубых и бранных слов, не помышляли ни о чем дурном или злом. И все это ради мгновения, которое скоро, вот-вот наступит.

Миг — и горный лес над расчисткой уже купается в ярком утреннем свете: солнце дошло туда. Раздается пронзительный крик ястреба гуако, тараторят амазонские попугаи, перепархивая попарно с дерева на дерево, высоко над расчисткой летят к горе два красочных ара. Вдалеке раскатывается трубный голос Пенелопы. И сквозь все эти резкие, дикие звуки пробивается нежный, мелодичный голосок маленького серого тропического крапивника, как будто ручей журчит между шершавыми, грубыми камнями.

А первые лучи солнца уже коснулись конусовидной крыши… сбегают вниз по скату… заглянули под стреху… В ту самую минуту, когда они достигают верхней ступени приступки, на ней появляется женщина. Она одета в короткую набедренную повязку из белой лубяной материи. На спине — корзина, висящая на лубяной ленте, обвязанной вокруг лба; из-под ленты с двух сторон на тонкое смуглое лицо блестящими иссиня-черными волнами спадают волосы. С мягкой шеи в ложбинку между крепкими полными грудями опускаются ожерелья из семян, черные с темно-красным и жемчужно-серые. Другие ожерелья набраны из квадратиков благоухающей бальзамной коры, квадратики коричневые, чуть темнее кожи, на которой лежат.

Женщина медленно поднимает руки, как бы приветствуя восходящее Солнце. На секунду замирает в таком положении — живая статуя, воплощение молодого тропического плодородия. Теперь руки опускаются вниз, за спину, и маленькие пальцы достают из корзины два больших кукурузных початка безупречной формы, один золотисто-желтый, другой — темно-фиолетовый. Женщина держит оба початка на вытянутых руках, словно показывает их Солнцу. Потом прижимает их к груди.

Мягко, плавно ступая, она спускается по приступке и останавливается на нижней ступеньке. Смуглые лица с

кружевным черно-красным праздничным гримом поворачиваются в другую сторону. Из леса на расчистку быстрым широким шагом выходит мужчина. На нем новая андеа из лубяной материи, расписанная символическим красно-черным узором. В одной руке он держит длинное черное копье из пальмы макана. Острие копья влажное, матово-красное. За спиной у него на обрывке лианы висит только что убитый ошейниковый пекари, старый хряк с короткими острыми клыками. Разоритель огородов, враг кукурузы.

Смуглое тело мужчины лоснится здоровьем и силой, волосы мокрые после утреннего купания в реке. Мужчина, охотник, такой же неотделимый от леса, как темно-зеленая листва и пламенно-красные цветки бихао позади него. Он идет к ожидающей женщине, и в его движениях есть что-то от пумы и от орла. Он замедляет шаг, как будто колеблется. Острие копья опускается почти до земли. Мужчина наклоняет голову. Еще два шага, он останавливается и бросает свою добычу к ногам Кукурузной женщины. Кладет копье рядом с охотничьим трофеем и ждет, не поднимая головы.

Статуя оживает. Медленно ступая, женщина обходит застывший в немом ожидании полукруг. Каждой девушке она вручает желтый початок, каждой замужней женщине — желтый и фиолетовый. С опустевшей корзиной, никого не обделив, она возвращается к приступке, вешает корзину на рогатину и поворачивается к охотнику. Секунду он неподвижно глядит на нее. Потом быстро подходит, поднимает женщину на сильных смуглых руках и уносит в хижину.

Над затаившим дыхание полукругом скользят тени утренних облачков. Кузнечики и цикады смолкли. Лишь крапивник продолжает петь, его тонкий чистый голосок серебряной нитью пронизывает время и пространство.

Знахарь, поседелый патриарх с обветренным лицом, встает и проходит в центр полукруга. Поднимает с земли копье охотника и бросает его в хижину. Шестьдесят пар темных глаз провожают копье и смотрят, как завороженные, на глубокую тень под крышей. Проходит две-три минуты. Или две-три вечности. Вдруг копье летит обратно из-под стрехи. Оно вонзается в землю между индейцами, подрагивая, и замирает.

Толпа что-то бормочет, громче, громче, и вот уже звучит ликующий хор. Как будто по расчистке прокатился океанский вал. Басистые голоса мужчин слагают подошву волны, звонкие голоса женщин — бурлящая пена на гребне. Копье объято пламенем, оно горит, как факел. Мужчины разом встают, рассыпаются по расчистке и собирают сухие палки, ветки, старые

головешки — все, что может гореть. Топливо складывают в центре полукруга и от горящего копья разжигают костер.

Торжественная часть позади. Теперь кругом сплошные улыбки — и на морщинистом лице знахаря, и на девически гладких, белозубых лицах молодых охотников. Смеясь и перекидываясь шутками, женщины волокут убитого пекари к костру. Тушу опаливают, потрошат и разделывают. Отбросы сжигают. С другой стороны костра поджаривают мясо и кукурузные початки, которые раздала женщина. Но прежде отбирают лучшие, самые крупные зерна посередине початка, чтобы добавить их в посевной материал, который ляжет в землю на огородах, когда все разойдутся по домам. Каждому кукурузному полю в краю прозрачных рек достанется толика благословения от солнца и богини плодородия.

Всем положено отведать мяса. Женщины, кроме того, едят жареную кукурузу, при этом некоторые из замужних тайком дают несколько зерен своим мужьям. Подарок, выражающий любовь не хуже любого другого подарка.

Кукурузная женщина и охотник остаются в свайной хижине и больше не показываются, ведь венчание Солнца с богиней кукурузы Хаи-бе — это и их брачное торжество.

Солнце поднимается все выше и выше. Праздничный костер догорает, остается груда углей, на которых превращаются в золу и пепел последние косточки от пекари. Мужчины и женщины делятся на маленькие группы и отправляются в долгий путь домой, на свои расчистки. Они уходят радостные, в предвкушении важного дела. По берегам ручьев и рек лежат в ожидании новые расчистки. Топор и мачете повергли могучие деревья, огонь убрал бревна и сухой хворост. И теперь чистая щедрая земля ждет семян.

Высшие силы посулили дождь, и солнце, и добрый урожай. Земля даст людям кукурузу — источник жизни, даст священные золотистые зерна.

Годы будут идти, и другие смуглые женщины и мужчины будут расчищать ноля в дремучем лесу, сажать кукурузу, собирать ее и поклоняться ей. Так сказали боги.

Копье охотника было объято пламенем.

* * *

Хаи-вер-ки-са бил острогой рыбу на мелком перекате выше брода, когда мы по крутой тропе вышли к тому месту, где смешиваются воды Данда-до и Туси-до. За ним на обрывке лианы

волочилась целая связка темных жирных рыб цумурру, но все равно лицо его не выражало радости. Хаи-вер-ки-са не приходил на Праздник кукурузы, Праздник срубленного дерева. Много земледельцев живет на лесных речушках, которые, соединившись в Уре, вливаются в Сан-Хорхе, но из всех только он один оставался дома. Ему не было доступа на древний праздник плодородия.

Лет пятнадцать назад, а может быть немного больше, одна старая индеанка пришла вместе с дочерью в деревню Уре, бедное селение, где жили преимущественно потомки беглых рабов: негры, колонисты, золотоискатели. Здесь же находилась испанская миссия со священником и монашенками. Не знаю уж, откуда именно она явилась, не могу также сказать, почему искала общества чужестранцев, а не людей своего рода и племени, гостеприимных и щедрых энгвера. Как бы то ни было, мать осталась служить у монашенок, не прося никакого жалованья, только бы они воспитали ее дочь.

Девочку окрестили Инее. Она помогала матери стирать, носить дрова и воду, мыть посуду, убирать и делать всякую прочую тяжелую и неприятную работу, а ее за это обучали наукам. Она научилась бездумно тараторить молитвы, в которых не понимала ни слова, научилась лгать, лицемерить, красть по мелочам, узнала букву «о». Дальше этого ее образование не пошло. Монашенки говорили, что она «муи брута» — очень тупа. На самом деле Инее была не глупее других детей — смуглых, желтых или белых, — которым выпадает расти в таких условиях. Но ею никто по-настоящему не занимался.

Старая индеанка умерла через несколько лет. Было бы неверно утверждать, что ее уморил непосильный труд: женщины энгвера — сильные и выносливые труженицы. Но ведь они обычно живут в открытых, просторных хижинах на двухметровых сваях, а не валяются на грязном старом тряпье, брошенном на земляной пол в сыром сарае. И они купаются три-четыре раза в день, поскольку им никто не говорил, что заботиться о своем теле грешно. И не просыпаются среди ночи от страшных кошмаров, в которых запуганного человека преследуют картины ада и мысли о наследственном грехе.

У них, как правило, вдоволь еды: кукуруза и маниок, лесные фрукты, маленькие желтые томаты, побеги ирака, корни икаде и многое другое. Река поставляет рыбу, крабов и черепах. Мужчины добывают дичь в лесу, иногда женщины сами охотятся с собаками на агути, паку или на еще что-нибудь в этом роде. Большинство держит кур и свиней, уток и индеек, выращивает бананы, папайю, ананасы и гуаяву.

Словом, их стол обычно здоровее и разнообразнее, чем пища черных и белых деревенских жителей. И уж во всяком случае, им чрезвычайно редко приходится довольствоваться остатками чужой трапезы, И так как они не живут скученно в грязных селениях, у них реже бывают глисты, фрамбезия, туберкулез и малярия.

Так или иначе, старая женщина умерла, и вся работа легла на плечи дочери. Ей тогда было лет пятнадцать. Приблизительно в это время Хаи-вер-ки-са стал приносить в миссию дичь и рыбу на продажу. За несколько килограммов рыбы он получал рыболовный крючок, за двух древесных индеек — алюминиевый амулет. За оленя ему могли даже дать лоскут материи или грошовое зеркальце. У испанцев исстари заведено обращаться так с индейцами. Расплачивался щедрой рукой сам священник, но дичь и рыбу принимала Инее, поэтому Хаи-вер-ки-са продолжал носить в миссию дары леса. В конце концов он дал понять благочестивым сестрам, что не прочь бы взять Инее в жены. Хижина и огород у него имеются, есть все, что положено в хозяйстве индейца, только жены не хватает. И кроме девушки из миссии, ему никто не нужен.

Сначала монашенки и слышать не хотели об этом. Разве можно, чтобы христианская девушка выходила замуж за лесного дикаря-язычника. К тому же в деревне не так-то просто было найти служанку, тем более покорную и молчаливую рабыню, которая не требовала никакого жалованья. И разве плохо чуть не каждую неделю получать свежую рыбу или мясо.

Монашенки не отказали наотрез, но и согласия не дали. Но в один прекрасный день святые сестры передумали. Хаи-вер-ки-са может жениться на Инее, однако сперва он должен креститься. Так решил священник, так и вышло. Их обвенчали, потом индеец увел новобрачную в свою хижину в лесу. При крещении Хаи-вер-ки-са получил имя Хосе.

Через полгода Инее родила сына. У индейских детей часто бывает светлая кожа, и этот мальчуган был очень светлый, да еще и рыжеватый. До него в этом краю был только один рыжий: испанский патер. Мальчик благополучно рос, вскоре у него появилась сестренка, а затем, с промежутком в один-два года, три маленьких братика. Все они были смуглые и черноволосые, как и положено детям из рода Белки. Заботы всем пятерым доставалось поровну. Энгвера, как и большинство индейцев, детей очень любят, и если в жилах малыша течет немного чужой крови, так ведь ребенок в этом не виноват.

Соседи не симпатизировали Инее. У нее была страсть дурно говорить о людях, она чрезвычайно гордилась своим

«воспитанием» у монашенок и была нечиста на руку. На первые два недостатка еще можно смотреть сквозь пальцы, иное дело склонность к воровству.

Жители леса привыкли оставлять свое имущество без присмотра. У них нет ни запоров, ни дверей. Для особо ценных предметов в лесу есть тысячи укромных мест. Но к ним прибегают очень редко. Когда надо куда-то уйти, индейцы «запирают» хижину, переворачивая приступку ступеньками вниз. Этого достаточно, во всяком случае для самих индейцев.

А уж поле никак не запрешь.

Пока кражи ограничивались несколькими кукурузными початками, гроздью бананов или двумя-тремя плодами какао, ей все сходило с рук. Соплеменники бойкотировали Инее, Хаи-вер-ки-са ничего не замечал, во всяком случае не подавал виду. Его знали как славного и доброго человека, так стоит ли браниться с ним из-за какой-то мелочи.

Но когда у соседки пропала новая красная набедренная повязка, дело приняло другой оборот. Она поговорила с мужем, и муж пошел на реку, чтобы потолковать с Хаи-вер-ки-са, когда тот будет возвращаться с рыбной ловли.

Тихо, спокойно, как это принято у индейцев, он изложил суть дела. Хаи-вер-ки-са выслушал его и ничего не сказал, а только попрощался с ним и пошел прямиком к своей хижине. Вообще-то, конечно, бывает, что лесной индеец устраивает взбучку своей жене, но это большая редкость, и Хаи-вер-ки-са никогда даже в голову не приходило наказывать жену. Однако сейчас он был глубоко возмущен. Жена «очернила его лицо» перед соседями, а это для индейца едва ли не самое страшное. Он решительно приказал ей отдать ему украденное, чтобы можно было с кем-нибудь отослать владельцам их имущество. Великий позор, что говорить, но другого выхода нет.

Хаи-вер-ки-са нагнулся и взял палку из кучи дров, сваленных подле очага. По всем правилам, Инее должна была подчиниться мужу, и все было бы в порядке, его честь была бы спасена. Инее ответила отказом. И добавила, что если только он попытается ее принудить, если вообще не прекратит тотчас же этот разговор, она заберет детей и уйдет в деревню, к монашенкам. Они, священник и полиция уж как-нибудь сумеют защитить ее от «индос». Это слово она произнесла так, как его произносят креолы, словно оскорбительную кличку.

У энгвера дети принадлежат отцу с того дня, как их отнимают от груди. Дети — его душа, его имя, его кровь, его гордость, продолжение его существа. Хаи-вер-ки-са любил своих малышей, не исключая того горемыку, который не был его родным сыном.

Угроза жены заставила его стушеваться, после этого он пропал. С того дня в доме заправляла Инее, а она не собиралась возвращать украденного.

Вокруг семьи у Пурру-до образовалась пустота. Молча, без бранных слов и укоров, соседи порвали с ними всякие связи. Инее была очень довольна. Пускай уходят. Подумаешь, какие-то невежественные индос, которые не знают «Отче наш», не могут отличить букву «о».

Семья все чаще наведывалась в деревню. Снова священник и монашенки стали получать в дар рыбу и дичь. Когда Хаи-вер-ки-са удавалось подстрелить выдру или оцелота, шкуру относили торговцу. Инее покупала свечи, чтобы жечь их перед святыми образами, а остальные деньги сплошь и рядом шли в карман кабатчика. Хаи-вер-ки-са открыл, что ром бледнолицых действует куда быстрее невинного кукурузного пива. С ним можно даже на время забыться.

Однажды старший мальчик заболел. Знахаря поблизости не сыскать, врача в деревне никогда не было, и Инее поспешила за помощью к патеру. Разумеется, он не мог идти в лес чуть не за десять километров ради какого-то больного ребенка, но от него этого и не требовалось. Достаточно, если он помолится. Инее осталась в деревне, чтобы молиться вместе с патером, а отец тем временем ухаживал за маленьким больным, как мог. Когда Инее на третий день вернулась из деревни, Хаи-вер-ки-са стоял со склоненной головой перед свежей могилкой, и четверо испуганных, притихших черноволосых ребятишек жались к нему. Теперь Хаи-вер-ки-са надо было строить новую хижину. Когда в доме кто-нибудь умирает, полагается немедленно переезжать, иначе к вам могут наведаться злые духи. На этот раз Инее не возражала: она тоже верила в злых духов.

* * *

Мы вышли из лесу с Не-эн-саби, неся свою добычу — двух древесных индеек. У реки нам встретился старый знахарь. В засаде после переката он подстерегал выдру, но баберама прошла слишком далеко для его древнего ружья, и теперь он возвращался домой.

Мы сели втроем на поваленное дерево, чтобы покурить и немного отдохнуть. В эту минуту на берегу показался Хаи-вер-ки-са. Благодаря лесному телеграфу, мы уже знали, за чем он идет. Ему нужны были помощники строить новую хижину, дело это серьезное, на много дней, если браться как следует, одному

никак не справиться.

Не доходя до нас несколько шагов, он остановился и учтиво поздоровался:

— Ба-ри-са-муа!

Казалось, темные глаза знахаря стали обсидиановыми, утратив всякое выражение.

— Буэнос диас, сеньор Хосе, — старательно выговорил он испанские слова.

Секунду Хаи-вер-ки-са стоял молча, потом зашагал дальше. Он не сказал ни слова, но его прямая фигура ссутулилась, как у мужчины, который поражен копьем или ножом, однако старается не показать виду.

* * *

Это было примерно через неделю после Праздника кукурузы. Я вышел из дома задолго до рассвета и теперь тихо сидел с ружьем на удобных ветвях сурибио в нескольких метрах над землей. Подо мной, почти у самого дерева, протекала лесная речушка. А на той стороне, как раз на расстоянии выстрела, тянулся песчаный пляж. Маленькие лесные олени приходили туда на водопой на восходе и за час до заката. Я приметил их изящные следы накануне, охотясь на рыбу с луком и стрелами. Приметил также широкие отпечатки лап старого ягуара.

Прохладное росистое утро в лесу. Дневные краски еще не родились, меня окружает бесформенная масса из малахита и темного оникса, пахнет душистой смолой, гниющими листьями, орхидеями, жизнью и смертью. Мимо проносится на крыльях величиной с детскую ладошку бабочка калиго. Скрипят, свистят и квакают древесные лягушки. Светает. Уже можно различить стволы и ветви, видно круги на воде — это дорада схватила упавший в реку лесной плод, видно и следы оленей на противоположном берегу. За узким пляжем стоит высоченной стеной дремучий лес, прикрытый завесой из широких листьев бихао и плетей страстоцвета.

Кажется, что-то шевельнулось в зелено-желтом массиве? Я осторожно поворачиваю голову.

Вот опять! В маленьком просвете на миг показывается изящная головка оленя и тут же снова пропадает за листьями. Отчетливо представляю себе, как олень стоит и слушает, и нюхает, и смотрит, прежде чем выйти на берег, где он будет виден издалека.

Для дроби расстояние великовато, для пули в самый раз.

Значит, подожду с выстрелом, пока не увижу его как следует, чтобы свинец сразил оленя наповал, без мук и страданий. Иначе это будет не охота, а омерзительное убийство.

Но что за всплеск прозвучал там, выше по течению? На рыбу непохоже. Еще… еще. После первого всплеска олень окаменел. После второго тенью метнулся прочь между растениями, не дав мне хорошенько прицелиться. Ставлю курок на предохранитель и жду. По мелководью медленно шагает человек. В руках у него длинное черное копье для боя рыбы и свежий улов — связка кисабы. В ту самую секунду, когда золотистый утренний свет падает на пляж, он выходит на песок.

И я узнаю его: это Хаи-вер-ки-са.

Он лишен возможности охотиться, вынужден довольствоваться рыбной ловлей. Ведь только у знахаря можно получить не-ара, быстродействующий яд для стрел, без которого из духовой трубки лишь мелких пичужек бить. Ружье заложено у деревенского кабатчика. Порох, дробь, пистоны — все стоит денег, а чтобы добыть деньги, опять-таки нужны хорошие шкуры, да еще надо сперва рассчитаться с кабатчиком и патером.

У самой воды индеец остановился, положил на землю копье и рыбу и сел на пятки. Тщательно, не торопясь, вымыл руки и вытер их о выцветшую набедренную повязку. Потом поднялся и подошел к плотной стене пышной тропической зелени. Медленно, осторожно взял он пальцами стебель алого цветка, бережно, чтобы не повредить, отделил плеть от куста, поднес цветок к губам, повернув чашечку к восходящему солнцу, и легким дуновением послал пыльцу навстречу золотистым лучам. Затем положил плеть обратно на куст так любовно, словно это было драгоценное украшение. Несколько минут он постоял, не двигаясь, лицом к солнцу. Потом забрал свою рыбу, взял копье и пропал среди теней дремучего леса.

Хаи-вер-ки-са, вечно бездомный на рубеже двух миров, ни один из которых его не принимал, уединился в лесной глуши и тиши, чтобы приветствовать отцовских богов.

# Строительство завершается

Не звучит больше гулкий стук топора в бальсовом урочище у переката. Бревна срублены, очищены от сучьев и коры и сложены У воды. Ни много, ни мало — восемь толстых бальсовых бревен лежат в ряд. В глубокие зарубки в белесой древесине индейцы уложили крепкие поперечины и прибили их к бревнам рогатками из твердейшего дерева сурибио. Кроме того, они обмотали соединения лубом махагуа и прочно связали всю конструкцию длинными «лесными веревками» из расщепленных лиан анкла.

Во всем плоту ни одного гвоздя, ни единого куска металла. Все взято из леса. Инструмент — два топора да несколько мачете. А можно было обойтись одними мачете. Или каменными топорами и долотами из зубов капибары. Только ушло бы больше времени.

Старый охотник стоит и смотрит, как индейцы мастерят надстройку: платформу для сна из сапановых палок, с циновкой из волокон ирака, навес из тонких жердей, листьев бихао и луба, скамеечку и столик из тесаной бальсы, подставки, чтобы вешать узлы и корзины, боящиеся воды.

Плот вышел куда больше обычных, на которых перевозят кур, свиней, кукурузу и бананы, когда в селениях на реке открываются ярмарки с праздничными гуляньями. По правде говоря, это плот-люкс. Ну и что? Отсюда до самого моря ни сложных порогов, ни теснин, лишь кое-где широкие стремнины без коварных подводных камней. Шест, весло и руль — вот и все, что нужно, чтобы судно не врезалось в берег; к этому здесь сводится вся навигация. Об остальном позаботится сама река.

В это время года на реку можно спокойно положиться. Сезон дождей в ее бассейне кончился, разве что где-нибудь в горах опорожнится случайная тучка. Прошла вверх бокачико, завершая свое ежегодное пятисоткилометровое странствие от равнинных озер до предгорий Анд, а это верный знак того, что всерьез установилась засушливая пора. Лишь месяца через два склоны гор оросят первые ливни, открывающие малый дождевой сезон.

Четыре пары ловких смуглых рук настилают листья бихао, выпрямляют жерди, наматывают луб на сочленения, завязывают узлы. Внук Яри трудится вместе со всеми, умело и с большой охотой. Все сыты, все довольны. Индейцы с Зеленой реки привезли с собой изрядное количество молодой кукурузы. Сын Выдры добыл острогой здоровенного сома, а старик вчера под вечер подстрелил дикую свинью — ошейникового пекари.

Раненому уже намного лучше. За три дня антибиотики и

сульфадимезин в союзе с природным здоровьем победили инфекцию, раны начали заживать. Если и дальше так пойдет, старик послезавтра может трогаться в путь вниз по реке. Вообще-то никакой роли не играет, выйдет ли он днем раньше или днем позже. Теперь не играет. И куда приятнее будет плыть по реке, твердо зная, что его последний пациент в краю дремучих лесов поправляется.

А пища — что ж, с пищей вечная забота в сельве. Что-нибудь съедобное растительного происхождения всегда найдешь, правда, не много, прокормиться нельзя, особенно такой артели. Корни икаде, молодые побеги ирака, дикая маланга — голодная диета, если нет возможности охотиться и ловить рыбу. Не то, не то. Тропические фрукты? Они есть, но только не в дремучем лесу. Из тех, что здесь растут, мало какие годятся в пищу, да и не просто их отыскать. Сейчас, в засушливую погоду, тропический лес приветлив, однако лучше не доверяться этой приветливости. У нее есть границы, малейшая неосторожность — и она обернется своей противоположностью.

Один американец, поборник так называемой здоровой пищи, написал книгу о том, как он прошел от Дарьенского залива до Амазонки, питаясь исключительно дикими плодами и другими растительными продуктами леса. Этот человек был великий враль, он, скорее всего, в глаза не видел настоящей сельвы. Даже индеец не сумел бы совершить подобного перехода. На такой диете указанный путь можно одолеть только на самолете, захватив фрукты с собой.

Не богаты южноамериканские леса, даже самые глухие, и крупными мясными животными, никакого сравнения с роскошной фауной Африки или былыми стадами бизонов в Северной Америке. Конечно, дичь попадается. Тапиры — изредка, пекари, маленькие олени, медведи в горах, капибары вдоль рек. А кругом — трудно проходимая чаща, в которой звери мигом исчезают, почуяв опасность, и надо сказать, что они ее чуют загодя, как правило, раньше, чем вы успеете их обнаружить. Достаточно распространены обезьяны, грызуны и крупные птицы, но не всегда найдешь их именно тогда, когда они вам нужнее всего.

Лишь тот, кому на самом деле приходилось кормиться продуктами сельвы, знает, что это такое, и понимает, почему индейцы постоянно занимаются земледелием и рыболовством, тогда как охота для них случайное занятие, от силы подсобный промысел.

Лов рыбы в реках — дело более надежное, особенно теперь, в засушливую пору. Бывает, однако, так, что и рыбы не поймаешь.

# Голод

В полутора километрах выше слияния двух лесных рек, у веселого ручья с прохладной, чистой горной водой, стоит наша свайная хижина. Позади нас — горная цепь, впереди — долинка, в ней тут и там расчистки, малюсенькие просветы в сельве, на которых мы недавно посеяли кукурузу и посадили бананы. И кругом во все стороны простирается старый, матерый дремучий лес, каким он был еще до прихода индейцев. В зарослях сурибио, за расчистками, между деревьями-исполинами извиваются две мадресеки — высохшие каменистые русла.

За хижиной мы тоже расчистили клочок земли в несколько Десятков метров; с одной стороны он ограничен ручьем, с другой — подошвой горы. И здесь нами посажена кукуруза и разная зелень, как раз сейчас все пошло в рост. Сразу за огородом начинаются горы — крутые, лесистые гребни, разделенные глубокими ущельями. В ту сторону до ближайших соседей несколько дневных переходов. Сплошная глухомань, ни единой тропки, за день с топором пробьешься от силы километров на десять.

Мы пришли сюда слишком поздно и не успели как следует подготовиться к дождевому сезону. До сих пор дело ограничивалось отдельными ливнями, хотя и сильными, но короткими. Индейцы за рекой радостно улыбались и говорили о «кукурузном» дожде. Но сегодня назревает что-то другое. С севера, от простершейся за лесами саванны, ползут по небу тяжелые мрачные тучи. Свинцовые, грозные, они словно готовятся штурмовать темно-зеленый горный редут за хижиной.

Жарко, душно. Ходишь, и на тебя как будто что-то давит. Из дебрей плывут густые, насыщенные лесные запахи.

Летя в сумерках над долиной, тучи принимают облик леших, драконов, троллей. Между гребнями они сминаются, превращаясь в сплошной густеющий мрак. Первые молнии пронизывают сумрак огненными стрелами. Внизу воздух недвижим, ветер стих совершенно, ни один лист не колышется. Птицы примолкли, даже сверчков и цикад не слышно. Лишь река продолжает петь так тихо и нежно, что голос ее кажется прозрачным.

И тут в горах рождается глухое рычание. Оно как бы разрастается вширь и могучей волной катит вперед — все громче, все ближе, все басовитее, на миг почти затухает, но снова становится оглушительным ревом. Ближе, ближе, с треском ломающихся ветвей, с гулом падающих деревьев. Вот уже и нас захлестнуло. Темная пустота над хижиной наполнилась голосами.

Гиканье, вой, свист. Сидя под хрупким лиственным навесом, мы слышим будто лай исполинских собак, конское ржание, воинственные кличи вперемежку с гулкими звуками труб и рогов. Над лесом мчится псовая охота великанов. Под напором могучего урагана наша лачуга дрожит, как осиновый лист. Дрожит, но держится, хотя крыша ходит ходуном и столбы гнутся от порывов ветра. Мы затушили очаг и привязали все легкие предметы. Сколько это может длиться? Никто не знает. Ложимся навзничь на вибрирующие жерди пола, спасаясь от ветра, но все равно он нас треплет и дергает.

Еще один звук вплетается в общую гамму. Сперва будто кто-то бормочет, но бормотание перерастает в неистовый рев. Земля и небо стерты завесой чудовищного ливня. Дождь летит почти параллельно земле, врывается под стреху и хлещет нас, словно плеткой. Миг, и мы уже мокрые насквозь. Сбрасываем пропитанную водой одежду, оставляем только сандалии да пояс с мачете, на случай, если хижина развалится и выбросит нас в ревущий мрак.

Всю ночь свирепствует буря. Между ливнями молнии полыхают так часто, что нельзя сосчитать. Они выхватывают из тьмы терзаемые ветром деревья о обломанными ветвями. И снова ливень все стирает, снова мы слепы и глухи, отчаянно цепляемся друг за друга и за перекладину на сваях.

Наконец наступает утро. Ветер почти затих, дождь прекратился. В небе плывут рваные серые тучи, последние клочья от плаща неистового исполина. Сыро, влажно, пахнет гнилью и мхом. Свистопляска прекратилась, во всяком случае на ближайшие несколько часов. Но буря успела натворить достаточно бед.

Ручей у нашей хижины уже не назовешь ни маленьким, ни приветливым. И вообще это не ручей, а широкий бурый поток двухметровой глубины, полный ветвей, стволов и прочего лесного мусора. Он пенится, он ворчит. Мостика, разумеется, нет и в помине, а вброд перебраться немыслимо. И нам достаточно видеть этот ручей, чтобы представить себе, во что сейчас превратились Икаде-до и Данда-до. Мы их слышим, и этого довольно, даже если бы нам не были видны пенистые струи, которые резвятся под каучуковыми деревьями в ста шагах от того места, где обычно проходит берег реки.

Обоим сразу приходит в голову одна и та же мысль. Мы начисто отрезаны от всех людей, заточены на маленьком треугольнике суши между двумя реками и глухим горным краем. Мы предоставлены самим себе. Пока реки не войдут в свои берега, нельзя по ним плавать и нельзя связаться с индейцами.

Сколько продлится наше заточение? Этого нам никто не скажет теперь, когда начались большие дожди. В обычных условиях нас могла бы выручить рыбная ловля, сейчас это исключено. Можно ловить рыбу в реке, но не в затопленном лесу. Дичь, естественно, ушла от потопа в горы.

Тщательно проверяем наши запасы продовольствия. Около пяти килограммов риса, килограмм муки. Двадцать три початка кукурузы. Килограмм сахара, пять кило соли, полтора кило кофе, баночка чая, два литра свиного сала. Три грозди бананов, совсем зеленых, они еще даже для варки не годятся. Это все, на что могут рассчитывать два человека и две собаки, пока не изменится обстановка.

Ну что бы этой буре разразиться несколькими днями позже. Наши домашние животные — поросята, куры, индейки, утки — остались у индейцев на той стороне Икаде-до, и там же лежат продукты, закупленные нами в деревне: рис, соль, сахар, мука, несколько банок масла и прочее — итого три ноши, около семидесяти пяти килограммов. Сейчас они для нас так же недоступны, как если бы мы их хранили на Луне.

Жена испекла два блина и принялась по мере сил и возможности сушить наше мокрое имущество. Я смазал ружья, нацепил на себя мачете и пошел в лес, взяв дробовик и одну из собак вторую собаку оставил дома, чтобы жене не было скучно.

В долине пока всякая охота исключена. Остается только тащиться на гору. Вверх по крутым долгим склонам, где на каждом третьем-четвертом шагу надо пускать в ход мачете, чтобы проложить себе путь и пометить обратный маршрут.

Проходит час за часом. Лес будто вымер. Подстреливаю навскидку одного тинаму, мяса в нем побольше, чем в рябчике, да ненамного. Следов никаких, дождь все стер. Собака ищет, мечется туда-сюда, потом сдается и трусит следом за мной, мокрая, понурая.

Пополудни опять начинается дождь, редкий, но упорный. Поворачиваю и иду назад по своим следам. За час до сумерек я дома. Выпиваю чашку кофе, потрошу птицу и забрасываю удочку в ручей. Ловлю, пока видно, а весь мой улов — пять сомиков, самый большой весит от силы граммов двести. Сегодняшней добычи хватит на ужин и на завтрак, если добавить рису. Дождь продолжается. Вода в ручье спала на несколько дюймов, но река только еще больше разлилась.

Завтра выйду в горы пораньше, попытаюсь разыскать про павшую дичь. Ведь где-то она должна быть, хоть мне и не удалось выследить ее сегодня. Авось, завтра больше повезет.

Проходит завтра, и послезавтра, и послепослезавтра, и еще

много дней, и все дождливые, и каждый чуть голоднее предыдущего… Мы по-прежнему совершенно изолированы. Неизменно во второй половине дня начинается дождь и льет до следующего утра.

От охоты проку с гулькин нос. Иногда тинаму попадется, иногда лесной перепел, иногда голубь. Только один раз я подстрелил пенелопу. Потом выпал день совсем без добычи. Десять часов бродил я по лесу, наконец обнаружил высоко на дереве ленивца[48] и потратил на него три драгоценных патрона — все равно, какое мясо, лишь бы мясо! А ленивец, как назло, застрял на ветке в пятнадцати метрах над землей. Было совсем темно, когда я вернулся домой с пустыми руками.

С рассветом я уже был на месте. И убедился, что меня опередила пума. Хорошо поработала, оставила от ленивца кости, когти, да клочья шкуры. В этот день я добыл только тукана, из его темного мяса вышел жидкий супчик нам на ужин. К этому времени у нас оставалось около килограмма риса, полбутылки сала, самые зеленые бананы, которые от варки делались черными горькими. Половодье на реке не кончилось, а в ручье клевала одна мелюзга.

Наши силы были на исходе. Моя жена только что перенесла тяжелую малярию, она с трудом поднималась по приступке без моей помощи и большую часть дня вынуждена была лежать. Я еще мог ходить на охоту, но на длинных подъемах у меня подчас мутилось в глазах.

Наступил день, когда дождь не прекратился на рассвете, а продолжал нудно, упорно лить все утро. Не мечтал я о выходном, но отдых мне пригодился. Вот только сосущий голод не давал покоя. В мокрых кустах я отыскал несколько кузнечиков, взял самодельную удочку и пошел к ручью. Два часа прилежного лова принесли с полдюжины малявок, в обычное время они сгодились бы от силы на наживку для ловли рубиа. Теперь это была наша пища.

Возвратившись к хижине, я поставил удочку к дереву, взял нож и опустился на колени, чтобы очистить на колоде мою жалкую добычу.

И тут… Тихо прошелестели кусты, и шагах в пятнадцати от меня в ручей вошла самка оленя. Вот она, совсем рядом.

А оба моих ружья лежат в хижине.

Оставалось только одно: окаменеть и ждать, пока она пройдет мимо. Я не решался даже моргнуть. Застыл, изображая пень. Она миновала меня, достигла кустов между хижиной и ручьем и, продолжая шагать по воде, скрылась из виду. К счастью, у меня на ногах были остатки теннисных туфель на толстой

каучуковой подметке, лучшая обувь для бесшумной ходьбы. Как только олениха зашла за куст, я метнулся к хижине, в два прыжка одолел приступку, схватил двустволку и поспешил к прогалине в излучине ручья. Осторожно выглянув из-за кустов, я снова увидел ее, нас разделяло шагов двадцать, она уходила от меня.

То ли она меня все-таки услышала, то ли увидела — так или иначе олениха сделала мощный прыжок и вскочила на высокую бровку у опушки леса. Она еще не успела приземлиться, когда раздался мой выстрел. Это было все равно что бить птицу в лет. Я пересек вброд ручей и вскарабкался на влажный, скользкий уступ. Где же олениха! Нету, словно и не было ее. Но я мог поклясться, что попал в цель.

Собаки промчались мимо меня и ворвались в чащу. Минуты две было тихо, потом я услышал грубый голос Леона, и Баталья звонко затявкала. Напали на след! Описав небольшую дугу в зарослях, собаки продолжали гон по прямой, вверх по склону, и вскоре их голоса затихли вдали.

В это время кто-то показался на другом берегу ручья. Это моя жена, опираясь на палку, притащилась со штуцером, хотя ее ослабевшие руки не могли даже поднять тяжелое оружие для выстрела. Я помог ей перейти через ручей и подняться на бровку. Здесь мы остановились и стали слушать: может быть, гон повернет в нашу сторону.

Ни звука.

— Я мог бы поклясться, что попал в эту олениху, — сказал я с горечью.

Моя жена, ничего не говоря, смотрела на переплетение ветвей рядом с нами.

— А это что? — спросила она наконец.

Я шагнул вперед. Олениха… Убита наповал, голова и шея прострелены насквозь. Собаки встретили агути и погнались за ним. А она была убита в прыжке и упала, не оставив следов на бровке, поэтому они промчались мимо в нескольких шагах и не заметили ее. При мысли о том, что я сам чуть не прозевал добычу, мне стало страшно.

Когда собаки вернулись — они догнали агути и расправились с ним, — туша уже была разделана и висела около хижины. На сковороде шипели печень и почки. Мы ели очень осторожно, начали с нескольких маленьких кусочков. Только тот, кто ел свежее мясо после долгой голодовки, поймет, как это было вкусно. Двадцать раз повернешь во рту каждый кусочек, чтобы хорошенько им насладиться, прежде чем проглотить.

У ручья пировали собаки, которым достались внутренности. Моя жена поджарила еще мяса и сварила суп, а я засолил

большие куски и сделал подставку из палок, чтобы закоптить остальное на индейский лад. Соли на все не хватало.

В тот день наш обед затянулся надолго. Печень, почки, мясо, суп, мозговые кости — все казалось нам прекрасным. Потом мы выпили кофе и выкурили по сигарете, созерцая долину и речную террасу. Она снова стала приветливой и красивой. Выглянуло солнце, небо очищалось от туч. Вода в реке уже спала на целый метр. Мимо нас пролетели два ярких попугая ара, словно сине-красно-желтый фейерверк. Лучи вечернего солнца были цвета спелого персика. Запах гнили улетучился, теперь пахло свежеполитым цветником. На горе печально пересвистывались тинаму. На склоне над хижиной прозвучал резкий трубный клич пенелопы, и тут же чуть поодаль откликнулась другая индейка. Дичь возвращалась.

Нет, не могу сидеть без дела. Я взял длинный мачете и начал срубать им жерди.

— Ты что делаешь? — спросила жена.

— Хочу сколотить насест для кур, — ответил я. — Если вода в реке и дальше будет так спадать, послезавтра, пожалуй, смогу их привезти. Мне кажется, с яйцом блины вкуснее, а как по-твоему?

— Не будет тебе никаких блинов, пока мясо не доедим, — сказала она, изображая строгость, — так и знай, ненасытный обжора.

И я сразу понял, что жена идет на поправку, добрая пища пошла ей впрок.

Через два дня наши домашние животные были доставлены и размещены, весь провиант привезен из-за реки, кроме того, я выменял несколько корзин кукурузы для кур и индеек. В коптильне висела рыба, а еще через день я подстрелил у реки пекари.

Призрак голода был надолго изгнан из нашей хижины.

# Вниз по реке

Имангаи, сын Выдры, укрепляет на подставке последнюю корзину с имуществом. Погрузка закончена. Он еще раз ощупывает лубяную намотку и узлы. Смотрит вверх по течению, где под мерцающей от росы чадрой из листвы сурибио поет и журчит небольшой перекат, потом вниз — там гладкая поверхность воды тускло поблескивает сквозь предшествующую восходу редкую мглу. Одни лишь добрые признаки. Значит, можно и в путь.

Молодой индеец возвращается на берег, садится на камень у самой воды и снимает ожерелье с двумя баночками для краски, сделанными из пустых орехов. Сегодня ему нужна только черная краска. Он приготовил ее вчера вечером. Теперь он расписывает лицо косыми линиями и крестиками и двойными кольцами — знаками горя и смерти. Его товарищи сидят около шалаша и помогают друг другу гримироваться. Закончив раскраску, Имангаи смотрит на свое отражение в реке. Затем встает и подходит к белому, который сидит с сигаретой в руке на оставшейся в излишке бальсовой колоде, перед пустой миской из-под кофе. Они обмениваются взглядом. Молча. Зачем говорить, когда понимаешь друг друга без слов.

Старик встает. Он ощущает внезапную усталость, в последнее время это с ним случается все чаще.

У ног старика лежит что-то, завернутое в синюю материю. Он развертывает узелок и подзывает индейцев. Каждый из четырех — сын Выдры, сын Ястреба, сын Оцелота и внук Яри — получает по новому мачете в бахромчатых ножнах; еще он дает троим строителям по новому сверкающему ножу. Сверх того они получают рыболовные крючки, нержавеющие поводки, свинец для грузил.

И наконец он поднимает с земли синюю материю и протягивает ее индейцу с Зеленой реки.

— Отдай жене, — говорит он. — А эта коробочка с желтым порошком для ее брата. Пусть посыпает им раны до тех пор, пока они совсем не заживут.

С минуту индейцы молча рассматривают подарки. Потом идут к навесу и возвращаются с терпеливо вырезанными из твердых лесных плодов звериными фигурками, диковинными куколками из бальсы, на которых соком генипы нанесен магический узор, опахалом из волокон ирака для раздувания огня, изящно сплетенной корзинкой.

Приняв и погрузив на плот подарки, старик берет в руки

шест. Поворачивается и смотрит на четверку молчаливых краснокожих.

— Когда я буду идти под звездами вниз по большой реке, — говорит он, — я буду думать о моих сыновьях и их отцах. Думать добрые думы, которые отгоняют зло.

Маленькие смуглые люди оживляются, услышав древнюю формулу: так прощался знахарь со своим племенем.

— Когда мы будем работать на наших полях, или ловить рыбу в реке, или сидеть в наших хижинах, мы будем думать о нашем отце, — отзывается Имангаи, сын Выдры.

Потом нагибается и отвязывает лубяную веревку, которой плот привязан к торчащему из земли корню.

Старик упирается в дно шестом и толкает. Течение подхватывает плот, разворачивает его и несет к излучине за деревом караколи. Дойдя туда, старик оглядывается назад. Четверо в траурном гриме стоят на том же месте, только внук Яри сходил за барабаном и теперь сидит, положив его на колени. Под его руками барабан оживает, и летит в зеленые дали весть:

«Дзизора уанья до-намаэрре пуза-ин» — (Старый человек спускается по реке к морю).

Проходят часы. Текут километры. Солнце давно взошло, оно уже вытерло росу и испарило утреннюю мглу. Река становится шире и степеннее, течение — медленнее. Сейчас шест не нужен. Старик может сидеть под навесом из листьев бихао и править длинным веслом. Достаточно держать плот подальше от берега и избегать топляка, на котором бакланы и змеешейки просушивают расправленные крылья после утреннего лова рыбы.

Одна за другой впереди взлетают цапли. Огромные серо-голубые магдаленские цапли, белые цапли: большие — с желтым клювом и малые — с черным клювом, черными ногами и светло-желтыми, будто чужими, пальцами. Маленькие, щуплые, голубые флоридские цапли и их белые годовалые птенцы, оперение которых еще не приобрело пеструю переходную окраску. Кваква сидит неподвижно на ветке и только провожает плот взглядом. Выпь каннабис беззвучно шмыгает в высокую траву на безлесном участке.

Отсюда начинаются выпасы. Лес сведен топором и огнем поселенца. В первый год пал принес хороший урожай, на второй год — посредственный, на третий почва уже была истощена. Поселенец стал сражаться с голодом. Уступил за гроши свои права на участок богатому скотоводу, ушел в лес и принялся снова рубить и сечь. Его ранчо было в сто раз хуже легких индейских хижин, дети его росли в постоянном недоедании, больные малярией, неграмотные — росли те, которых смерть не

скосила еще в младенчестве.

Покуда шло освоение равнины, удобной для скотоводства, годовой цикл мало менялся. Правда, дождей с каждым годом становилось меньше, но это никого не беспокоило, лишь бы хватало воды для скота. Низменность превращалась в саванну, во время дождевого сезона она все еще зеленела тучными пастбищами, однако с каждым засушливым периодом все больше высыхала и выгорала. Потом равнинной земли для возделывания стало не хватать. Поселенцы начали вторгаться в долины между холмами и кряжами. Здесь тысячелетиями жили и возделывали землю индейцы. Они расчищали маленькие клочки. Чтобы почва не истощалась, сажали вместе с кукурузой бобовые — так научил их опыт отцов. Взяв все от расчистки, возвращали ее сельве. Поселенцы поступали иначе. Они жгли и рубили лес без разбору, обнажали берега рек и склоны крутых холмов. Обращались с деревом, как с врагом. Наступал сезон дождей, и начиналась эрозия. Здесь земля истощалась еще быстрее, и крупные скотоводы на нее не зарились.

В стране, которая меньше полувека назад была одной из самых богатых в мире благородными древесными породами, стал ощущаться недостаток в деловом лесе. Поселенцы продолжали рубить махагонию, седрелу, лаурель комино. И жечь ее: кому выгодно возить лес, когда дорог нет и в помине.

* * *

Речка становится еще шире, еще мельче. Новый поворот, и вот впереди заблестел поток поразмашистее, от берега до берега добрых сто метров. Поле зрения расширяется, и весь вид становится Другим теперь, когда берега расступились. Вблизи ни леса, ни холмов — простор для взгляда. Плот увлекает размеренное течение главной реки.

Сплошные пастбища кругом, лишь тут и там высятся одиночке деревья. Старые строптивые великаны, не поддавшиеся ни огню, ни топору. Стоят, как памятники прошлого, удерживают позицию, да недолго им еще стоять. На песчаной отмели у берега важно расхаживает аист ябиру. В голубом поднебесье кружит скопа — совсем такая же, какую старик больше полувека назад видел над лесным озером в краю своего детства.

Большая река катит свои воды дальше широкими извивами. Бальсовый плот на ней, как былинка. Лишь изредка приходится подгребать рулевым веслом, чтобы держать нос прямо по курсу. Об остальном заботится сама река.

За новой излучиной — новый вид. Река повернулась чуть ли не вспять, и за буреющими пастбищами и обезлесенными холмами старик теперь видит дикие кряжи, предгорья Западных Анд. Могучие голубые хребты волна за волной теряются в синих туманах. Слава богам, они еще покрыты настоящим, исконным лесом. Андские леса — высокая сельва. Снова рождаются воспоминания.

# Высокая сельва

На склоне за свайной хижиной, на дереве воладо гукает маленькая сова. В прибрежных зарослях поблизости звучит какой-то шорох. Похоже, что кто-то бежит через кусты по сухим, прелым листьям. Три-четыре скачка, и животное — скорее всего, это агути — уже под защитой высокого леса за расчисткой. Там посвободнее, легкий шелест — и снова тихо.

Тихо, если не считать металлического трезвона цикад, кузнечиков и сверчков. Этот звон будет длиться до тех пор, пока сюда не дотянутся лучи солнца.

Тихо.

Но вот что-то зашевелилось у очага. Мелькает блик света: кто-то подложил дров и принялся махать опахалом из пальмового листа, раздувая головню, которая тлела в золе со вчерашнего вечера. Головня не простая, дерево особое, оно может тлеть несколько суток, сохраняя жизнь огню. Ярче, ярче, и вот уже по сухому полену заплясали язычки пламени. Различаю бурый потолок из пальмовых листьев и смуглую женщину, которая сидит на пятках и терпеливо раздувает огонь в очаге. Молодая хозяйка дома, жена Не-эн-саби. Вот она поставила на три очажных камня глиняный горшок с кукурузным кулешом и вешает рядом на деревянный крюк мой основательно побитый котелок.

Летучий отсвет пробуждающегося огня играет на темно-коричневом, с черными мазками копоти от дыма коническом своде, ложится на пол из темно-серых пальмовых брусьев, на столбы из светлого дерева балаустре, на развешенные повсюду корзины и калебасы со всякой мелочью, которая накапливается даже в индейском хозяйстве за месяцы и годы. Темно-коричневые духовые трубки, блестящие черные луки и остроги висят на стропилах рядом с удочками из белых прутьев мангалеты и матово-черными колчанами из бамбука и кожи муравьеда.

Гениальная постройка эта свайная хижина индейцев чоко, всецело сделанная из материалов окружающего леса. Она кажется легкой и хрупкой, пол буквально покачивается под ногами, а на самом деле прочность и гибкость ее таковы, что она может противостоять самым яростным бурям тропической сельвы. Хочется сравнить свайную хижину с живым существом, во всяком случае пока в ней кто-то постоянно обитает и между тремя камнями очага горит огонь.

У индейцев чоко заведено так, что, если кто-то из семьи умер, остальные тотчас переселяются, а заброшенная хижина служит

обителью душе покойного. Во время моих странствий я иногда ночевал в таких лачугах. Но это бывало только, когда я ходил один: индеец лучше устроится под открытым небом. И даже мне, хотя я отнюдь не мистик и к тому же никогда не был чрезмерно впечатлительным, пустая, покинутая хижина представлялась мертвой, и не так, как беспризорный дом белого человека, а по-настоящему мертвой. В ней сумрачно, сыро, даже костер не может ее оживить. Утратив живую упругость, она быстро превращается в груду преющего хвороста. Приходится вампирам и большим темно-коричневым скорпионам, которые вселились к покойному, чтобы составить ему компанию, искать себе другое убежище.

Но эта хижина — я в ней гощу не первый день — еще живая и приветливая. На нарах по краю пола заворочались неясные фигуры. Встаю, надеваю пояс с ножом и мачете, беру фонарик. Мне полагается первым спуститься к ручью для утреннего туалета.

На этот счет есть строгий порядок. Во-первых, я старший из мужчин, во всяком случае единственный, у кого уже появились седые волосы, во-вторых, я некогда был усыновлен старым могущественным знахарем. Правда, мудрый Мари-гама два года, как умер, но кто поручится, что он не передал какие-то из своих тайн приемному сыну, который, хотя и не может считаться полноценным хаи-бана биа, иногда все же исцеляет больных и явно совсем не боится злых духов…

Так судят мои смуглые друзья, и зачем мне их переубеждать? Пользуясь их взглядами, я порой могу помочь им, если случилась беда и нужны скальпель и шприц. Словом, обувайся — и к ручью, чтобы после тебя остальные могли умыться в свою очередь.

Выйдя на берег, застаю врасплох ползущую вверх по лиане длинную древесную змею Oxybelis. Луч фонарика заставляет ее замереть, и она тотчас обращается в лиану. Бурое тело змеи чуть толще моей шариковой ручки, но тоньше указательного пальца. Зато длина изрядная: около полутора метров. Посчитав, что я веду себя слишком назойливо, змея поворачивает ко мне свою заостренную голову и разевает щучью пасть, но это показной жест. Ее короткие ядовитые зубы расположены совсем глубоко, чуть ли не в глотке, она не может ими как следует укусить. Яд — его совсем немного — достаточно эффективен против еще меньших змей и ящериц, но для человека вряд ли опасен. Я сужу так потому, что меня дважды кусали представители этого вида, и никаких последствий не было.

Поскольку я уже заспиртовал один экземпляр, а в банках мало места, отпускаю змею с миром и вхожу по пояс в прохладный, чистый горный поток. Еще темно, но до рассвета

осталось уже немного. Над кронами деревьев на востоке мерцает Венера. С мокрыми волосами поднимаюсь обратно в хижину. Одна из женщин ставит передо мной миску с дымящимся кофе.

Кофе, табак и соль — моя слабость, роскошь и в то же время звено, связующее с миром, который простирается за лесами и реками. Они да еще полдюжины книг в прорезиненном мешке, что висит над моим ложем. И кроме того, ружье (трехстволка, два ствола 12 калибра для дроби, третий для пули), патронташ, походная аптечка, бритва, фонарик, бидоны с консервирующей жидкостью, обувь на резиновой подметке, да несколько защитных рубах и брюк, которые мне здесь в лесу ни к чему. В остальном мое снаряжение вполне могло бы сойти за индейское, исключая разве рыболовные крючки с поводком из нержавеющей стали.

В хижину поднимается До-чама — «речная выдра». Получает миску кукурузного кулеша и выпивает его. Затем подходит ко мне и тихо спрашивает:

— Уанда ми, м'бебр? Катума-да?

— Ага, м'бебр. Уанда ми.

Вот и готова рабочая программа на сегодняшний день, ведь здесь охота считается работой. Мы пойдем в горы. Дальше все зависит от того, что нам попадется. Выдра снимает со стропил духовую трубку, колчан и мачете, а я протираю стволы и проверяю содержимое патронташа. Десяток дробовых патронов, пять с пулей. И достаточно. Расточительность неуместна, когда до ближайшей лавки неделя пути.

Жидкий рассвет просачивается сквозь древесные кроны, когда мы молча поднимаемся по длинному склону в безлюдный горный край, служащий водоразделом между истоками Тарасы и Сан-Хорхе. Один за другим звонкие птичьи голоса начинают приветствовать новый день. Среди круч за рекой звучит глухое, низкое рычание, словно какой-нибудь грозный зверь злобствует от того, что мрак рассеялся прежде, чем он успел завершить свой кровавый ночной обход.

Я невольно улыбаюсь про себя. Это всего-навсего рыжие ревуны устроили утренний концерт, а ревуна уж никак не назовешь диким и кровожадным. Нет в сельве животного миролюбивее и симпатичнее, чем груа, как их именуют краснокожие, разве что большая черная паукообразная обезьяна. Эта стая от нас далеко, по меньшей мере километра два в сторону от пути нашего следования, и я этому рад. Мои друзья-индейцы большие любители обезьяньего мяса, они всегда уговаривают меня стрелять по ревунам, а у меня рука не поднимается убивать это безобидное существо, которое к тому же так медлительно, что уложить его ничего не стоит.

У овражка посередине склона До-чама останавливается и показывает на глубокий отпечаток между сухими листьями на красном латерите.

— Данда хено. Ноэда ке-вара — (Тапир прошел вчера поздно вечером).

Энгвера берет след, как охотничий пес, я следую за ним в нескольких шагах.

Солнце уже часа два как взошло, когда мы выходим на горное плато, но воздух в глубокой тени под пологом леса еще прохладный и по-утреннему свежий. Мы почти неслышно ступаем по толстому ковру опавшей листвы, мало-помалу превращающейся в почву. Высокий лес сейчас безмолвствует. Идем как будто под сводами исполинского храма, и стволы лесных великанов высятся вокруг нас, точно колонны. Ни один звук, ни один отголосок не нарушает угрюмой, величественной тишины, царящей в этом полуподвале природы.

Лишь изредка до нас сверху доносится что-то вроде шепота. В зеленом пологе в тридцати метрах над нашими головами жизнь бьет ключом. Там поселился лесной народец, любители солнечного света. Там играют, оплодотворяют друг друга, размножаются и умирают все эти красочные обитатели верхнего яруса: птицы, Древесные ящерицы, бабочки, жуки и цветы, прелесть которых мы, привязанные к земле, не можем оценить в полной мере.

Эти дети солнечного света и лунного сияния не опускаются на сумеречную, влажную лесную подстилку. Вся жизнь их проходит на кронах, лишь изредка на землю падает какой-нибудь фрагмент их безвестного бытия, и мы видим редкостное перышко, лепесток цветка, отливающее радугой крылышко бабочки.

Лесная подстилка с виду мертва — груда мусора, кладбище растений и животных. Однако если стоять совсем тихо и хорошенько приглядеться, можно и тут обнаружить жизнь. Просто она заимствует краски у коричневых стволов и увядшей листвы. Вон тот сухой, бурый сучок на молодом деревце — вовсе не сучок. Это очень подвижное насекомое длиной около двадцати пяти сантиметров, так называемый палочник. Стоит ему заметить вблизи малейшее движение, как он замирает, вытянув две-три ножки, словно веточки, и неподвижно ждет, пока не минует опасность. А диковинный узкий листик на той лиане — на самом деле тин-комиа — богомол. Темно-коричневая ящеричка ползет вокруг древесного ствола. В ямке между корнями жаба с узкой темной полоской вдоль спины, похожей на жилку увядшего листа, прижимается к земле и замирает, чтобы мы ее не заметили. Между ветвями словно обрывок лианы висит Bothrops schlegeli,

бурая плоскоголовая древесная змея с цепким хвостом.

Перед нами с земли вспархивает что-то почти невидимое, пролетает несколько метров, выписывая ленивые зигзаги, и вдруг исчезает, будто уходит в другое измерение. Если бы я как следует проследил, где именно произошло исчезновение, пожалуй, я отыскал бы пропавшее существо, ведь оно всего лишь село и замерло. Существо это — бабочка, но бабочка без красок. У нее почти нет чешуек, из которых сложены восхитительные узоры на крылышках ее родичей там наверху, под солнцем. Крылья этой бабочки, из рода Cithaeris, прозрачны, как тончайшее стекло, если не считать едва уловимого голубого оттенка, который различим лишь на белом фоне, да жилок, проступающих тонкими черными ниточками.

Толстый ковер из гниющей листвы тоже кишит жизнью. Крохотные жучки, тысяченожки длиной всего два миллиметра, паучки и едва различимые невооруженным глазом краснотелки, всякие клещи и прочая мелюзга, обитающая на увядших листьях, между ними, под ними. С микроскопом я мог бы обнаружить, что эта мелюзга, эти живые крупинки — чудовища и великаны в фантастическом мире, где несчетные мириады бактерий и других микроорганизмов неустанно трудятся, обращая в прах остатки былой жизни, чтобы они могли стать основой будущей новой жизни.

Отвлекаясь мыслью от этого подземного царства бытия и переводя взгляд на пятна голой земли среди прелой листвы, я вижу следы крупных ночных бродяг. Здесь прошли пума и ягуар, тапир и ошейниковый пекари, олень и медведь, гигантский муравьед[49]. А теперь здесь оставляем следы мы — два охотника.

Индеец энгвера, отделенный всего несколькими поколениями от эпохи, которую вернее было бы назвать деревянным, нежели

каменным, веком, и которая тем не менее создала такие маленькие технические шедевры, как свайная хижина и духовая трубка с отравленными стрелами. Человек, могущий в любую минуту расстаться с набедренной повязкой и мачете, шагнуть обратно в деревянный век и благополучно в нем жить. И белый, «длинноногий гот», который, не в пример своему товарищу, утратил исконную связь с природой и теперь пытается наладить с ней взаимопонимание нового рода, совсем непохожее на то, что составляло суть мировоззрения его предков в смутные стародавние времена, прежде чем пришло христианство и уничтожило зародыши культуры, предвещанной в песнях Эдды.

Вдвоем мы выслеживаем тапира, зверя, чье место, собственно, в миоцене, это больше десяти миллионов лет назад, в то время наши предки еще не спустились с деревьев на землю и не

научились ходить на задних ногах. Выслеживаем поразительное существо, которое не вымерло только в двух самых древних областях дождевых лесов на земном шаре: индомалайской и южноамериканской.

Строго говоря, мы охотимся за ним по разным причинам. Моему товарищу нужно мясо, побольше мяса, чтобы он мог расчищать кустарник и сажать кукурузу много дней подряд, не тратя лишнего времени на охоту и рыбную ловлю для прокорма семьи. А мне очень хочется узнать, обычный ли это южноамериканский равнинный тапир или крупный Tapirella bairdi[50], который считается обитателем Центральной Америки, однако доходит до северных предгорий Западных Анд. Во всяком случае, его встречали на Сину. Впрочем, по правде говоря, и я не отказался бы от сочного, мягкого жаркого!

До-чама нагибается и показывает: след вдруг изменил направление. Скупые жесты индейца для меня не менее красноречивы, чем изреченное слово:

— Данда вернулся через водораздел… спустился к истокам Пена… по этому следу нет смысла идти дальше… лучше пойдем напрямик обратно… может быть, нам еще что-нибудь попадется.

Я одобрительно киваю. Индеец свое дело знает. Слова не нужны. За много лет охоты в обществе смуглых жителей леса я твердо усвоил, что в лесу не положено болтать.

Па-ку-не, лесная женщина, этого не любит, и не стоит без крайней нужды привлекать ее внимание. А то еще приглянется ей охотник, и она навсегда заточит его в своей зеленой обители, если «хаи» — дух-хранитель охотника, не сможет дать ей отпор. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. В южноамериканской сельве лучше делать так, как делают индейцы, пусть даже у вас другие побуждения.

Меняем курс и идем вдоль узкого гребня по старой звериной тропе. Ни До-чама, ни я не ходили здесь прежде, но судя по солнцу этот путь должен привести нас домой. Внезапно тропа кончается, через несколько минут кончается и гребень. Он просто обрывается у наших ног. Некогда здесь был обвал, и вот результат: почти отвесная скальная стенка высотой метров пятьдесят — шестьдесят. Мы останавливаемся над обрывом. Перед нами ложбина. По уступам крутого противоположного склона сбегает ручей, исчезая под зеленым лиственным пологом. Мы глядим сверху на кроны. В ложбине стоят старые высокие деревья, великаны сельвы: воладор, альмендра де монте, чибога. Но больше половины составляют караколи — великолепные деревья, известные науке как Anacardium excelsum. Как всегда, караколи увиты и усажены эпифитами, лианами, бромелиевыми и

всякой всячиной, имени которой я не знаю. А еще там есть нечто такое, при виде чего я цепенею в благоговейном молчании. Цветущие орхидеи Cattleya. Не две-три штуки, к тому же наполовину скрытые в ветвях, как я привык их видеть, а десятки, сотни. И тут же рядом их прекрасные сестры: Cypripedium, Odontoglossum… О бессилие слов!

Май — месяц новых дождей, месяц ураганов и орхидей. И мне как раз в мае посчастливилось увидеть цветущий лесной полог сверху, каким его видят королевский гриф, и хохлатая гарпия, и белошеий сокол. Синяя искрящаяся морфо порхает среди королев цветочного царства в двадцати метрах подо мной.

Мы долго стоим молча. Потом индеец поворачивается и идет обратно вдоль гребня, я следую за ним. Лишь когда мы снова выходим ца знакомую тропу, он глядит на меня и говорит:

— Хаи-поно — (Цветы духов).

И хотя я не верю ни в духов, ни в богов, ни даже в тех кумиров, которых сам сотворил, мне нечего ему возразить.

Километр за километром… Наступает самая знойная и тихая пора, когда вся жизнь замирает. В этот час жарко даже под пологом сельвы. До-чама и я устраиваем привал. Мы нашли водную лиану и напились из нее, но сперва передохнули и остыли немного, а иначе сколько ни пей, все тут же выйдет потом. Теперь сидим на поваленном стволе на краю небольшой речной террасы и ждем, когда спадет зной и животные снова начнут двигаться. Вдоль реки тянется старая тропа, по ней до стойбища можно дойти часа за два. Во второй половине дня больше шансов встретить на этой тропе дичь и вернуться домой с мясом.

Снова мой товарищ обращается к жестам. У него есть предложение. Он думает подняться на гряду и идти вдоль гребня параллельно реке, чтобы поискать на горе обезьян, пока я буду следовать по нижней тропе. Так вдвое больше надежд что-нибудь раздобыть.

Хороший план. Я тихо ударяю кулаком по ладони в знак одобрения. До-чама улыбается; вообще он не из улыбчивых. Потом встает и беззвучно исчезает. Ему идти в два раза больше моего, зато он в отличие от меня наделен умением лесного жителя двигаться так же быстро и бесшумно, как окружающие его тени.

Я выкуриваю самокрутку и тоже трогаюсь в путь. На этой террасе есть солонец, у него почти всегда можно встретить дичь. К солонцу спускается одна из охотничьих тропок индейцев. Собственно, тропы нет, а есть тут и там на ветвях и тонких деревцах старые зарубки. Путь выбирали очень просто, по принципу наименьшего сопротивления, чтобы не надо было

пробиваться шаг за шагом, орудуя топором или мачете.

Иду не спеша, время от времени останавливаясь, чтобы посмотреть и послушать. Ходить медленно и тихо, смотреть в оба и держать ухо востро — одно из первых правил охотника в сельве. Самое трудное здесь — обнаружить дичь, разглядеть зверя в беспокойном смешении зеленого, коричневого, серого. Нередко, первым увидев охотника, зверь попросту затаивается и ждет, пока человек пройдет мимо. Конечно, животные иногда обращаются в бегство — чаще всего, когда им кажется, что они обнаружены. Если двигаться тихо-тихо, можно услышать зверя раньше, чем он вас заметит, тогда преимущество на вашей стороне.

Как раз сейчас я слышу что-то. Не стрекот и не ворчание, а нечто среднее. Это токует самец гокко, и он должен быть близко, ведь его странную, негромкую любовную песню слышно в лесной тиши от силы на две сотни шагов. К токующему гокко подбираются примерно так же, как к глухарю. Быстро делаешь два-три длинных шага, пока он «стрекочет», потом застываешь на месте и прислушиваешься.

Выглядываю из-за ствола и на краю поляны вижу птицу. Крупный Crax alberti, величиной с глухаря, сидит на горизонтальной ветке метрах в трех от земли, почти как раз над «эль сала-до» — солонцом, неровным овалом песчаной почвы, из которого сочится минерализованная вода. Теперь только незаметно подойти к следующему толстому стволу, и цель будет в пределах досягаемости моего ружья. Из этого гокко выйдет хороший обед для всех нас, больших и маленьких. Наконец я у выбранного дерева, выглядываю из-за него, поднимаю трехстволку… и опускаю ее.

У солонца собрались бидо, целое стадо. Бидо — большие белогубые пекари. Они менее распространены, чем маленькие ошейниковые пекари, и предпочитают нетронутые тропические дебри, где их не так тревожат люди. Зато белогубых редко увидишь маленькими группами по шесть — восемь штук, как ходят их меньшие сородичи. Они собираются в стада от десятка до сотни, даже нескольких сотен голов и неустанно рыщут по дебрям в поисках корма. Во время сезона дождей они почти всюду могут найти что-нибудь съедобное: корни, личинок, червей, ящериц, змей, всякую падалицу. Они отъедаются, нагуливают жир, почти как домашние свиньи, и тогда нрав у них совсем миролюбивый.

Другое дело в засушливую пору. С кормом туго, за ним приходится далеко ходить и бидо редко едят досыта. Белогубые пекари становятся тощими, грязными, неопрятными, и в это время нет в лесу зверя злее. Похоже, они даже превращаются

иногда в хищников, во всяком случае, олени и ошейниковые пекари при виде их обращаются в паническое бегство. Но и тогда они сами на человека не нападают, однако готовы дать отпор и сразу идут в атаку, дай только повод. Сейчас, в начале малого дождевого сезона, пекари еще худые и, вероятно, весьма раздражительные.

Очень медленно и очень осторожно делаю несколько шагов в сторону, чтобы получше видеть солонец. Длина прогалины — метров двадцать пять, ширина — двадцать, посередине светлый песок, по краям бурый ил, тут и там серыми пятнами лежат опавшие листья. Возле самого источника яма, в ней купаются несколько пекари. Некоторые развалились в мутной воде, видно только голову и часть спины. Другие стоят во весь рост, пьют, ищут личинок в земле. Бидо по природе ночные бродяги в отличие от ошейниковых пекари, которые активны днем. И сейчас у белогубых часы отдыха.

Стараясь не шуметь, перезаряжаю ружье, заменяю птичью дробь оленьей. Затем проверяю пути к отступлению. Когда стреляешь по белогубым, будь готов к тому, что они могут всем стадом броситься на тебя, и уж тут их ничто не остановит, разве что автоматическое оружие.

Вижу слева ветровал, нагромождение стволов и оборванных лиан, над которым свисает толстый сук. Как раз то, что мне надо. Почему-то в сельве очень трудно найти удобное для лазания дерево, особенно когда в нем больше всего нуждаешься.

Медленно отхожу в ту сторону и, забывшись, пересекаю поляну так, что меня замечает гокко. Гул жестких крыльев. Птица срывается с дерева и шумно летит над солонцом. Пекари выскакивают из ванны и стоят, подняв голову и навострив уши. Смотрят, принюхиваются. Если я теперь выстрелю, они как пить дать бросятся на меня.

Кто добывает себе пропитание в сельве, всегда должен быть готов схватиться с недовольным медведем или крупной кошкой.

**д0 только глупец попытается отразить атаку стада белогубых пекари.**

Шаг за шагом к ветровалу… Оттуда до пекари будет метров сорок, для пули в самый раз, но, прежде чем открывать огонь, мне надо подойти шагов на десять — двенадцать поближе к намеченному мной спасительному суку. Подойти так, чтобы свиньи меня не увидели и не учуяли. Их тут много, я вижу штук сорок, да, наверно, в лесу за солонцом еще есть.

Часть пути к ветровалу меня прикрывают молодые деревца, дальше остается метров восемь по открытому месту. Что ж, буду

стрелять из-за последнего деревца.

Резкий, пронзительный визг ошеломляет меня. Из кустов что-то выскакивает и мчится прямо на мои ноги. Косматая туша, голова с щелкающими острыми клыками. Приклад трехстволки сам вжимается в плечо, и нападающий хряк с шести метров получает заряд в лоб, дробинки даже не успевают рассеяться.

Пекари с ходу делает кувырок и падает, а мои длинные ноги уже несут меня бегом через прогалину. Прыжок на бревно, на другое, одна рука хватается за лиану, вторая за сук, несколько секунд — и я сижу на удобной, надежной развилке в пяти метрах над землей, перезаряжая ружье.

Я вовремя отступил, потому что у солонца — тревога. Хряки воинственно носятся по подлеску, а свиньи и поросята сбились в кучу. Два хряка чуть не спотыкаются о своего подстреленного товарища. С минуту стоят на месте, обнюхивая его и вытекшую из раны кровь. Потом, громко хрюкнув, бегут дальше, словно ищут укрывшегося врага. Судя по тому что они не берут мой след, ведущий к ветровалу, чутье у них не ахти какое. То, что пекари не видят меня в моем укрытии, менее удивительно: дикие звери редко смотрят вверх, если они сами не древолазы.

Не обнаружат меня — тем лучше! Не то устроят еще настоящую осаду, а мне бы хотелось до ночи вернуться домой с мясом.

Вдруг откуда-то со склона до меня доносятся странные, размеренные звуки. «Тапп-тапп-тапп-тапп, тапп-тапп, тапп-тапп». Четыре-два-два, четыре-два-два. Словно кто-то стучит палкой по сухой вибрирующей ветке. В первую секунду я теряюсь, потом меня осеняет догадка. До-чама услышал мой выстрел и теперь дает мне знать, что находится неподалеку, на случай если я в нем нуждаюсь. Очевидно, он напал на след стада и идет сюда.

Не спеша прицеливаюсь в самую жирную свинью и всаживаю ей пулю сразу за лопаткой. Сам я, может быть, и не донес бы до дома такую добычу, но мой товарищ До-чама, хоть он мне едва по плечо, не боится никакой ноши, особенно если это мясо. Выстрел действует как повторный сигнал тревоги, но воинственность хряков заметно поумерилась. Наконец пекари собираются вместе и быстро уходят вдоль реки вверх. Возглавляют шествие старые грозные секачи, за ними, с небольшим промежутком, трусят свиньи и поросята.

Пусть идут с миром. Конечно, я бы не прочь присовокупить к моей коллекции череп старого секача, но, живя вместе с энгвера, приучаешься убивать не больше того, что можешь съесть и сберечь, иначе недолго и потерять доброе расположение и дружбу индейцев.

Стадо скрывается в лесу за солонцом. Слышно, как перекликаются свиньи, издавая странные, визгливые звуки. Потом все стихает, но я сижу на своей ветке еще минут десять, прежде чем слезть, подойти к кабану, прислонить ружье к дереву и начать разделку туши. Около солонца До-чама уже потрошит свинью. Из луба махагуа и крепких лиан делаем лямки и взваливаем ноши на спину. Я кладу лямки на плечи, индеец обвязывает их вокруг лба. Начинается долгий и трудный путь домой. За полчаса до заката сбрасываем добычу на берегу возле хижины. Дальше ею займутся женщины. Пока они разрубают и коптят мясо, мы, охотники, можем искупаться.

До чего же славно лежать в чистом теплом ручье, подставляя ласковым струям усталые ноги и ноющие плечи. А потом подняться в свайную хижину, сесть, удобно прислонясь спиной к толстому столбу, и неторопливо выкурить сигару.

Да еще эта добрая душа, Хаи-кари-ума, позаботилась обо мне, сварила кофе. А там и обед готов. Мясо, печень, маниок — все сыты, довольны, день выдался удачный. Но что лучше всего: впереди еще много дней до того часа, когда придет пора мне сказать «до свидания» и отправиться вниз по реке в мир бледнолицых.

# Рубеж саванны

Плот причален лиановой веревкой к торчащей из воды макушке поваленного дерева — могучей сейбы. Река подрыла бровку, на которой стоял великан. Во время сильного ливня несколько лет назад берег обрушился и безжалостно сбросил дерево в разбухший, бушующий поток. И поплыло оно вниз по реке, пока не дошло сюда, где в то время простиралась широкая песчаная отмель. Короткие жесткие корни сейбы зарылись в песок, ствол развернулся кроной по течению и застрял здесь, как на якоре. Вторым якорем стал воткнувшийся в дно обломанный толстый сук. Постепенно река нагромоздила целую баррикаду вокруг комля, а под кроной вырыла яму. В сезоны дождей, в разлив буйные водовороты тянули и дергали сейбу, в засуху палящее солнце калило части дерева, торчащие над водой. Ствол и ветви слиняли, стали серыми, обветренными. Утром и вечером очковые кайманы и речные черепахи, а иногда и крокодил взбираются на широкое бревно погреться на солнце. Нередко бакланы и змеешейки после утреннего лова рыбы рядами сидят и отдыхают на ветвях и, расправляя крылья, просушивают свое темное оперение. Причудливые пестрые панцирные сомики и тонкие, как лезвие ножа, слизистые крысохвосты, отдаленные родичи электрического угря, нашли приют под кроной, в лабиринте обломанных сучьев и гниющих ветвей, а под комлем поселилась злющая водяная змея Helicops с двойным рядом черных пятнышек вдоль темно-серой спины.

С тех пор как сейба застряла здесь, река дважды меняла русло, не считая непрерывных изменений дна и берегов. Однако эти перемены оказались недостаточными для того, чтобы топляк оказался на суше или совсем ушел в песчаное дно. И все же благодаря им отмель переместилась, и ниже излучины появилась глубокая заводь. Тяжелый ствол погрузился еще больше.

Старик на плоту добрался сюда час назад, когда солнце завершало вторую треть пути от зенита до ровного горизонта саванны. Зачалил свое судно за дерево, расстелил на палубе гамак, натянул полог от комаров и принялся удить. Сначала — на маленький крючок с кусочком мяса, чтобы добыть хорошую приманку, потом — на крючок погрубее, наживленный сомиком, у которого удалил шипы спинного и грудных плавников.

И вот клюнул багре бланко, большой плоскоголовый сом, с черными полосами по бокам бледного брюха. Он расстался с водой без сопротивления и превратился на сковороде в «чичаррон де багре». Огонь горит в ящике с песком, нижняя часть которого

погружена в воду. Из остатков багре получилась насадка для **двух ставных** удочек. Потом старик сварил себе котелок кофе и предался созерцанию.

Сколько хватает глаз — никакого жилья. Пастбища, небо, да несколько деревьев, еще не павших от топора. И далекие голубые горы. Ястреб на дереве, две цапли на берегу, стайка водорезов, которая проносится мимо, вспенивая воду.

И река. Его река. Могучая, спокойная, от берега до берега два штуцерных выстрела.

Крупная рыба поднимается к поверхности саженях в двенадцати от плота, лениво изгибается и исчезает, на миг показав над водой длинный и тонкий плавниковый луч. Но и без него, по типичному движению безошибочно опознаешь большого тарпона. Он поднимался сменить воздух в плавательном пузыре. Стало быть, этот огромный представитель сельдевых все еще доходит сюда, до рубежа саванны. Одно время казалось, что тарпон в этой стране тоже обречен, но теперь появилась надежда спасти его для будущего. Впрочем, это уже другая история.

У нижней излучины, где в широкую реку неторопливо вливается маленький приток, стоят, почти скрытые диким хлопчатником и **рищгаусом**, развалины лачуг. Крыши из пальмовых листьев давно обрушились вместе с источенными термитами гнилыми стропилами. Лишь несколько толстых столбов из твердого, не поддающегося гниению дерева лаурель-комино еще торчат из земли, к ним льнут остатки покосившихся камышовых стен, обмазанных серой известкой. Возле развалин береговой уступ подрыт и срезан рекой. Три дождевых сезона назад он обвалился, и поток унес большую часть того, что было когда-то деревушкой. Поля превратились в пастбища. Там, где некогда десять нищих семей отвоевали у сельвы клочки земли для кукурузы, риса, маниока и бананов, один асьендадо, владелец двадцати тысяч гектаров земли, пасет два десятка коров и быков.

Лет двадцать назад граница леса еще доходила сюда, до Тьерра Сайта. Но и тогда это был единственный участок, где к реке спускался клин нетронутой сельвы шириной несколько километров. С каждым годом лес оттесняли в горы, и теперь до него десятки километров голой степи. Да и клин сельвы продержался так долго только благодаря затянувшейся тяжбе из-за земли, которую во времена испанской колонизации отняли у индейцев и даровали некоему благородному кабальеро, обязав его сделать из исконных владельцев христиан и рабов. Покуда длилась тяжба, никто не мог изгнать ни поселенцев, ни лесорубов, раз в год сплавлявших вниз по реке огромные плоты из красной седрелы и других пород драгоценного дерева,

которого тут было предостаточно.

А дальше произошло неизбежное. Лес теснили до тех пор, пока он не отступил от деревушки — горстки беспорядочно разбросанных лачуг — на много километров. Когда самые дорогие породы вырубили, тащить к реке бревна и доски стало невыгодным. Лесоторговцы исчезли, и с ними исчезла возможность для поселенцев приработать что-то в неурожайные годы.

Скотоводы выкупили землю у некоторых поселенцев. Вернее, они уплатили только за «улучшения», ведь сама земля, так решил в конце концов суд, теперь принадлежала им. Поля засеяли травой и превратили в пастбища. У бедняков не было никаких бумаг на право владения землей, в которую они вложили столько лет труда и которая успела истощиться без удобрений, не считая участков у самой реки и ее притока, где разливы оставляли немного ила. Как хочешь, так и выкручивайся. Поселенцы были зажаты между владениями скотоводов. Либо получай выкуп и уходи, либо оставайся на своем клочке и перебивайся впроголодь, либо, если ты крепко сидишь в седле и достаточно покорен, иди на службу к богатым вакеро.

Для тех, кто уходил, имелись две дороги: первая — вдогонку за лесом, где их ждало то же, что было в Тьерра Санта, вторая — в города, где еще не хватало промышленных предприятий, чтобы принять растущее количество сельских жителей, лишенных земли и дома.

Старик на плоту осторожно выколачивает пепел из любимой трубки, потом проверяет удочки. Сомики и крысохвосты съели наживку, придется добывать новую. Живая насадка лучше всего. И вот уже пойманы два подходящих колючих сомика. Теперь осторожно укрепить их на крючках и забросить в глубокую заводь. Дальше остается только ждать.

Солнце тронуло горизонт на западе, небо — кровь и розы. Мимо проносятся белые цапли, на миг становясь алыми, когда их подкрылья окрашивает вечерний луч. Вместо ястреба на дереве на берегу сидит маленькая длинноногая пещерная сова из тех, которые гнездятся в норе под заброшенным термитником, где-нибудь повыше, куда не доходит разлив.

Смеркается. Над самой водой носятся большие летучие мыши. Как это ни покажется странно, они ловят рыбу. Их задние ноги оснащены очень большими когтями и соединены с хвостом и между собой кожной складкой, образующей нечто вроде сачка, которым удобно выхватывать из реки мелкую рыбешку. Летят кваквы, чем-то напоминающие огромных ночных бабочек. Скоро и их уже не различить во мраке, только слышны иногда каркающие

голоса.

Узкий лунный серп серебряной лодкой висит в небе над рекой и саванной. В преданиях индейцев это пирога, на которой плывут по небосводу духи.

Недалеко от плота по поверхности воды расходится серебристый клин. Старик достает карманный фонарь. Конус электрического света падает на острие клина, и там загорается огонек. Похоже на темно-красный уголек или на тлеющий кончик сигары в темной комнате. Глаз водяной змеи был бы похож на звездочку, глаз очкового каймана — на большой ярко-красный рубин. А вот такой багровый отсвет рождается лишь при встрече электрического луча с глазом крокодила.

Человек на плоту протягивает свободную руку за штуцером, засунутым между узлами. И вот блестящее дуло смотрит туда же, куда направлен круглый фонарик. Серебристая мушка ищет и находит светящийся глаз. Большой палец подает вперед предохранитель, указательный касается курка. Несколько миллиметров, легкий нажим — и длинная острая пуля устремится к цели со скоростью, в два с половиной раза превышающей скорость звука.

Но выстрела нет. Старый охотник запирает предохранитель и кладет ружье на колени.

Крокодил, убитый в воде, сразу тонет и всплывает под действием газов обычно лишь на следующий день. Поди, угадай, где именно он всплывет, в скольких километрах ниже по течению. Чаще всего тушу находишь, уже когда полным ходом идет разложение и над ней трудятся стервятники. Большой крокодил становится редкостью, кое-где он совсем истреблен, поговаривают о том, чтобы запретить охоту на него. Так зачем убивать животное, от которого тебе все равно никакого проку. Другое дело, если бы он напал.

Крокодилы этой реки всегда пользовались дурной славой. Тридцать лет назад люди не решались вечером спускаться к реке, чтобы умыться. Это считалось опасным для жизни — и не без оснований. Даже двадцать лет назад тут еще водились очень крупные экземпляры, и тогда никто не отважился бы спать на плоту.

Теперь острорылых крокодилов стало так мало, что их стараются не трогать; да и кайманов заметно поубавилось.

Луч фонарика провожает красный глаз вниз по реке, пока уголек не тонет в следующей заводи. Старик кладет на место фонарь и ружье и раскуривает свою трубку. Потом сидит и смотрит на звездный бал светлячков над хлопчатником у развалин деревни Тьерра Санта. Когда-то он здесь гостил. Тогда

около деревни проходила конная тропа, и Мануэла Санчес сдавала койки проезжим. **Мануэла Санчес и Паблито.**

# Паблито

Педро Санчес появился в Тьерра Санта в конце второй мировой войны. Прежде он работал в приморье, в пакгаузах Ковеньяса, куда пригоняли со всей саванны скот для вывоза в воюющие страны. Усердный человек мог там неплохо заработать, и Педро прилежно трудился и копил деньги.

У него была мечта жизни: хуторок. Небольшое, но свое хозяйство, которое после него достанется сыну. Об асьенде он и не помышлял, в первом поколении без стартового капитала это просто неосуществимо. А вот добротный дом и немного скота, чтобы семья жила прилично и не знала голода, чтобы не было так, что только-только концы с концами сводишь, — это представлялось ему вполне возможным. И будет хоть какое-то наследство первенцу, Паблито.

А война подходила к концу, и в один прекрасный день Педро оказался без работы. Фирма перестраивалась. Педро и его жена устроили совет. Потом забрали свое имущество и отправились к рубежу саванны, поближе к сельве, где еще можно было обзавестись клочком земли без денег.

В Тьерра Санта у Педро был дядя, Гумерсиндо, которого он не видел много лет. Естественно, он туда и поехал вместе с женой и сынишкой. Если дядя хорошо обеспечен, глядишь, и поможет племяннику на первых порах, в крайнем случае хотя бы посоветует, где лучше обосноваться. И они на самом деле застали старика Гумерсиндо Санчеса в Тьерра Санта, в ветхой лачуге на берегу реки. Его первая жена умерла много лет назад, а когда он снова женился, дочь и оба сына ушли от него, крепко повздорив с мачехой. Года через два вторая жена тоже ушла к мужчине помоложе, захватив с собой из вещей Гумерсиндо все, что могла унести. Хозяин не мог ей помешать, он лежал без памяти в приступе малярии.

Теперь старик Гумерсиндо почти все время проводил на реке, сидел и ловил рыбу, а его полями завладели сорняки. Работать мотыгой, лопатой и мачете старик больше не мог. Иной раз и возьмется, но кончалось это всегда одинаково: у него начинала кружиться голова, и он шел в тень отдыхать. Гумерсиндо попросту изнемог от хронической малярии и частого недоедания с детских лет.

Некому было доглядеть за его нехитрым хозяйством. Одна рыба из реки, да кусок-другой волокнистого маниока с огорода — вот уже и целый пир, такое он не каждый день мог себе позволить. В особо торжественных случаях Гумерсиндо удавалось

выменять на сома покрупнее две горсти соли или несколько листьев табака, из которого он дрожащими руками скручивал маленькие корявые сигары калилья. Свою латаную-перелатаную одежонку он сам стирал в реке с мыльным корнем, что рос на песке у притока. Обуви он уже много лет не носил.

Так обстояли дела, когда Педро, племянник, явился сюда со своей семьей — женой Мануэлей и годовалым сынишкой Паблито, который висел, закутанный в тряпку, на материнской спине. Мануэла несла на голове большущий узел: циновки, полог от комаров, одежду. Остальное имущество лежало в заплечной корзине отца семейства. Да еще топор на плече и длинный мачете в самодельных ножнах.

Сосед Гумерсиндо привел их к пустой лачуге. Старик, как обычно, ушел на реку. Мануэла села на старую, надтреснутую ступу для кукурузы и дала мальчугану грудь — у жителей саванны принято кормить детей грудью до двухлетнего возраста, — а Педро пошел искать дядюшку. Вскоре мужчины вернулись, правда, без рыбы, но это теперь не играло роли. Молодые привезли с собой сушеного мяса, соли, кофе, два килограмма желтого сахара и многое другое.

Мануэла подвесила гамачок Пабло, затем, не мешкая, принялась убирать и стряпать. В старой развалюхе, где много лет никто не наводил порядка, словно вихрь закружился. Потом она пригласила мужчин к столу, и старик Гумерсиндо увидел такую роскошь, о какой давно уже и не мечтал. Суп, мясо, рис, кофе с сахаром… Ему казалось, что он вдруг очутился в царстве небесном.

На следующий день Гумерсиндо повел Педро смотреть участок. Племянник без лишних слов пустил в ход свой длинный мачете и проработал до самого заката. Через два дня земля дядюшки была расчищена, деревца и кусты срублены, заготовлено дров на несколько дней. Педро притащил во двор сухих бревен, разрубил и расколол их топором. Утром третьего дня Педро отправился на разведку в лес. Уже в полутора километрах от деревни стеной высилась сельва, здесь еще хватало места и можно было найти неистощенную почву. Педро разметил подходящий участок, прилегающий к одному из полей Гумерсиндо, и приступил к работе. Было самое благоприятное время года, только что кончились дожди, лес вдоль опушки уже начал подсыхать.

Сперва предстояла «соколада». Другими словами, надо было срубить весь подлесок — молодые деревца, папоротники, лианы и прочее, что составляет нижний ярус сельвы.

Расчистив всю площадь между высокими деревьями, Педро

взялся за них. С утра до вечера его топор стучал по подножиям лесных великанов. Это тяжелый труд, он требует немалых усилий. Педро рубил и рубил, обливаясь потом. Попьет воды с желтым сахаром и снова рубит. Он знал толк в этом деле, не валил подряд дерево за деревом. Надрубит до половины или побольше, даст подсохнуть на корню несколько дней, а уж потом берется за ключевое дерево — такое, которое в падении может захватить с собой десяток других. Тут надо действовать с умом: ключевое дерево валить на подрубленного соседа, чтобы они вместе упали на третье дерево, и так далее. Смотришь, и рухнул весь лес на площади в четверть гектара.

В тот год выдалась долгая засуха. Педро расчистил около трех гектаров и оставил сохнуть срубленные стволы, чтобы сжечь их перед самым началом дождей.

Пришел срок, когда он больше не решался валить лес: ведь если стволы не успеют высохнуть раньше дождевого сезона — вся работа насмарку. Но дел хватало, он срубил всю молодую поросль, которая успела подняться на старых участках, и принялся заготавливать материал для нового дома.

Крепкие угловые столбы из лаурель-комино с такой твердой древесиной, что топор еле берет, промежуточные столбы из черного древовидного папоротника, стропила и балки из ароматной коричневатой седрелы. Не счесть, сколько охапок листьев стройной «пальма амарга» ушло на кровлю, сколько лиан было потрачено на вязку, но Педро весело трудился от зари до зари. Мануэла охотно помогала ему носить листья, сплетать лианы, не отказывалась и от другой, посильной для нее работы. Разумеется, надо было думать и о сегодняшнем дне, чем-то кормить семью. Правда, Мануэла выкопала на старых полях немного маниока и бататов, а старик Гумерсиндо прилежно ловил рыбу, но этого не хватало. И Педро приходилось не меньше двух дней в неделю работать с артелью лесорубов, которые поднялись по реке из соседнего селения, чтобы заготовить бревен, напилить досок из седрелы и ногаля и сплавить все это вниз, когда начнет прибывать вода.

Доски пилили вручную. Обопрут бревно седрелы одним концом на помост из толстых жердей, один человек станет на бревно, другой — на землю под ним, и тянут длинную пилу. Работа была сдельная, платили с дюжины досок, и слаженные, опытные пильщики могли за день осилить и тройную норму.

Первым напарником Педро был Гуальберто, чернокожий парень из Чоко на берегу Тихого океана. Работник хоть куда, но и выпивоха изрядный. С субботы до вторника от него не было проку, Все эти дни он по большей части спал, а Педро тем

временем корпел на своей расчистке или на постройке дома. Он-то вел умеренную жизнь, ради своей мечты во всем себе отказывал, ни гроша не тратил на спиртное. И Педро начал присматривать себе другого напарника.

Это было не так-то просто. Пильщики, как и старатели в горах, отгородившись от нужды несколькими ассигнациями, сразу чувствовали себя богачами и ударялись в запой.

Им не давал покоя голод. Не острый голод, который может удовлетворить плотная трапеза или женщина, а голод скрытый, неотступный, рожденный многолетней нехваткой белка и витаминов. Им упорно чего-то недоставало, они редко ощущали полное довольство. К концу напряженной трудовой недели тайный голод организма все сильнее давал себя знать, и они пытались утолить его алкоголем. А уж как начнут пить, не успокоятся, пока хмель не перейдет в беспамятство.

Педро жилось лучше, чем другим. Мануэла умела готовить и не пренебрегала зеленью. Выращивала лук, помидоры и разные приправы на маленьких грядках около лачуги, на полях Гумерсиндо собирала папайю и маленькие зеленые лимоны. В свободные часы она тоже прирабатывала — стирала лесорубам, иногда стряпала для них, а на вырученные деньги покупала кур и петушков. Яйца большей частью продавала, но иногда и мужу перепадало яйцо к рису и маниоку.

Подобно большинству метисок, Мануэла была прилежная труженица. От природы молчаливая, с виду даже замкнутая, она, однако, унаследовала мягкое индейское чувство юмора, и на ее улыбку было радостно смотреть.

Педро был квартерон. Во всяком случае, в его жилах текло больше европейской, чем африканской крови, да еще, вероятно, несколько капель индейской. Когда три расы смешиваются без разбору несколько десятков лет подряд, не сразу поймешь, что получилось. Невообразимая смесь генов уже породила новый тип, который постепенно выкристаллизовывается все отчетливее. Педро смеялся чаще, чем жена, возможно, унаследовал что-то от легкого нрава приморских негров, но в глубине души был достаточно настойчивым и серьезным. Уж если решит что-нибудь, будет упрямо, неуклонно добиваться своего.

С началом сезона дождей пришел конец дополнительным заработкам. Лесорубы ушли вниз по реке на огромных плотах. К тому времени Педро завершил подсечку, да и в дом в общем-то можно было въезжать. Большая, вместительная постройка возникла между рекой и притоком на бугре, возвышающемся на несколько метров над равниной, на которой сгрудилась деревушка.

Педро раздобыл лопату и окопал дом канавой, чтобы был сток для дождевой воды, потом принялся рубить осоку для стен. Каркас и крышу он уже соорудил, только стен настоящих еще не было, одни перегородки из бамбуковой щепы. Два закутка: один — для молодых, второй — для Гумерсиндо. Нары из пальмовых жердей. В остальном постройка была открыта всем ветрам, но это дело поправимое, было бы время. Сперва очаг надо огородить двумя стенками, а там и дальше пойдет. Если достанет времени и сил, можно даже соорудить отдельно маленькую кухоньку в стороне от дома, все-таки меньше опасность пожара. Но это дело не срочное. О том, чтобы настилать пол, никто и не помышлял. Деревянный пол — это же уйма работы, и ведь не успеешь оглянуться, как заведутся мыши да крысы, не говоря уже о скорпионах и патокильях, маленьких курносых, плоскоголовых гадюках, больших охотниц до мышей. Можно, конечно, сделать цементный пол, но это для «лос рикос» — толстосумов. Педро и Мануэлу земляной пол вполне устраивал.

Куда важнее подготовить насесты для кур и загоны для свиней, которых они собирались завести, как только будет корм для домашней живности. У Педро еще сохранилась большая часть сбережений из Ковеньяса. Этих денег должно было хватить и на поросят, на рабочий инструмент. Но прежде всего надо было отсеяться. Как только пошли всерьез дожди, Педро и Мануэла посадили кукурузу и рис, не нуждающийся в затоплении. Происходило это так. Муж шел впереди и делал острой палкой ямочки в земле, жена следовала за ним и клала в каждую ямку по несколько зерен. Перед этим кукуруза ночь пролежала в мокрых свертках из листьев бихао, что ускоряет ее прорастание. Так предки Мануэлы сажали кукурузу тысячи лет до прихода белого человека, и колонисты не видели нужды что-либо изменять. Пожалуй, они просто не представляли себе, что могут быть другие способы.

Возможно, они слышали про машины для посева и уборки и про иные нововведения, но не приняли эти слухи всерьез. Машины стоят больших денег, только богатые могут себе позволить такой расход, беднякам он не по карману. К тому же в глубине души они считали, что смысл всех новинок в том и заключается, чтобы сделать богатых еще богаче, а бедных — беднее.

Отсеявшись, Педро начал сажать бананы. Он еще раз расчистил старый участок Гумерсиндо, все равно от него было мало проку, и выкопал ряды гнезд в трех метрах друг от друга. Один из соседей дал ему двести саженцев, а Педро обещал отработать. Вскоре все саженцы выстроились в аккуратные

шеренги. Пройдет год — и можно собирать крупные твердые платанос, пригодные для варки и жарки.

Обычные съедобные бананы ямайского типа не пользовались любовью жителей саванны, которые называли их «киниентос». Почему-то их здесь считали вредными, особенно сырые, и предпочитали печь или варить незрелыми, как мучные бананы.

Пока что все шло хорошо, однако Педро этого было мало. Как только кукуруза дала ростки, он посадил между ними фасоль, как обычную коричневую «фрихоле», так и лимскую «хаба». У индейцев исстари было заведено для улучшения почвы сажать фасоль вперемежку с кукурузой. Сверх того он посадил маниок, ямс и батат. У Педро была легкая рука, все посаженное и посеянное шло в рост. К сожалению, не одно. Лес все время пытался отвоевать потерянное. Что ни день, пробивалась поросль кустарников, деревьев и всевозможные сорняки, как будто они сознательно вознамерились задушить молодые культурные растеньица. Поселенец знал лишь одно средство борьбы с сорняками: мачете. Знай руби с утра до вечера, пока твои зеленые питомцы не подрастут настолько, что смогут сами управиться с большинством Дикарей.

Решив эту задачу на своих участках, Педро перешел на поля соседей и вскоре рассчитался за двести банановых саженцев. Соседи на первых порах присматривались к новичку, но быстро убедились, что он и его жена люди славные и работящие; правда, кое-кто немножко завидовал Энергии молодого поселенца.

Кончился малый сезон дождей, его сменила «веронильо» — малая засуха, скупые на осадки недели июля и августа. А когда пошли большие дожди, у нового дома уже были готовы две стены из длинных, толщиной в большой палец, стеблей осоки, да и третья стена наметилась.

И можно было собирать молодую кукурузу, чокло, сладкие зерна которой — подлинная отрада для жителей саванны. Четверо обитателей домика сразу ощутили прилив свежих сил, отведав плоды своего первого урожая.

Паблито ел, рос и набирался сил; да он и прежде не был хилым. Здоровый, достаточно упитанный мальчуган, он почти всегда был веселым и добрым. Обычные детские болезни его миновали, он даже малярией не болел, потому что Мануэла по вечерам прятала его от комаров под полог.

Зато старик Гумерсиндо заметно сдавал. Когда позволяли силы, он с утра пораньше отправлялся на реку со своими удочками, но силы позволяли все реже, и это его мучило. Ему так хотелось помочь молодым, которые пеклись о нем, кормили его, снабжали табаком, стелили ему чистую постель. Мануэла стирала

и чинила его тряпье, ставила все новые пестрые заплаты, и в конце концов никто уже не мог определить, какого цвета были первоначально его рубашка и брюки.

Педро и сам в будни носил латаную одежду, но у него хоть имелся аккуратный, чистый выходной костюм для национального праздника и иных торжественных случаев. У старика осталось лишь то, в чем он ходил. Но он не жаловался. Старый бедняк, который больше не может как следует трудиться, должен быть рад каждому куску, каждой ночи, проведенной под крышей. Но душа болела, стыд его терзал. Поэтому Гумерсиндо чурался всяких праздников. Хватит мочи дотащиться до реки — хорошо, нет — сидит на своей кровати. Услышит, что кто-то идет, скорей забирается под истрепанный полог и делает вид, будто спит.

В один прекрасный день Педро купил себе место на большой грузовой лодке и повез в соседнее селение четыре мешка кукурузы. Вернулся он через несколько дней, и сам помогал толкать шестом лодку против течения, чтобы оплатить перевоз своих свертков. Он истратил все деньги, вырученные за кукурузу, и большую часть сбережений из Ковеньяса, но не выбросил их на ветер.

Мешок соли, мешок комковатого желтого сахара и множество других приобретений, главным образом семена и саженцы. Сахарный тростник, кофейные саженцы, бобы какао, два молодых апельсиновых деревца. Два поросенка, петух, шесть кур. Два рабочих мачете, лопата, кирка, топор, два стальных наконечника для копалок. Жестяная керосиновая лампа. Свиное сало для жарки. Материал на платье, ножницы, иголки, две катушки ниток и дешевые бусы из цветного стекла для Мануэлы. Фуражка для Паблито. Не был обойден и Гумерсиндо. Он получил рыболовные крючки, проволочные поводки, леску, сигарный табак, спички и самое главное — рубаху и брюки. Одежда была дешевая, из грубого материала, зато чистая и целая. Совсем новая!

На следующее утро, пока Педро и Мануэла, чувствуя себя богачами, хлопотали по хозяйству и размещали домашних животных, старик побрел к реке удить рыбу. Одет он был, как обычно, в старое тряпье, но удил новой дорогой снастью.

Подошел час обеда, Мануэла приготовила рис и кукурузный кулеш. Поджарить на второе сушеной говядины, которую муж привез вчера? Или может быть старик что-нибудь добыл? Да нет, вряд ли, а то бы уже пришел домой.

— Педро! — крикнула она мужу, который укреплял загон для свиней. — Спустился бы к реке, посмотрел, может, твой дядя что-нибудь поймал?

Педро снял на землю оседлавшего старую ступу Паблито,

который не расставался с новой фуражкой, и отправился к любимому месту Гумерсиндо. А вот и он сидит в тени под лимой на берегу. Видно, с клевом все в порядке, вон как леска натянулась. Но почему он ее не вытащит? Педро поспешил к старику.

Гумерсиндо обмотал конец лесы вокруг дерева и крепко держал ее. У него было какое-то напряженное бледное лицо.

— Тяни-ка ты, племянничек, — сказал он слабым голосом. — Мне с ней не справиться, уж больно велика. Багре пинтадо. Только ты осторожно, чтобы не сорвалась.

Педро Санчес взялся за лесу и начал ее выбирать. Это было не так-то легко, приходилось порой немного отпускать, но в конце концов он все же вытянул на траву здоровенного полосатого сома и колотил его по голове тупой стороной мачете, пока сом не перестал биться.

— Вот это рыбина! — радостно улыбнулся Педро. — Ну дядя, ну молодчина!

Старик Гумерсиндо приосанился.

— Сколько я помню, такого багре в нашей деревне не видали, — сказал он. — А как с солью, Педро, хватит, чтобы засолить и засушить то, чего сразу не съедим?

— Есть соль, целый мешок. Но что за рыба, клянусь небом! Да она подлиннее вас будет, дядя, и весом не меньше. Ладно, пошли домой, пусть Мануэла зажарит нам к рису чичаррон де багре.

Они просунули палку через жабры великана и поволокли его домой, и вся деревня собралась посмотреть, когда разделывали сома, и каждый получил по куску на пробу. Альваро Перес, деревенский торговец, мечтал об ухе и предложил за голову бутылку рома из своих запасов.

— Вообще-то я спиртного не потребляю, да и племянник его не жалует, — ответил Гумерсиндо. — Но для такого случая можно сделать исключение. Неси уж сразу две бутылки, дружище Альваро. За вторую я заплачу деньгами.

Едва Перес ушел, как старик побрел в свою старую лачугу и начал копаться в одном из углов. Через некоторое время он вернулся с небольшим глиняным горшком. Крышка была замазана смолой. Гумерсиндо откупорил горшок и показал свое сокровище. Всевозможные старые монеты, большинство — прошлого века. Тяжелые серебряные полпесо, монетки в два с половиной сентаво времен Новой Гренады, даже один испанский реал. В общем и целом доллара на три, хотя какой-нибудь нумизмат, возможно, дал бы и больше.

Гумерсиндо отсчитал деньги за ром торговцу и отложил их в карман, а остальное протянул Педро.

— Пусть лучше они хранятся у тебя, племянничек, — сказал он. — Это на велорио — мои поминки.

Потом он отделил серебряную испанскую монету и добавил:

— Кроме этой, она самая ценная, мне сам патер сказал. Ее получит Паблито на счастье.

Пришел Альваро Перес с бутылками, старик расплатился с ним, потом спустился к реке, искупался и вернулся, одетый во все новое.

Семья уселась на новой скамье около дома и воздала должное рису и жареному багре, а после праздничного обеда Гумерсиндо поднес Педро и Мануэле рома. Окончив трапезу, старик отправился в свой закуток, чувствуя себя богачом, который может позволить себе и побездельничать. Близилось время ужина, когда Мануэла пошла будить старика. Через секунду она вернулась белая, как простыня.

— Пойди сюда, Педро! — позвала она.

Педро посадил на землю Паблито и вошел в дом следом за женой. Гумерсиндо Санчес лежал на кровати совсем неподвижно, в новой рубахе, в новых брюках. Он навсегда расстался со своими старыми лохмотьями.

Жители Тьерра Сайта устроили старику Гумерсиндо достойные поминки. Ведь он сам поймал рыбу и купил ром, было чем потчевать гостей. Возможно, он с этой мыслью и умер, потому что на лице покойного была улыбка. Старика похоронили на горке у реки. Педро сколотил бальсовый крест на могилу. И жизнь в Сайта Тьерра потекла дальше своим чередом.

Наступила засуха, и снова появились лесорубы, но теперь Педро редко с ними работал, он все силы обратил на то, чтобы расчистить еще земли. Он мог себе это позволить, собрав добрый урожай кукурузы и риса и зная, что все остальное, посаженное им, растет на славу. Если и дальше так пойдет, года через два он будет неплохо обеспечен на местную мерку. Будет вдоволь еды для семьи, вдоволь кукурузы и бананов для откорма свиней, возможно, рис на продажу и пастбища для одной-двух коров, чтобы обеспечить молоком детей — Паблито и следующего.

Мануэла с трудом справлялась со всеми своими делами, она ждала второго малыша к концу засухи. Ни она, ни ее муж не разбирались в тонкостях ограничения рождаемости. Они знали только, что священники осуждают это и называют смертным грехом. У большинства колонос семья прибывала каждый год, но до одной трети детей умирало в младенчестве.

В деревне прошел слух, что наконец-то вынесено решение по тяжбе о земле. Один проезжий сказал об этом Альварито Пересу. Дескать, на двери алькальда в ближайшем городе, до которого

было полтораста километров, висело объявление о том, что «всякий, претендующий на какие-либо права в пределах спорного района» должен в такой-то срок явиться в земельный суд, чтобы подтвердить обоснованность своих претензий. Когда об этом узнали жители Тьерра Санта, срок подачи заявлений давно истек. И теперь богатый асьендадо, дон Антонио Ольмос, считался законным владельцем всех земель на той стороне реки, где помещалась деревня, на три километра вверх и вниз от устья притока.

Поселенцы не придали этому большого значения. Они знали, что есть особое постановление, так называемый закон Лопеса, по которому преимущественное право на землю принадлежало тому, кто ее первым расчистил. И продолжали, как ни в чем не бывало, расширять свои участки.

Педро Санчес был занят соколадой. Начав на краю прошлогодней расчистки, он углублялся в лес. В этом году он задумал сделать упор на рис, заметно выросший в цене за последние месяцы. Кроме того, на одном из старых полей посадит сахарный тростник и смастерит из дерева трапиче — примитивный сахарный пресс. Сироп очень пригодится в хозяйстве: если Педро получит хорошую цену за свиней, выкормленных на кукурузе, он сможет, пожалуй, купить котел и формочки и варить свой желтый сахар. На этом он немало выиграет. Глядишь, станет производить сахар на продажу, только бы времени на все хватило.

Снова и снова он жалел о том, что у него нет второй пары рук. Один он никак не управлялся со всем, что хотелось сделать. Скорей бы Паблито подрастал. А может, и еще сыновья будут… Вдруг Педро опустил мачете и вслушался. Где-то поблизости, от силы сто шагов, в лесу застучал топор. За ним второй… третий… четвертый… еще и еще, и вот уже по всему лесу гул идет.

Минуты две он прислушивался, определяя, откуда доносится звук. Потом быстро зашагал в ту сторону. Неужели лесорубы нагрянули? Поселенцы никогда не переходили друг другу дорогу, особенно если сосед загодя отметил новый участок зарубками.

Длинная цепочка рубщиков валила лес на той самой делянке, к которой он собирался приступить, только руки еще не дошли. Цепочка начиналась справа у пастбищ и терялась слева в глубине леса. Ух ты, сколько их, человек пятьдесят, не меньше, на полкилометра с лишком растянулись. Среди них преобладали индейцы племени тучин, коренастые черноволосые парни, добрые лесорубы, которые нередко заключали своего рода коллективный договор на большие расчистки. Были тут и поденщики с асьенды дона Антонио. Все деревья кругом помечены чужими мачете, от

его собственных зарубок не осталось и следа. Сам дон Антонио и его управитель, дон Марио Гутьеррес, ходили вдоль цепочки, наблюдая за работой. Глядя на эту картину, Педро крепче сжал рукоятку мачете своей натруженной рукой.

Он тотчас смекнул, что из сего следует. Конец его надеждам расширить свои поля в этом направлении. Рубщики дона Антонио расчищали не для посевов, а для пастбища. Поле может «устать», тогда его на время оставляют, оно зарастает кустарником, превращается в «растрохо», и спустя несколько лет поселенец имеет право расчистить делянку заново. А то, что расчищено под пастбище, потеряно для земледелия. Так уж повелось в саванне.

Пока он трудится тут повседневно, незваные гости, скорее всего, не тронут его «соколады», но на следующий год ему уже не на что рассчитывать, да и в этом году придется ограничить свой замах половиной того, что намечал. Может быть, еще удастся немного расширить поле, двигаясь влево, в сторону соседских участков, если только его опять не опередят. Но там много не возьмешь. Его обложили. Скоро там, где он сейчас стоит, протянется колючая проволока, ограждая с одной стороны скот, с другой — земледельцев-бедняков. Педро даже не пытался протестовать. Он знал, что от этого ничего не будет, кроме новых унижений.

Дон Марио заметил его между деревьями и окликнул.

— Что, работы ищешь? — спросил он. — Говорят про тебя, что ты добрый рубщик. Дон Антонио платит одно песо в день, и харч будет, а впрочем, такой работник, как ты, может рассчитывать на песо с четвертью.

Педро покачал головой.

— Я теперь для себя расчищаю. Когда помогаю пильщикам, зарабатываю в день три-четыре песо.

Толстый румяный дон Антонио вмешался в разговор.

— А ты несговорчивый, — улыбнулся он. — Уважаю мужчин, знающих себе цену. Надумаешь продавать свое хозяйство, приходи, о цене сговоримся.

— Потолкуем, когда время придет, дон Антонио, — ответил Педро.

С этими словами он повернулся к асьендадо спиной и зашагал обратно. Надо будет поднажать, чтобы не потерять больше того, что у него уже перехватили. Вообще-то ему полагалось еще с неделю заниматься «соколадой», но, что поделаешь, придется валить большие деревья сразу, без предварительной расчистки подлеска.

И на следующий день Педро начал у самого края будущего пастбища, так что только один ряд деревьев разделял его участок

и делянку скотовода.

Весь день он не разгибал спины, а вечером обошел соседей, поговорил с ними.

Когда дон Антонио через неделю прислал человека к Карлосу Бенитесу, замыслив купить растрохо у притока, оказалось, что его опередили. Педро Санчес уже взял тремя днями раньше этот участок, вдающийся клином между другими полями, и нанял сыновей Альберто Мехиа, чтобы они начали там расчищать, пока сам Педро продолжает валку леса.

Так повторилось еще раза два. В воздухе запахло грозой. Симпатии деревни были в общем-то на стороне Педро — как-никак, свой, — и если он опережал своего могучего соперника с предложением, участок доставался ему. Потратив все наличные и исчерпав кредит, Педро приобрел достаточно земли, чтобы выдержать первый натиск, а может, быть, и второй. Соседи шли ему навстречу. Растрохо вдовы Васкес, заросшее так сильно, что там предстояло поработать топором, досталось Педро Санчесу всего за десять песо и четвертую часть первого урожая.

Для лесорубов и пильщиков год выдался неудачный. Задолго до конца засухи весь стоящий лес был срублен и доставлен к реке. Хочешь взять что-то на расчистках дона Антонио — плати. А ведь еще сколько помучаешься, пока там выберешь хорошие бревна и наладишь распилку. Весь лес срублен подряд, лежит сплошной огромный завал высотой в несколько метров, разберика эти бирюльки…

Многие лесорубы оказались без работы. Кое-кто предпочел наняться к Педро за небольшую плату и харчи, другие пошли в бригаду рубщиков дона Антонио. Чтобы было, чем платить рабочим, Педро запродал часть будущего урожая риса торговцу Альварито Пересу. Невыгодная сделка, но он не видел другого выхода. Как-то надо отстаивать свою самостоятельность и будущее детей.

Двое соседей в меру сил последовали примеру Педро, понемногу приращивая свои участки. Другие продали права дону Антонио и ушли; покинули деревню и те, которые уступили свое хозяйство Педро. Все чувствовали, что рано или поздно дойдет до решающего поединка, и никто не сомневался в исходе. У кого больше капитала, тот и возьмет верх.

И вот наступил день, когда Педро Санчес должен был закончить валку больших деревьев на своей делянке. Остался лишь клин, упирающийся острием в землю дона Антонио. На острие стояло ключевое дерево, дальше клин расширялся, окаймленный беспорядочными грудами срубленных стволов. Все оставшиеся деревья были подрублены, ключевое тоже

подготовлено.

Осторожно углубляя последнюю зарубку, Педро улыбался про себя: вовремя спохватился. Конкуренты явно покушались на его рубежи, об этом говорили следы чужого топора на некоторых пограничных деревьях. Да пришлось им отступить, когда увидели, сколько он уже успел сделать.

Острый топор отсекал от мягкого ствола караколи широкие белые щепки. Могучий ствол вздрогнул, и несколько полузавядших эпифитов, оторвавшись от кроны, медленно опустились на обнаженную бурую лесную почву. Педро Санчес глянул вверх. Вот-вот пойдет. Теперь только посматривай, чтобы вовремя отскочить в сторону. Он стер пот со лба волосатой рукой и снова взмахнул топором. Последнее большое дерево в этом году… Ствол опять вздрогнул, на этот раз сильнее. Взгляд на крону… Пошло? Нет? Два-три быстрых удара топором, дерево била дрожь, еще удар-другой, топор едва не зажало, но Педро вовремя выдернул его и отошел назад.

ТРРРААХ!

Дерево качнулось, словно могучая башня, почему-то на миг задержалось и наконец устремилось к земле с оглушительным грохотом, сметая все на своем пути. Отступая назад, Педро вдруг услышал, что за его спиной тоже вроде бы что-то трещит. Он удивленно повернул голову, посмотрел вверх и увидел одну вещь, которой не было вчера. Толстая лиана, словно туго натянутый трос соединяла караколи с высоченным альмендро дель монте… это дерево тоже было подрублено… и теперь тоже падало… прямо на него… серебристый ствол, залитые солнцем разлапистые ветви…

Это было последнее, что он видел.

Когда парни Мехиа нашли его, им пришлось два часа крепко поработать топорами, чтобы добраться до расплющенного тела. На следующий день Педро Санчеса похоронили рядом с Гумерсиндо, и в тот же день, почти за два месяца до срока, Мануэла родила двойню, двух девочек. Петрона и трех недель не прожила, Хуанита оказалась покрепче.

Через два-три дня Мануэла уже полным ходом трудилась по хозяйству. Дел хватало, и надо было со всеми рассчитаться теперь, когда пришел конец замыслам Педро. Каждый получил то, что ему причиталось. А семье остался дом, утварь, домашние животные, участок под бананами, да еще несколько клочков земли, с которыми Мануэла надеялась справиться. Вот и все наследство, доставшееся ей и детям — Паблито и Хуаните.

К счастью, голод им пока не угрожал, вот только с девочкой беда, очень уж болезненная и тощая. Мануэла испробовала всякие

травы и настои, а вдова Васкес намазала крохотное тельце Хуаниты куриным жиром и прочла магические формулы, которым ее научила мать, но толку было мало. Хуанита оставалась такой же хилой. В конце концов Мануэла решила съездить в город и посоветоваться с настоящим «медико». Заодно продаст двух жирных свиней и десять гроздей бананов и попросит патера отслужить обедню по Педро и умершей крошке.

Она заплатила Альварито за место в его грузовой лодке и отправилась в путь с детьми, свиньями и бананами. Старушка Васкес обещала присмотреть за домом и курами.

На рынке спор о ценах затянулся надолго, но в конце концов Мануэла продала и свиней, и бананы, после чего пошла к врачу. Это был, собственно, не врач, а фармацевт, который открыл аптеку в городишке, а заодно и практикой занимался: сам прописывал лекарства и сам же их отпускал. Так уж здесь было заведено, и жители саванны не замечали никакой разницы, тем более что До ближайшего конкурента, настоящего врача, было несколько Дней пути.

Мануэла купила «электрического масла», чтобы мазать им свою дочурку, и «укрепляющих капель», которые надлежало добавлять в еду. На лекарства ушло около трети денег, вырученных за свиней, почти все остальное взял патер за то, что окрестил Хуаниту, повесил ей на шею священный кусочек алюминия и обещал отслужить обедню по Педро. Для Петроны он ничего не мог сделать, ведь она умерла некрещеная.

Управившись со всеми делами, Мануэла пошла в лавку, чтобы купить материал на рубаху для Паблито. Парню четвертый год, сколько можно нагишом бегать. Выбрать материю было несложно, и Мануэла уже собралась уходить, когда увидела на полке сухое молоко. Она спросила, сколько стоит банка. Цена оказалась немалой, но, поторговавшись, она все-таки купила молоко и уложила в свой узелок.

— Зря ты взяла это зелье, — сказала ей одна женщина из очереди. — Это же ядовитое молоко, его злые гринго присылают, чтобы нас погубить.

— Вот как, а я и не знала, — ответила Мануэла; в Ковеньясе она часто покупала сухое молоко.

— Точно, — продолжала женщина. — Сюда пришел пароход, привез кучу больших пакетов с надписью «КАРЕ». В них было сухое молоко, сыр, мука и всякая другая протестантская еда. Хорошо, что патер Фелипе и монахини знали, какая это скверна, и спасли нас от отравления. Дон Антонио и другие богачи взяли себе почти все и переправили своим родным в соседнем городе.

— Вот как, — опять сказала Мануэла, — значит, для них

сухое молоко и сыр не ядовиты?

— Откуда мне знать. Может быть, они скормили протестантскую еду своим собакам и свиньям. А ты разве не слышала про бедняг, которые ездили в Ковеньяс и работали там у гринго? Их подбили есть эту пакость, и с тех пор они не могут иметь детей. Смотри, как бы с тобой чего не случилось!

Мануэла поблагодарила за предупреждение, сказала «до свидания» и ушла. Всю долгую дорогу домой она раздумывала об услышанном, но лицо ее ничего не выражало. Оно стало суровее в последнее время, и резче проступили индейские черты.

Когда наступил сезон дождей, в деревне оставалось не больше пяти-шести семейств, но движение по реке делалось все оживленнее. Все больше колонов направлялись вверх по течению туда, где еще были пригодные для расчистки делянки. Тем же курсом двигались лесорубы, а какая-то иностранная компания искала нефть на речной террасе. Тяжелые грузы перевозились по реке на больших пирогах, на них даже начали ставить подвесные моторы — ведь колесных дорог еще не было. А люди предпочитали странствовать по суху, кто пешком, кто верхом, и большинству из них было сподручно ночевать в Тьерра Санта.

Со временем повелось так, что проезжие останавливались на ночлег в доме Мануэлы. Здесь они могли повесить свои гамаки и поесть. Мануэла держала дом в чистоте и подавала за умеренную плату простые, но сытные блюда. За ней укрепилась добрая слава и ее лачуга превратилась в постоялый двор. Постояльцев было не так много, чтобы это дело могло прокормить семью, но наличные деньги все-таки подспорье в хозяйстве. Она продолжала работать на своем банановом поле, выращивала маниок и бататы, откармливала кур и свиней.

Деревенские — те немногие, что еще не покинули Тьерра Санта, — никак не могли взять в толк, почему Мануэла не найдет себе нового мужа. В женихах недостатка не было. Совсем еще молодая женщина, собой недурна, труженица, каких мало, есть дом, земля, домашние животные. Но ей никто из претендентов не нравился, и может быть, это даже было к лучшему.

В стране наступила смутная пора. К власти пришла новая партия. Один политический деятель, ставший своего рода народным кумиром, был убит на улице столичного города. Начались бунты и восстания, бои и карательные экспедиции, в горах бесчинствовали бандиты. Жители деревушек саванны не были прямо замешаны в этих кровавых распрях, хотя и ощущали на себе их последствия. Во-первых, они никогда не примыкали ни к каким политическим лагерям, во-вторых, грабителям у них было нечем поживиться. Герильи их не касалась, а разъезжавшие

с командировками чиновники политической полиции довольствовались тем, что кормились бесплатно за счет местных жителей. Жизнь текла своим чередом, тихо и мирно, словно большая река. Во всяком случае, с виду. На самом деле в ней, как и в реке, происходили перемены. В краю саванны назревал серьезный переворот.

Процесс этот ускорялся смутой, принудившей многих сельских жителей оставить свои дома из-за политических преследований. Но и без того переворот был неизбежен в связи с приростом населения и расхищением природных ресурсов. Земледелие хирело, скотоводство процветало. Следовательно, требовалось все меньше рабочих рук на единицу площади, а между тем число жителей росло все быстрее. Когда целины не оставалось и весь лес до самых гор был срублен, пришло время искать другие источники существования. Безземельные спешили взять от природы последнее, что она еще могла дать; спекулянты следовали по пятам и помогали им в их пагубной деятельности.

На смену лесорубам и колонистам в Тьерра Санта стали появляться охотники за крокодилами и рыбаки. Охотники не задерживались здесь надолго. Не потому, что крокодилья кожа упала в Цене — напротив, она все время дорожала, — но большие рептилии начали становиться редкостью. Молодняк выбивали на третьем-четвертом году. Выживали лишь старые хитрые бестии, хорошо усвоившие, где и когда человек опасен. Они научились держаться подальше от фонарей и гарпунов, когда появлялся очередной отряд странствующих охотников.

Иное дело рыбаки. Раз в год, обычно в конце ноября, на исходе сезона дождей, из несчетных озер на равнине поднимались вверх по рекам миллионные косяки бокачико. Они настойчиво, упорно шли все вверх и вверх против течения, к прозрачным речушкам предгорий, где оставались на несколько месяцев, до конца апреля или начала мая, когда в горах выпадали первые дожди.

После этого уцелевшие направлялись вниз — слабые, истощенные долгим полуголодным существованием (бокачико питаются водорослями, и в стремительных горных речушках для них мало корма), зато раздувшиеся от икры и созревающей молоки.

Люди с незапамятных времен ловили бокачико, когда она шла в предгорья — «субиенда», и когда возвращалась в озера — «бахада». Стрелами, сетью, острогой и гарпунами добывали они себе толику серебристого клада, брали и хищную рыбу, преследующую бокачико, били питающихся хищной рыбой выдр, кайманов и крокодилов. Пока добыча велась старыми способами,

с соблюдением умеренности, все шло хорошо. Одна бокачико выметывает в среднем около восьмидесяти тысяч икринок, и в равнинные озера возвращалось достаточное количество спасшихся от всех опасностей самок и самцов, чтобы продолжать свой род. Но после второй мировой войны лов стал промыслом, рыбаки обзавелись мелкоячеистыми сетями, а по мере роста армии безземельных пролетариев росло и число рыболовных артелей. Они поднимались вверх по реке, ставили себе времянки и месяцами ловили и засаливали бокачико и багре. День и ночь стометровые невода скребли дно реки. Мелюзга, не находившая сбыта, кучами гнила на берегу. Грифы и прочие стервятники пировали.

Когда все разумные пределы были превзойдены, улов начал падать, сперва медленно, потом все быстрее. Жизненный цикл бокачико — четыре года, поэтому беда явилась не сразу, но явилась. Еще один природный ресурс оказался под угрозой.

Мануэле рыбаки не приносили большого дохода. Эти бедняки каждый грош считали, не то что беспечные лесорубы. Сети, как правило, принадлежали не артели, а какому-нибудь дельцу или промышленнику, ему и доставалась львиная доля выручки. А труженики едва сводили концы с концами. Одни возили с собой жен, другие сами латали свои лохмотья и стряпали. Кое-кто из них, несомненно, понимал, что в конечном счете делает хуже себе же и своим детям. Но когда голод стучится в дверь — выбирать не приходится.

Тьерра Санта совсем обезлюдела. Семья за семьей уходила, но Мануэла оставалась на месте и продолжала трудиться. Как могла обрабатывала землю, стирала для соседей, ловила рыбу на ставные удочки, держала свиней и кур, что-то продавала, что-то покупала. Ее и Паблито нельзя было назвать худыми, и болезнь их не брала. Хуже обстояло дело с Хуанитой. Почти все сбережения Мануэлы уходили на лекарства, а бедняжка никак не поправлялась. Мануэла чуть не поверила бредням патера Фелипе, будто порошковое молоко ядовито, но ведь Паблито тоже пил его и только с пользой для себя. А другого молока где возьмешь, если дойных коров в Тьерра Санта не было, а до ближайшей асьенды — больше няти километров. Потом вспыхнула эпидемия кори, и смерть избавила крошку Хуаниту от всех страданий. На этот раз у Мануэлы не было жирной свиньи, чтобы заплатить за обедню. Она еще раньше продала последнюю, рассчитываясь за лекарства, остались только маленькие тощие поросята.

Через несколько дней после смерти Хуаниты в Тьерра Санта прибыл один иностранный натуралист. Жители поречья давно его знали, он много раз сюда наведывался. Говорили, что он слегка

помешанный, но человек безобидный, пишет книгу и никак не может ее закончить. Теперь он решил пожить тут некоторое время, и где же остановиться, как не у Мануэлы. Паблито и иностранец хорошо поладили между собой. Умный, сметливый мальчик живо уразумел, что этого странного белого занимают рыбы — всякие рыбы, как съедобные, так и совсем бросовые. Паблито помогал рыбоведу отыскивать ручьи и маленькие озера, где водится мелюзга, какой в большой реке никогда не найдешь. Еще он выполнял всякие мелкие поручения постояльца, и тот исправно платил ему за труды.

Паблито шел уже девятый год, и мать справила ему не только рубашку, но и брюки; правда, отправляясь ловить рыбу, он чаще всего снимал одежонку, чтобы поберечь ее. На шнурке на шее у него болталась потертая испанская монета, наследство после старого Гумерсиндо. Старый серебряный реал привлек внимание чужеземца, и он прочел надпись, имя какого-то испанского короля. На следующий день на шнурке Паблито болтались две монеты, вторую украшало изображение шведского короля Густава Пятого.

А еще гость научил своего маленького помощника различать буквы. Они условились, что, когда белый в следующий раз приедет погостить в Тьерра Санта, сразу после первых дождей, он привезет с собой азбуку, и тогда Паблито сможет читать по-настоящему. Для Мануэлы стало заветной мечтой увидеть, как ее Паблито сидит и читает взаправдашнюю книгу. Кто знает, может, он со временем станет учителем или еще каким-нибудь важным человеком, будет получать жалованье от департамента, и ему не придется ломать себе голову над тем, как перебиться завтра… Главная трудность заключалась в том, что не было школ поблизости — только в городе, в семидесяти километрах ниже по реке.

Чужеземец уложил свои банки и бутылки с заспиртованными рыбами и уехал. Обещал вернуться через три месяца.

Засуха близилась к концу. В горах пошли дожди. Бокачико спустилась на нерест; правда, косяки были не такие плотные, как несколько лет назад, но все же рыбы еще хватало.

И вот однажды ночью первый ливень разразился над равниной. С каждым годом по мере вырубки леса сезон дождей начинался все позже, зато уж как польет, только держись. Сразу река вздулась, стала мутной и бурной. Под утро небо над Тьерра Сайта прояснилось, но вода продолжала прибывать и несла бурелом. Видно, в горах прошел очень сильный дождь.

Несколько вакеро, которые пригнали к реке табун лошадей, остались на другом берегу, так и не решившись перебираться

через поток в Тьерра Санта.

Под вечер к домику Мануэлы подъехали три всадника: падре Фелипе, дон Антонио Ольмес и один пеон. Патер крайне возмутился, когда увидел, что вакеро и лошади застряли на той стороне. Он прибыл сюда вместе с доном Антонио, чтобы купить верховых коней для родича, которого держал управителем на своей асьенде в районе одного из равнинных озер. Покидая Испанию, падре Фелипе вез с собой потрепанную сутану да две-три книги; теперь он был состоятельный помещик.

Похоже, придется ему ждать до завтра, если не больше, а это патера никак не устраивало. Или коней переправят сегодня же, чтобы он мое взглянуть на них, или сделка вовсе не состоится. Как будто на этих конях свет клином сошелся.

Дон Антонио упросил патера не торопиться. Надо только раздобыть большую грузовую лодку, и все будет в порядке. В Тьерра Санта как раз есть то, что нужно. Альварито Перес подтвердил, что имеет грузовую лодку, но он послал ее по рыбачьим артелям. Правда, у него была другая лодка, поменьше, но он отказался ее одолжить. Альварито пришлось уступить свои земельные права дону Антонио, и он остался этим недоволен, а теперь на него работали четыре рыболовецких артели, он ни от кого не зависел, да к тому же подумывал о том, чтобы перебраться в город.

Нет, нет и нет. Поглядите, что на реке делается, он не намерен рисковать лодкой.

Оставалась только лодка вдовы Васкес. Маленькая, для взрослого мужчины, пожалуй, даже слишком мала, да еще дырявая, как сито. Весло — прибитая к палке доска. Старуха пришла в восторг, когда дон Антонио предложил ей два песо за прокат лодки с веслом и черпаком из тотумы.

Теперь надо было найти желающего переправиться на лодке через реку и передать вакеро приказ, чтобы они поднялись по берегу до лагеря рыбаков. Туда всего час пути, и там, конечно, найдется большая пирога. На ней можно пересечь реку, а кони поплывут рядом на длинном поводу. Дело непростое и опасное, но вакеро были ко всему привычны.

В Тьерра Санта мужчин было раз, два и обчелся. Те, что покрепче, ушли рыбачить, осталось, не считая Альварито, всего четверо: скрюченный старостью Карлос Бенитес, однорукий Хулио Мехиа, которого покалечило на рубке леса, внук вдовы Васкес, придурковатый Хуан, и Паблито. Но дону Антонио не терпелось добиться своего, и в конце концов он предложил десять песо — четыре дневных заработка — тому, кто отвезет его приказ на ту сторону. Достаточно переправиться туда, а обратно вакеро

доставят посланца на большой лодке. Тут выступил вперед Паблито.

— Отдайте десять песо моей маме, и я поеду, — сказал он, глядя снизу на румяное лицо асьендадо.

Послышались предостерегающие возгласы, но дон Антонио живо сунул Мануэле смятые бумажки, а Паблито подбежал к ветхой лодке, схватил весло и оттолкнулся от берега.

Мануэла метнулась следом, крича что-то. Поздно. Лодка была уже во власти стремнины. Паблито вел лодку наискось, но течение сносило его вниз. Потом он попал в сильный водоворот, и сперва лодку протащило несколько метров в нужном направлении, но стоило мальчику на секунду отложить весло и взяться за черпак, как стремнина развернула ее носом по течению. Паблито налег на весло, заставляя лодку вернуться на правильный курс. Еще дюйм, еще, он греб изо всех сил… Тррах!

Гнилая доска с треском переломилась там, где в нее были вбиты гвозди, и Паблито остался с одной палкой в руках. Попробовал грести ею — куда там, слишком тонкая. Лодку медленно, но верно сносило вниз. В эту самую минуту, влекомое вздувшимся потоком, из-за поворота выплыло поваленное ветром дерево. Его несло кроной вперед прямо на лодку. У Мануэлы вырвался крик ужаса, Альварито громко выругался; старик Бенитес со свистом втянул воздух Щербатым ртом. Потом все закричали наперебой, но голоса тонули в мощном гуле реки, озаренной багряным закатом.

И все-таки Паблито, похоже, их услышал. Он оглянулся, потом начал с удвоенной энергией грести палкой.

Будь это настоящее весло, он ушел бы от дерева, но… длинный сук зацепил борт, нажал и опрокинул утлую лодчонку. На берегу воцарилась напряженная тишина. Люди, словно окаменев, смотрели на реку… на плывущее по течению дерево… на пустую лодку, которая всплыла на стремнине.

Вдруг дальнозоркий старик закричал:

— Вот он, парнишка! Вон там, на стволе! Слава всевышнему!

Мануэла вздрогнула, как от удара, но лицо ее оставалось каменным. Молча она глядела, как дерево уплывает вдаль под огненно-красным вечерним небом.

Перед следующей излучиной дерево зацепилось ветвями за отмель. На миг остановилось, вздрогнуло, потом перевернулось. И тут же течение увлекло его дальше. Пеон дона Антонио, а также двое из отряда вакеро, ожидавших на той стороне, уже мчались на конях вдогонку за деревом. Пока его можно было различить на фоне темнеющей воды, они скакали следом. Через два часа все трое вернулись, больше ничего нельзя было сделать. Падре

Фелипе обратился с молитвой к святым, а дон Антонио назначил вознаграждение — двадцать песо тому, кто найдет Паблито. Сверх того он посулил мадонне толстую восковую свечу, если мальчик будет невредим.

Неделей позже на коровьей тропе в нескольких километрах ниже Тьерра Санта появился друг Паблито, натуралист. Под деревом тотума на бугорке он придержал коня, достал бинокль из футляра и принялся изучать берега и отмели. За последние сутки уровень воды понизился, и многие пляжи обнажились. Вдруг движение бинокля остановилось, всадник что-то пристально разглядывал. Ну конечно, там на солнце лежит и греется здоровенный крокодил, старый лиходей. Если пробраться за бугром вон к той ложбинке, оттуда можно будет достать его пулей… Путник привязал за сучья тотумы верхового коня и вьючную лошадь, проверил штуцер и начал подкрадываться.

Вот он уже в ложбине… крадется, пригнувшись, дальше… Последние метры он прополз на четвереньках. Потом выглянул из-за кочки. И метрах в восьмидесяти снова увидел крокодила. Не меньше четырех метров длиной, толстый, шишковатый, уродливый, настоящее чудовище. Прицел и мушка медленно сошлись, и грянул выстрел. Могучий хвост дернулся в одну, в другую сторону, короткие мощные ноги яростно взрыли песок, но зверь не тронулся с места. Пуля раздробила шейный позвонок, смерть была почти молниеносной. Охотник перезарядил ружье и минуты две лежал на месте, держа крокодила на мушке. Зверь по-прежнему не двигался, тогда он встал и направился к нему. Не доходя нескольких шагов, остановился и поднял ружье. Опыт научил его, что с крокодилом шутки плохи, лучше не рисковать. Нет, эта бестия явно обезврежена раз и навсегда. Охотник отложил ружье, подобрал на косе палку покрепче и перевернул тяжеленного зверя на спину. Затем вынул финку из ножен. Для скудного бюджета исследователя такая большая кожа — хорошее подспорье.

Часом позже кожа была снята и свернута. В деревне можно будет засолить ее, а то и сразу продать Альварито Пересу. Желудок сгодится кому-нибудь на барабан — вот и еще несколько песо. Кстати, интересно взглянуть, чем поживился за последнее время старый обжора. Несколько длинных разрезов — и вот уже желудок лежит на песке рядом с тушей. Еще один разрез — и он вскрыт. Камни, некоторые чуть не с гусиное яйцо. Ну это вполне обычная находка. Кости… Охотник насторожился. Теперь он был уже не охотник, а исследователь. И как ни пострадали кости, он тотчас определил, что это не свинья, не капибара, не олень и не собака — ни одно из животных, составляющих обычную добычу

крокодила. Он наморщил лоб, повернул ножом одну кость, другую. Что-то блеснуло на фоне слизистой желудочной пленки. Серебряная монета… вторая… Две монеты на шнурке, очищенные от черни желудочной кислотой. Испанский реал. Шведская крона.

На пляже послышался стук некованых копыт. Охотник повернул голову. Альварито Перес. Он подъехал, остановился, окинул всю сцену взглядом.

— Прекрасная кожа, дон Хорхе, — сказал торговец. — Не продадите?

Они поторговались, несколько бумажек переменили владельца, потом охотник подцепил кончиком ножа шнурок с монетами, ополоснул их в реке и сунул в карман.

— Талисманы Паблито, — глухо сказал он. — С ним что-нибудь случилось?

И тут он услышал рассказ про дерево и опрокинутую лодку.

Вместе оба всадника доехали до Тьерра Санта и остановились у домика Мануэлы. Хозяйка кормила кур на заднем дворе и только на миг подняла голову.

— Буэнос диас, комадре, — поздоровался Альварито. — Боюсь, У нас для тебя плохие новости.

Мануэла повернулась к ним. В глазах ее был невыразимый ужас, усиленный неизвестностью.

— Дон Хорхе застрелил у Ла вуэльта дель Тотумо большого крокодила, — продолжал Перес— В животе у крокодила был шнурок с двумя монетами и кости. Мы предали кости земле. Вот шнурок с монетами.

Мануэла молча протянула руку, взяла шнурок и так же молча Уставилась на стертые королевские профили.

— Грациас, сеньорес, — сказала она наконец, повернулась и ушла в дом.

Альварито Перес сумрачно покачал головой. Хорхе сидел безмолвно, скрестив руки на луке седла. Он думал о красивой новой азбуке, которая лежала в одной из вьючных сум. И о лице, которое словно расплылось в воздухе и пропало, когда женщина отвернулась. Рыбовед не стал задерживаться в Тьерра Санта, а продолжил путь вдоль реки и остановился у индейцев на одном из притоков. Здесь он провел несколько недель. Когда он вернулся в Тьерра Санта, то увидел, что дом Мануэлы заброшен, и устроился на ночлег у Альварито.

— Она все продала, — рассказал торговец. — Большая часть мне досталась, она не хотела иметь дела с доном Антонио. Просыпаемся однажды утром, а ее уже нет. Один вакеро видел ее на рассвете, когда она шла по берегу у излучины. Только узел на голове несла, и все.

Шли годы. Тьерра Санта перестала существовать. В городах и приморье кое-кто начал понимать, что с народной нищетой ничего не сделаешь, пока продолжается расхищение природных ресурсов, а земля принадлежит привилегированному меньшинству. На первых порах это были голоса, вопиющие в пустыне, но постепенно голосов становилось все больше, и они звучали все громче. Земельная реформа, надзор над лесным и рыболовным промыслом, учреждение современных исследовательских институтов — таковы были первоочередные, безотлагательные требования. Набрали людей, закипела работа. Нашлось дело и для рыбоведа, который наконец-то дописал свою книгу.

Однажды он проезжал в служебном джипе по одному из городов в нижнем течении реки. Машина остановилась на берегу, исследователь вышел и начал показывать своему молодому помощнику, как собирают образцы речной фауны. Неподалеку какая-то женщина стирала рабочую одежду. Рыбовед присмотрелся к ней. Покатые плечи, в остальном фигура исхудалая, костлявая, седеющие волосы собраны в конский хвост. Женщина подняла голову, их взгляды встретились.

— Буэнос диас, Мануэла.

— Буэнос диас, дон Хорхе.

— Что нового?

— Все то же, дон Хорхе. Все то же. Нищета. Платье, сшитое из бесчисленных лоскутов, висело мешком на худом теле. На смуглой, уже морщинистой шее поблескивали две серебряные монеты на шнурке. Мануэла заметила, что глаза рыбоведа остановились на монетах, подняла было руку, чтобы закрыть их, но тут же опустила ее. В темных индейских глазах вспыхнул недобрый огонек.

— Запомните, дон Хорхе, для нас, бедняков, самые страшные крокодилы не те, что в реке живут, — сказала Мануэла Санчес.

Она повернулась к нему спиной и снова нагнулась над своим корытом.

# Край болотных озер

День за днем идет плот вниз по реке. Все дни одинаково солнечные, с калимой в воздухе и яростно-красными закатами. (Калима — смесь саванной пыли и дыма лесных пожаров.) За день несколько десятков километров, не больше. Мимо песчаных отмелей, где несут караул изящные серебристые белые цапли, большие серо-голубые магдаленские и маленькие пепельные флоридские цапли, через плесы, где стайки черно-белых водорезов проносятся над водой, как бы снимая сливки гротескными красными клювами.

Утром и вечером над рекой пролетают с одного угодья на другое полчища египетских цапель. Они здесь новички, даже, можно сказать, незваные гости. Сорок лет назад их не было на этой стороне Атлантики, они оставались верными своей родине, Африке, и сопровождали странствующие в саванне стада.

Никто не знает точно, как это случилось, но между двумя мировыми войнами появилась первая стая в Венесуэле. Может быть, ее туда занесло бурей. Африканские гости остались, размножились и начали сопровождать пасущийся скот, как тысячелетиями ходили за слонами и буйволами. Теперь их можно встретить от Бразилии до Флориды, и они продолжают распространяться, ведь в Новом свете у них нет естественных врагов.

Прежде среди коров, хватая вспугнутых копытами кузнечиков и прочих насекомых, вышагивали белые цапли, как большая, так и маленькая, изящная, с черным клювом. Их и сейчас можно увидеть за этим занятием, но в девяти случаях из десяти их место заняли египетские цапли, а белые цапли отступили в болота и на берега рек.

До сих пор по обе стороны реки, сколько хватал глаз, тянулись сплошные пастбища. Теперь ландшафт постепенно меняется. Среди побуревших от засухи лугов, где на десятки километров не осталось ни одного тенистого дерева, можно увидеть первые равнинные озера с камышовыми зарослями и широкими зелено-лиловыми полями водяных гиацинтов.

Все дальше и дальше холмы и горы, обнаженные нещадной вырубкой, со страшными ранами, нанесенными эрозией на голых склонах. Дождевая вода смыла с них почву, оставив навеки бесплодные гектары камня и гравия. Так хищно и бездумно обошлись люди с тем, что высокопарно величают своей родиной. Ради одно-го-двух скудных урожаев или в погоне за недолговечным пастбищем они обрекали почву на погибель.

Однако кое-где между озерами можно увидеть и зеленые участки — первые поля хлопчатника. Здесь за тысячелетия река отложила на поверхности саванны мощный плодородный слой. Некоторые из земледельцев наконец-то уразумели, что эта наносная земля чересчур хороша для пастбищ, и теперь ее приспосабливают под земледелие. Бананы, кокосовые пальмы — добрая почва щедро оплачивает труд, только с ней надо разумно обращаться.

Деревни пошли чаще и выглядят совсем иначе, чем прежде. Стены уже не из каньябравы, обмазанной смесью глины с навозом, меньше крыш из пальмовых листьев, которые боятся огня. Правда, есть то преимущество, что под ними не так жарко. Дома кирпичные или бетонные, крыши из красных или светло-серых плиток, кое-где поблескивают алюминием водокачки. Вдоль реки тянется шоссе, между деревнями снуют грузовики и автобусы.

Поздно вечером плот проходит мимо сияющего огнями города. Над рекой изогнулся триумфальной аркой изящный стальной мост. Ниже моста начинается аллея из королевских пальм, вздымающих свои могучие кроны к темнеющему небу. Светлячки крохотными метеорами пляшут над закрывшимися на ночь цветками гибискуса и дремлющей бугенвиллеей.

Старик кладет руль влево, и река несет его неуклюжее суденышко к низкой пристани, у которой белеет патрульная лодка рыболовной инспекции. Оставив плот под присмотром молодого инспектора, старик поднимается к ближайшей лавке и пополняет свои запасы провианта и сигарет. Наскоро поужинав в китайском ресторане, он возвращается к плоту.

Ребята из инспекции предлагают ему комнату для ночлега. Услышав в ответ, что он должен плыть дальше, они предлагают послать с ним лодочника или хотя бы немного отбуксировать плот патрульным катером. Их удивляет его улыбка и вежливый отказ. Им невдомек, что теперь он сам распоряжается своим временем и хочет побыть наедине с рекой, с тропической ночью и своей Па-ку-не… Ведь Па-ку-не можно встретить и на спящей реке, не только в лесных дебрях.

Достаточно одного-двух взмахов весла, чтобы плот подчинялся рулю. Тихо, ласково журчит вода, рассекаемая бальсовыми бревнами. С каркающим криком проносится мимо кваква.

Пройдя с десяток километров, старик причаливает к островку и прячется под пологом от комаров, чтобы поспать немного. За два часа до восхода он готов возобновить свое плавание. Завтрак съеден, термос наполнен горячим кофе, костерок на берегу залит

водой. Достаточно посильнее оттолкнуться шестом — и снова течение подхватывает плот. Старик садится поудобнее, зажав под мышкой рулевое весло, раскуривает трубку и ждет зари.

Река несет плот мимо полей хлопчатника и кукурузы, мимо кокосовых пальм, маленькой спящей деревушки. Бурлит вода. Медленно, исподволь на востоке разгорается утренний пожар. Оголенные засухой деревья черными силуэтами вырисовываются на фоне все более яркого дымчато-красного зарева. Над рекой летят утки. Высоко в небе — плотные стаи, ленты, клинья крупных тропических древесных уток видуа, писингу и малибу, направляющихся к рисовым полям у озер. Беспокойные стайки маленьких синекрылых чирков совершают короткие рейды с одного берега на другой.

Закрепив наглухо рулевое весло, старик достает запрятанное между узлами ружье и коробку патронов. Давно он не ел утятины, а здесь тысячи уток и можно со спокойной совестью позволить себе подстрелить одну или две. Чирки беспорядочно мечутся из стороны в сторону, спугнутые не то плотом, не то движениями охотника, когда он поднимает ружье. Три выстрела — всего одна птица, зато потом следует успешный дуплет. Старик вылавливает уток из воды. Чистит ружье и принимается потрошить птицу. Он сварит ее в котелке на медленном огне; свежего чирка вполне можно есть два раза в день — на второй завтрак и на обед.

Плот идет дальше, час за часом, и вот уже на реку тяжелым одеялом ложится полуденный зной. Только часам к четырем жара спадает. Снизу тянет ветерком, это дыхание пассата, который пролетел над приморьем и большими озерами, чтобы встретить путника.

Старик задремал было после полдника, теперь он просыпается и определяет, что достиг рубежа озерного края. Хоть бы течение, пересекающее первое озеро, оказалось достаточно сильным, тогда легче будет провести через него плот. Еще километр — и вот открывается широкое устье. Ура, течение благоприятное! Сильный поток впадает в озеро. Надо думать, не менее сильное течение продолжает реку в другом конце озера. Несколько энергичных движений рулевым веслом — плот вышел в устье, проплывает между низкими заболоченными берегами и наконец оказывается на широком водном просторе с большими плавучими коврами водяных гиацинтов, голубовато-лиловые цветки которых раскрываются в этот час вечерней прохлады.

Отойдя от берега на несколько сот метров, старик бросает якорь под прикрытием камышового островка. Конечно, от бури камыш не защитит, но ведь сейчас засуха, бурь нечего опасаться. Если и подует, то с озера, а тогда можно уйти обратно в устье.

Озеро простерлось на десятки километров. В разгар сезона дождей оно вдвое больше, и сейчас его окаймляет широкая полоса тучного черного ила, образованного сгнившими за тысячелетия гиацинтами. Придет время, когда этот край будет кормить множество людей. Проекты уже готовы, идут предварительные работы по регулированию водного режима. На земле, где сейчас в лучшем случае можно пасти несколько коров и свиней, раскинутся тысячи гектаров рисовых полей, а само озеро опояшет кольцо плотин и валов, прорезанных оросительными каналами. Рис по берегам, рыба и пернатая дичь посередине. Работа для многих тысяч рук, пища для десятков тысяч ртов. Таков план, такова мечта, которая теперь воплощается в жизнь. На оголенных рубкой холмах будут посажены деревья робле костено и голубой эвкалипт, которые, глубоко пронизав землю своими корнями, остановят эрозию. Пока тянутся ввысь быстрорастущие породы, молодые лесничие уже занимают саженцами благородных тека и махагониевого дерева менее плодородные участки. Начало положено. Теперь бы только мир и порядок, деньги, труд и добрая воля, тогда со временем будет всем и работа, и хлеб.

Чашка кофе, трубка… Затем старик достает из длинного свертка спиннинг с большой катушкой и крючки с блесной. Плот достаточно устойчив, вполне можно забрасывать. Блесна уходит под воду на хорошем расстоянии от бревен. Старик подтягивает ее, еще раза два забрасывает без успеха, потом снова садится с трубкой.

Куда ни погляди — птицы, птицы… Десяток разновидностей цапли и выпи, черные ибисы с красным клювом, с зеленоватым клювом, большие трехцветные ибисы, несколько белых. Мимо плота пролетают розовые колпицы — будто ожившие цветы; тучи уток взмывают в воздух, кружат над камышом и снова приводняются.

«Шлеп!» Широкий хвостовой плавник бьет по воде. Старик прячет трубку, блесна рассекает воздух. Со второго раза он чувствует поклевку и осторожно подсекает. Впечатление такое, как будто произошел взрыв. Вода бурлит и пенится, огромная серебристая рыбина взлетает метра на два, на миг зависает и с грохотом шлепается обратно. Катушка визжит, разматываясь. Второй прыжок, третий — великий тарпон делает все, чтобы избавиться от крючка, снова и снова разгоняется и выскакивает из воды. Старик осторожно придерживает его, иногда опускает конец спиннинга, нейтрализуя прыжки, не дает рыбине уйти далеко. Силой тут не возьмешь, тарпон грубости не признает, надо хитрить, изматывать его. Время идет. По лбу и скулам

старика струится пот. Нелегкий это труд — тягаться с такой рыбиной. Забыты годы, забыты болезни, он живет полной жизнью! Избегать всяких усилий, сказал врач. Избегать? Уж если прощаться с земным существованием, так лучше всего в бою, пусть даже твой противник всего-навсего рыба.

Трехметровый спиннинг из фибергласа и хитрое, упорное маневрирование делают свое дело. Принято считать, что девять тарпонов из десяти срываются и уходят. В таком случае, это десятый. Он измотан, можно подтягивать его к плоту. Старик рассматривает красавца. Экземпляр далеко не рекордный, что-нибудь метр с четвертью, ходил один раз на нерест, теперь направляется к морю, чтобы набраться сил для нового нереста.

Тарпон доблестно сражался. Наградой ему будет свобода. Старик достает длинную финку и нагибается, вдруг что-то привлекает его внимание. Два нижних луча анального плавника обхвачены серебряной проволочкой, на ней висит узкая пластмассовая бирка с номером. Вот так штука, один из его собственных тарпонов явился на свидание! Старик улыбается, как будто ему преподнесли роскошный подарок. Потом осторожно извлекает крючок из твердой челюстной кости. Рыба свободна.

С минуту тарпон лежит на боку, отдыхая. Затем бьет хвостом, окатывает старика водой, уходит под плот и исчезает.

Старик меняет рубашку, посмеиваясь про себя, разбирает спиннинг. И садится обедать: кусок утки, ломоть хлеба, чашечка-другая кофе. Потом набивает свою самую большую пенковую трубку ароматным «кэвендишем», удобно садится на мешок с одеждой и любуется просторной гладью озера, вечерней тягой птиц.

Воспоминания, воспоминания…

# Маленькая рыбка, большая рыба

## *I*

Среди невысоких приморских гор в лесу извивается речушка; здесь еще остался участок коренного леса. В засуху от этой речушки, как и от многих других, остается всего лишь цепочка мелких луж, разделенных обнажившимся гравием. Но сейчас, во всяком случае по календарю, сезон дождей, и лужи соединяет прозрачный ручей шириной в один-два шага, глубиной в две ладони.

Сидя в прохладной тени между корнями могучего дерева караколи, я гляжу на небольшую заводь, где между камнями снуют серебристые рыбки с оранжевыми плавниками. В руках у меня сеть Для лова мелюзги.

Некогда эта речушка была притоком «моей» реки, это я установил по ее рыбам. Но было это очень давно, вероятно, еще в плейстоцене, когда чередование ледниковых эпох изменяло уровень моря и очертания берегов. Теперь она прямо впадает в море, и это сказалось на ее ихтиофауне. Во-первых, в ней водится пресноводная кефаль, которой нет в соседних больших реках, но которую зато можно встретить в быстрых речках, сбегающих со склонов Сьерра Невада де Санта Марта. Во-вторых, я здесь нашел два вида харацид, судя по всему эндемичных. Другими словами, их не находили нигде, кроме Пехилина (так называется эта речушка).

С одним видом я разобрался. Это Creagratus, от других представителей данного рода его отличает, в частности, отчетливая черная полоска в основании хвостового плавника. Есть и другие отличия, более важные и существенные, но это сразу бросается в глаза. К тому же речь идет о карликовой форме, что вполне естественно для эндемичного вида, который развился в такой маленькой речушке.

Второй вид мне представляется более интересным. Он принадлежит подсемейству Cheirodontinae из многочисленного семейства харацид, род Saccoderma. Несколько напоминая хастату из Магдалены, а также недавно открытую мной робусту из Сину, он, однако, отличается от обоих, в частности своеобразными зубами. Они похожи на маленькие терки, как будто предназначенные для того, чтобы соскабливать или срывать что-то с камней в речушке. Но что именно? Вряд ли водоросли. Многие харациды «слизывают» водоросли с камней, однако

хиродонтины, сколько мне известно, все до единой питаются насекомыми. Надо думать, это правило распространяется и на данный вид. Я уже изучил один экземпляр и убедился, что кишечник очень короткий, как положено у насекомоядных.

Зубы, зубы… Они так же специализированы, как скошенные «бритвы» пирайи, или огромные клыки пайяры, или зазубренная мясная сечка дорады.

А что, если эта крохотная рыбка специалист по личинкам хехен?

Разные виды жалящих мошек и гнуса в Колумбии называют хехен, но злее всех маленькие черные чудовища из рода Simulium, они способны буквально извести человека. Мало того что они нещадно жалят его от зари до зари, порой собираясь в огромные тучи, хехен еще переносят болезни. Карате, от которой, в частности, идут пятна по коже, и которая вызывается спирохетой, поразительно схожей с грозным возбудителем сифилиса Treponema pallidum; слоновость — следствие скоплений личинки филарии в лимфатических железах; порождаемая другой личинкой (Onchocerca volvulus) страшная «сегуэра гуатемальтека», которая начинается с появления твердых узелков на коже головы и обычно приводит к полной и неизлечимой слепоте, — все эти недуги переносятся Simulium.

С личиночными формами малярийного комара можно бороться, они обитают в тихой, стоячей воде. Во всяком случае, южноамериканские виды. Говорят, на Востоке есть виды, не подчиняющиеся этому правилу. Можно найти управу и на комара, переносящего желтую лихорадку. У личинок Simulium «детская комната» совсем иного рода. Они закрепляются на камнях между заводями, на перекатах, в насыщенной кислородом воде, где течение не дает ни задушить их нефтяной пленкой, ни отравить контактным ядом. Все попытки истребить их химическими или физическими средствами успеха не принесли.

А вдруг эта рыбешка осуществляет естественный контроль? С того дня, как я прибыл на этот ручей, мне еще не попалась ни одна хехен, и в прилегающем районе я не видел ни одного лица, меченного белыми пятнами карате. Фантазия? Возможно. Но такая фантазия, которая поддается экспериментальной проверке.

Осторожно завертываю в рубаху наиболее хрупкие приборы (в лесу я предпочитаю работать голый по пояс, если мошка не докучает), спускаюсь к журчащему перекату ниже заводи, ложусь на живот и изучаю в лупу омываемые водой камни. На таких камнях, в проточной воде обычно сидят личинки и куколки. Рассматриваю камень за камнем, те что на дне, и те что вровень с поверхностью. Беру их в руки, кручу, верчу, скребу ногтем со всех

сторон. Ничего. Сколько я ни ищу, не могу найти никаких следов потомства Simulium. Конечно, это может быть чистая случайность. Возможно, они предпочли следующий перекат. Установить это очень просто: пойти туда и посмотреть.

К концу дня речушка на два километра с лишним исследована мною так, как если бы я искал зарытые сокровища Генри Моргана. Ни одной личинки, ни одной куколки. Род Simulium явно не представлен в фауне этого маленького потока.

Смеркается, я подвешиваю между двумя деревьями гамак и полог от комаров, делаю из листьев бихао навес от дождя и варю кофе в жестяной банке. Хорошо, что завтра воскресенье, ведь официально я еще не исследователь, а всего лишь бедный учитель, зарабатывающий уроками не только на хлеб, но и на все, что нужно для исследовательской работы. На следующий день я возвращаюсь под вечер в свою комнатушку при школе с большой банкой, в которой плавает около дюжины рыбок нового вида. Они благополучно перенесли путешествие, и я пересаживаю их в самодельный аквариум вместе с кучей личинок, на которых рыбки тотчас устраивают энергичную облаву.

…Снова суббота, и снова я у ручья с тщательно вымытой канистрой из-под бензина и рыболовной снастью. Кроме того, я захватил фонарик и еще кое-какие вещи.

От верховий «моего» ручья ведет тропа через низкую водораздельную гряду к такой же речушке. Она принадлежит совсем другому бассейну, и по ее берегам водятся черные хехен, я убедился в этом на собственной шкуре, когда собирал там рыб несколько месяцев назад. И я знаю, что моего нового вида Saccoderma там нет.

День уже гаснет, когда я, отмахав полтора десятка километров с канистрой на спине, наконец выхожу к маленькой заводи на второй речушке. Б канистре вода и двадцать живых и прытких экземпляров моей маленькой рыбки. Здесь все так же, как было в прошлый раз: круглая лужица с гравием на дне и большими камнями посередине, дальше — узкий каменистый проток. Контроль наладить легко, лучшего места не найти для задуманного мной эксперимента.

Рядом с перекатом наполовину зарываю в песок большую эмалированную миску, которую я одолжил на кухне директора школы. Налаживаю водопровод: через резиновые трубки вода из заводи поступает в миску, а из нее выливается в большую жестяную банку, накрытую сеткой. Вылавливаю на перекате два камня и кладу их в миску. Камни совсем мохнатые от личинок Simulium. Затем пускаю туда же трех рыбешек из моей коллекции. Вижу, что они чувствуют себя хорошо в миске, и добавляю еще

тройку. Теперь остается только разбить лагерь на ночь и ждать до рассвета. От волнения никак не могу уснуть. Что происходит в миске? Включить фонарик и посмотреть я не решаюсь. Свет в белом сосуде может напугать рыбок и сорвать эксперимент.

С первыми лучами солнца я на ногах, ставлю выше и ниже переката мелкоячеистую сеть. Ее цель — служить преградой для подопытных экземпляров. Убедившись, что все лазейки закрыты, выпускаю в воду на перекате остальных четырнадцать рыбешек, потом подготавливаю к работе свой примитивный микроскоп и контролирую ход опыта в миске.

Тоненькие рыбки длиной от силы тридцать миллиметров уже не такие тоненькие, а очень даже упитанные, с раздувшимся брюшком. Вылавливаю одну, несколько минут выдерживаю в спирте и помещаю на предметное стекло микроскопа. Два маленьких надреза скальпелем обнажают пищеварительный тракт. Он набит до предела. Еще надрез, и содержимое вываливается наружу. Как и следовало ожидать: все, поддающееся опознанию, есть не что иное, как личинки и куколки Simulium.

Первый шаг сделан, но до полного доказательства еще далеко. Ведь в миске не было больше ничего съедобного. Тихо подкрадываюсь к перекату и ложусь на землю, чтобы проверить, чем заняты маленькие переселенцы. Они заняты едой, сразу видно. Серебряные блестки носятся от камня к камню и «пасутся» на них. К сожалению, я не могу проследить, что именно они едят. Рыбки пугливые, стоит мне пошевельнуться, как они тотчас прячутся между камнями. Я замираю, тогда они снова выходят, и пир продолжается. Понаблюдав часа два, решаю выловить несколько штук и проверить, что у них в животе. Это легче сказать, чем сделать. Рыбки уже неплохо освоились и разведали кучу укромных уголков. За полчаса мне удается выловить всего три экземпляра. Все трое плотно поели. И вся еще не переваренная пища представляет собой личинок Simulium.

Немалая часть дня уходит на то, чтобы переправить тяжелую канистру обратно через водораздел. Теперь она кроме воды содержит еще и облепленные личинками камни с переката. Время от времени я останавливаюсь и перемешиваю воду прутиком или зачерпываю ее банкой и выливаю обратно: единственный способ обогатить ее кислородом, чтобы личинки не погибли до того, как попадут в естественную среду.

В 15.10 я снова у первой речушки, родины маленькой рыбки. Кладу камни с личинками в проток между двумя заводями. А сам сажусь рядом, чтобы отдышаться и проследить, что получится. В 15.35 новые камни окружены скопищем нетерпеливых Saccoderma, пир идет горой. В 17.05 от личинок Simulium

осталось одно воспоминание. Я прерываю эксперимент и отправляюсь за четыре километра к шоссе, чтобы захватить последний автобус. До города больше двадцати километров, пешком идти далековато.

Неделю за неделей продолжается мой примитивный опыт, пока засуха не превращает обе речушки в цепочки разрозненных луж. Но за это время мне удается точно установить, что моя новая рыбка — я окрестил ее Saccoderma falcata — всему, чем я только могу ее потчевать, предпочитает личинок и куколок Simulium. И что она способна почти полностью, а то и вовсе истребить вредную мошку на определенном участке. Другими словами, обнаружен способ биологической борьбы с насекомым, переносящим болезни. Правда, слоновость переносят и обычные комары. Но, насколько мне известно, никто не наблюдал, чтобы карате и гватемальскую слепоту распространял кто-либо помимо мошки Simulium. Если разводить в зараженных областях Saccoderma falcata, рыбки, возможно, заставят болезнь отступить.

Сколько всякой дряни можно стереть с лица земли, если с толком использовать все, что мы знаем?

## *II*

Июнь. Залив Морроскильо поблескивает в лучах утренней зари. Наша большая морская пирога, тарахтя подвесным мотором, приближается к деревне Толу с севера, от мангровых болот в устье реки Сарагосильи. Мы идем совсем медленно, прочесывая дно волокушей. Время от времени выбираем ее и придирчиво разбираем улов. Разные рачки, малюсенькие крабики, игла-рыба, мальки саргасского бычка и потешные юные еж-рыбы с неотвердевшими еще шипами. Они смахивают на полупустые мешочки из серой кожи, на которых кто-то нарисовал углем по маленькой сердитой рожице. Но никаких следов того, что мы вот уже целый месяц упорно разыскиваем день за днем — маленьких прозрачных личинок тарпона, так называемых лептоцефалов. Мы не знаем точно, как они выглядят, да этого пока еще никто на свете не знает.

Американский исследователь Харрингтон находил мальков, которые, несомненно, были только что «вылупившимися» тарпончи-ками со всеми признаками настоящей рыбы. Другой ученый, Герингер, выловил лептоцефала с прозрачным, стекловидным телом длиной двадцать шесть миллиметров, и определил его как личинку тарпона. «Дана» — датское океанографическое судно, в чьем послужном списке много

важных открытий — однажды добыло в море одиннадцатимиллиметровую личинку, вероятно принадлежащую тарпону. Некоторые ихтиологи выводили личинок из предположительно тарпоновой икры; правда, личинки через три дня погибали, но перед этим у них наблюдались признаки перехода в стадию лептоцефалов. Вот, пожалуй, и все, что было известно о начальных формах тарпона, когда мы приступили к исследованиям.

Наша работа началась в середине мая. Мы знаем, что в этом районе тарпоны обычно нерестятся в конце апреля и первых числах мая, на песчаных отмелях у самого берега, преимущественно в лунные ночи. Мне самому приходилось видеть, как они кувыркаются в пласте воды толщиной меньше метра, как вспарывают воду широкие хвостовые плавники, как могучие серебристые тела барахтаются под луной в каких-нибудь двадцати — тридцати метрах от черных пальм на берегу. Я видел, как белеет вода, когда самцы опрыскивают молоками сотни тысяч только что выметанных самками икринок, как рыбы-великаны исчезают, словно тени среди других теней, когда гладкую поверхность моря бороздит акулий плавник.

Моя заветнейшая мечта — окончательно разрешить загадку тарпона, поймать его лептоцефалов живыми и невредимыми и проследить в лабораторных аквариумах, как они превращаются в мальков. Научиться разводить тарпона, как разводят сига и лосося. Надо, надо что-то делать, чтобы спасти «серебряного короля», самого крупного представителя сельдевых. Из-за хищнического промысла тарпону у атлантических берегов Колумбии грозит полное истребление. Его здесь глушат динамитом. Каждый день вдоль всего побережья от Санта-Марты до устья Сину и дальше рвутся в воде сотни динамитных патронов, и немалая часть их обращена против нерестящихся тарпонов.

Везде, где можно ожидать появления хотя бы небольшого косяка тарпона, его подстерегают лодки. Крупный тарпон — крупная выручка: жители приморья любят его плотное жирное мясо. Стоит характерному плавнику вспороть поверхность воды поблизости от лодки, и вот уже шипит бикфордов шнур, заряд летит по воздуху, ныряет в море и взрывается, неся смерть и опустошение. Разумеется, динамитчикам удается выловить далеко не всех тарпонов, убитых или оглушенных взрывом. Многие рыбы идут ко дну, с другими живо расправляются акулы. Надежные подсчеты говорят, что рыбаку достается в среднем только каждая шестая или седьмая рыба, убитая этим способом. И конечно, сверх того губится тьма другой рыбы, мальки, личинки,

рачки и прочая живность. Трудно представить себе более хищнический и дикий способ лова.

Добавьте к этому, что в каждой деревне приморья можно увидеть рыбака, которого преждевременно взорвавшийся заряд лишил руки, а то и обеих рук или обоих глаз. Часто в этом винят акул; на самом деле, жертв динамита здесь в двадцать с лишним раз больше, чем укушенных акулой. Тем не менее безобразие продолжается, и до сих пор все попытки властей что-то сделать напоминали бой с тенью.

Великолепному тарпону угрожает еще и другая, не менее серьезная опасность. Взрослые особи чаще всего держатся в море и больших реках, а молодь предпочитает ручьи, речушки и болота приморья, пока не подрастет настолько, что может подняться вверх по большой реке или выйти в море; мы пока очень мало знаем о Далеких странствиях тарпона. Но в последние десятилетия многие речушки и болота пересохли, ведь из-за вырубки леса выпадает все меньше дождей. Другие речки превращаются в сточные канавы растущих поселков и предприятий. Или их отравляют применяемые хлопководами инсектициды. В такой воде никакой малек не выживет. Наконец, некоторые реки оказались отрезанными от моря после непродуманной прокладки дорог, или же их перегородили плотинами, чтобы было чем поить скот на больших асьен-Дах. Огромное количество молоди тарпона погибает потому, что ей негде развиваться. Иначе говоря, чтобы спасти тарпона для Колумбии, надо научиться его разводить и охранять.

А для этого нужно найти в море личинки тарпона и разработать способ отлавливать и выращивать их в достаточном количестве.

Другого выхода мы пока что не видим.

Бросаем якорь возле устья речушки Пехилин и идем вброд к берегу. В глубине края прошли дожди, речка разбухла и прорвалась сквозь песчаный вал, нанесенный волнами за время засухи. Теперь здесь вливается в море поток пресной воды.

Что удерживает личинок тарпона вблизи побережья? Может быть, следы пресной воды или что-то, приносимое ею и действующее на их органы чувств? Если это так, мы находимся в стратегически важной точке. Сколько таких точек безуспешно обследовано нами за последние дни? Сколько десятков километров прочесано волокушей и планктонной сетью?

Лишь один раз, недели три назад, мы нашли в волокуше нечто похожее на сантиметровую полоску прозрачной мокрой шелковой бумаги, безжалостно смятую и почти перерезанную пополам острой клешней маленького пелагического крабика.

Была ли это личинка тарпона? Мы не знаем, и никто не знает. Можно только гадать.

Рамон и Луис Альберто берут наш самодельный «мальковый невод» из синтетического волокна. Следуя за струей пресной воды, они удаляются от берега и там, где вода несколько выше колена, начинают первый обмет. Нижний подбор прижимают одной рукой ко дну, верхний держат у поверхности и двигаются спиной вперед. Я иду за ними в двух-трех шагах, неся банки, пинцеты, лупы.

Они поднимают сеть и держат ее на воздухе между собой. Подхожу и исследую улов: обрывки тонких бурых водорослей с рифа, пучок желтых саргассовых водорослей с причудливыми плавательными пузырьками, клочья красных водорослей, полусгнившие лесные плоды, вынесенные в море речкой, креветка, краб, судорожно бьющиеся мелкие сардинки и маленькая медуза — обычный набор. Но что это шевельнулось там, среди водорослей? Словно призрак мелькнул и тут же исчез. Нетерпеливо наклоняюсь над сетью, навожу лупу. Вижу! Сперва глаз, потом то, на чем он сидит. Маленькая живая ленточка желе, длиной около двух с половиной сантиметров, шириной миллиметра три, тонкая, как папиросная бумага. И до того прозрачная, что я отчетливо вижу сквозь нее нити нашей снасти. Только глаза пигментированы, только их по-настоящему и видно. Как будто они — единственный материальный элемент этого привидения: два рыбьих глаза, живущих в морской воде обособленно, независимо от других частей тела.

Бережно переношу крохотное стекловидное существо в банку с морской водой. И вот оно плавает там, чуть извиваясь. Лептоцефал, никакого сомнения, но чей? Такие же личинки известны у угря, у американской «боунфиш» (Albula vulpes), у макаби (Elops saurus). Может быть, в сети остались еще экземпляры? Снова обследуем невод с помощью лупы, и на этот раз мы знаем, чего ищем. Рамон находит одну личинку, Луис Альберто — сразу две. Теперь их в банке четыре, а лов продолжается. И не без успеха. Через два часа у нас уже больше сорока личинок, не считая погибших экземпляров, которые я заспиртовал на предметном стекле, чтобы потом исследовать под микроскопом.

Когда лептоцефал погибает, его тело становится молочно-белым и непрозрачным. У многих добытых нами личинок заметны белые пятнышки: очевидно, мы поранили их, когда ловили. Просто поразительно, до чего они нежные. Вероятно, раненые погибнут в ближайшие несколько часов. Я осторожно переношу их в особую, банку, отделяя от неповрежденных

экземпляров.

Возвращаемся в лодку, Луис Альберто пускает мотор. Через несколько минут мы уже бросаем якорь около нашего лагеря. Мы с Районом идем вброд к берегу, захватив банки, а Луис Альберто, несравненный организатор, подзывает пять-шесть молодых чернокожих парней, и они помогают ему вытащить на песок лодку, отнести мотор и сети.

Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь когда-нибудь нес старые банки из-под варенья так осторожно, как мы с Районом. Ступаем так, словно у нас под ногами битое стекло. Наконец банки водружены на устойчивый рабочий стол в тени, можно облегченно вздохнуть и закурить. Потом мы начинаем наблюдения.

У нас два тина лептоцефалов. Или это просто разные стадии в развитии одного вида? Большинство не отличаются от самого, первого, но несколько штук заметно длиннее, до трех с половиной сантиметров. У этих один конец пошире, другой поуже, голова относительно меньше, ясно обозначена шея, если можно говорить о, шее у малька. Плавая, они извиваются намного энергичнее — этакие миниатюрные копии знаменитого «сельдяного короля». Внимательно понаблюдав живых личинок, перехожу к погибшим, Устанавливаю микроскоп, достаю справочники, смотрю и сопоставляю.

Не знаю, сколько времени я так сижу. Наверно, не один час. Когда я наконец убираю микроскоп в его деревянный футляр и закрываю книги, две вещи мне относительно ясны. Личинки покрупнее, которые так причудливо плавают, почти наверное лептоцефалы макаби или Elops saurus, как назвал эту рыбу Линней. Зато личинки поменьше, составляющие около девяноста процентов улова, очень, очень похожи на ту личинку, которую описал доктор Герингер, предполагая, что речь идет о тарпоне.

Если бы только мне удалось сохранить их и увидеть, как они в одном из моих аквариумов превращаются в настоящих тарпонов. Это было бы окончательным доказательством и важным шагом к решению проблемы.

Прошла неделя. Собранные нами в двух случаях личинки плавают в столитровых аквариумах в институтской лаборатории в Картахене. Все личинки с белыми пятнышками погибли, несколько штук пострадали при перевозке, но большинство неповрежденных экземпляров выжили.

Это уже не лептоцефалы. Началась метаморфоза, и некоторые личинки совсем преобразились. Сперва они съежились, становясь все короче и тоньше и теряя прозрачность. Затем у них обозначился плавательный пузырь, крохотный позвоночник,

красноватая точка будущего сердца. Появились плавнички, тут и там наметились пятнышки пигментации. Возник пищеварительный тракт, поначалу как бы подвешенный снаружи к брюшку. И когда длина личинок уменьшилась с двадцати пяти до шестнадцати миллиметров, превращение зашло так далеко, что ясно видно — это мальки, а не мокрые целлофановые ленты с глазами.

Каждый третий день я заспиртовываю несколько штук и рассматриваю через микроскоп. Стоит ли сомневаться? Правда, я еще не могу различить чешую и подсчитать число лучей в плавниках, но зачатки анального плавника обозначаются все отчетливее, и видны слабо пигментированные пятнышки по числу будущих лучей. Их слишком много для Elops или Albula, зато ровно столько, сколько плавниковых лучей у тарпона.

У других экземпляров просматриваются миомеры, мышечные сегменты, образующие большую часть мускулатуры рыб, от жаберной щели до основания хвостового плавника. У лептоцефалов покрупнее, которых я с самого начала определил как Elops saurus, около восьмидесяти сегментов, так и должно быть. А у личинок поменьше, которых у меня гораздо больше и которые на глазах превращаются в «настоящих» рыбок, — пятьдесят девять миоме-ров, как у тарпона. И подобно тарпону, они чувствуют себя одинаково хорошо и в дождевой воде из бочки, которая стоит у нас в саду, и в чистой морской воде, которую мы привозим на моторной лодке, и в мутноватой бурой воде из мангрового болота.

Как только разовьется плавательный пузырь, они должны — это тоже характерно для тарпона — время от времени подниматься наверх за воздухом. Если им помешать, например натянуть мелкую сетку у самой поверхности воды в аквариуме, они через несколько часов утонут.

Еще неделя, и всем сомнениям конец. Мои мальки, не считая представителей Elops saurus, — тарпоны. Доктор Герингер был прав.

Чем питаются молодые тарпоны, когда они миновали шестнадцатимиллиметровую стадию и опять начинают расти? В мировой литературе об этом ни слова. И тут надо самим доискиваться ответа.

С мальками Elops никаких проблем. Пройдя метаморфозу, с минимальной длиной девятнадцать миллиметров, они набрасываются на любой живой корм. Если корма не хватает, они рьяно поедают друг друга. Попади к ним по ошибке крохотный тарпончик, и минуты его сочтены. В жизни не видел более прожорливых мальков. В отличие от них юные тарпоны

чрезвычайно разборчивы в еде. Первое время, пока идет превращение, они как будто совсем ничего не едят. Очевидно, живут за счет «излишков», которые играют роль запасов. Но съежившись до минимальной длины, они должны что-то есть, чтобы расти. Чем их кормить? Предлагаем им инфузорий, мелких морских червей, рачков, всякую мелюзгу, какую только можем добыть в море и в речках среди мангровых болот. Тарпончики почти все отвергают, а если иной раз что-нибудь и схватят, мы либо не успеваем проследить, что именно, либо не можем добыть достаточное количество этого корма. Чистая трагедия. Наши малыши недоедают. Они не растут. И постепенно начинают погибать.

Лишь один-единственный экземпляр выживает и подрастает настолько, что успешно ловит рачков и новорожденных мальков карликовой Mollienesia caucana, близкой родственницы хорошо известной аквариумистам M. sphenops, которая широко распространена в районе Картахены.

Год заканчивается, он принес нам и радость, и великое разочарование. Что ж, постараемся в следующем году добиться большего, используя то, что нам удалось узнать о нересте и о миграциях молоди.

…Начинается следующий год, и на первых порах похоже, что. сама природа решила подшутить над нами. Морские течения сместились, температура воды понизилась, и зависящие от этих факторов жизненные циклы изменяют свой ход. Морским ежам положено размножаться в январе, а они ждут до апреля. Апрельская миграция тарпона в заливе Морроскильо вообще выпадает. Могучие рыбины приходят лишь в конце мая и начале июня, да и то это разрозненные, случайные косячки.

Мы надеялись отловить идущих на нерест самца и самку и сделать опыт с искусственным оплодотворением икринок. Какое там! Обычно тарпон достигает половозрелости при длине свыше метра, а такие крупные экземпляры легко прорываются сквозь наши новенькие сети, качество которых, как и надо было думать, не отвечает спецификации. Иногда мы все-таки что-то добываем, но либо у пойманной нами рыбы нет икры, либо нам не удается одновременно взять самку и самца. Честное слово, можно поседеть, не будь голова давно уже белая.

Но нельзя падать духом, надо трудиться, трудиться день и ночь, брать невезение измором. Тем более что в этом году у меня новый помощник, мой старший сын Лейф. Он тоже ихтиолог, и его молодые глаза порой видят то, чего мои старые уже не в силах рассмотреть.

Вопреки всем неприятностям, у нас еще есть надежда. Когда

пойдут дожди и вскроются устья рек, лептоцефалы непременно двинутся к побережью, ведь опресненная вода необходима им для метаморфозы. И уж тогда-то мы их найдем.

Наступает сезон дождей — по календарю, — а дождя нет. Побрызгает немного в саванне, и все. А в приморских горах и на берегу — ни капли. В прошлом году Пехилин прорвался сквозь песчаный вал к морю девятого июня. Сейчас середина июля, а устье все еще перекрыто. В самые последние дни наконец выпали осадки, но слишком мало, чтобы наполнить русла.

Что же будет в этом году с мальками тарпона? Вдоль всего песчаного пляжа в заливе Морроскильо нет ни одной пресноводной лазейки, через которую они могли бы проникнуть в мангровые болота. И что будет с нашими планами? Неужели на пятьдесят километров нет ни одного участка, где сквозь песок просачивалось бы в море хоть немножко пресной воды? Если такое место есть, и если верна наша догадка, что личинкам нужна опресненная вода, мы должны найти их там. Это все равно что искать зеленую иглу в гигантском стогу сена. Но ведь не может невезение длиться вечно. Иногда упрямство вознаграждается.

Пятнадцатого июля мы обнаруживаем следы пресной воды и находим личинок. Их немного, и появляются они только в отлив, когда давление моря на песок ослабевает, так что могут пробиться встречные струйки. Все же нам удается отловить некоторое количество и доставить живьем в лабораторию в Картахене. Здесь эстафету принимает мой сын Лейф. Он специалист по выращиванию мальков, привез из Европы все, что для этого нужно.

Отлов лептоцефалов, хотя и в незначительном объеме, продолжается. Большая часть нашей добычи выживает. Мы разработали более надежный способ перевозки и установили, что мальки с наслаждением едят науплиус листоногого рачка Artemia salina. Вряд ли он составляет их естественный рацион, но от этого корма они растут и поправляются, а затем переходят на мангровых креветок и мальков других рыб. И мы убеждаемся, что в наших аквариумах и прудах молодые тарпончики растут быстрее, чем в мангровых болотах. Должно быть, потому, что корм обильнее.

А как же лептоцефалы в море? Что будет с ними? Во-первых, нерест явно запоздал, во-вторых, дожди никак не начнутся по-настоящему. Если где-то иногда и выпадают осадки, то в других местах держится засуха. Постепенно некоторые речушки пробиваются к морю, но большинство так и остаются перекрытыми.

После каждого дождя Лейф и его помощники обнаруживают в

пределах самой Картахены косячки личинок тарпона — они устремляются к выходам сточных вод и загрязненной пресной воды, туда, где их заведомо ждет гибель. Даже в декабре в грязной канаве около «Клуба Картахена» наблюдаются стайки хиреющих с каждым днем, обреченных личинок. Эта канава — сток для клубной кухни и других служб.

Мы спасаем лептоцефалов по мере сил и возможностей и выращиваем их как в картахенской лаборатории, так и на новой опытной станции в Сан-Кристобале. Разумеется, на каждую спасенную личинку погибают тысячи. А с моря изо дня в день доносятся взрывы динамитных патронов. Люди пишут в газетах, жалуются на динамитчиков, но как только встает вопрос о деньгах на эффективный надзор, газеты смолкают. И даже когда на Картахенском рынке взрывается спрятанный контрабандистами динамит, отправляя на тот свет около шестидесяти человек, никто не принимает действенных мер.

А в наших аквариумах и прудах живет под строгим наблюдением несколько сот спасенных рыбок. Мы начинаем овладевать искусством разведения тарпона. Лейф находит на побережье богатые рачком Artemia salina соленые водоемы; вот и еще одна проблема решена, ведь до сих пор нам приходилось импортировать науплиусов.

И наконец настает день, когда мы можем выпустить пятьсот молодых тарпонов в два специально отобранных, строго охраняемых озера. Небольшое количество рыбешек остается в лаборатории для контроля за их развитием. Мы надеемся в следующем году развернуть свой эксперимент гораздо шире, вырастить не сотни, а тысячи тарпонов. Насколько известно, тарпон становится половозрелым к пяти годам. Может быть, за эти пять лет мы сумеем заложить основу новой популяции. А одновременно поможем создать организацию, которая обеспечит надзор за промыслом и положит конец безобразиям динамитчиков.

Это одна из многих задач, стоящих перед нами.

# Последние километры

Плот медленно скользит среди камышей, еще окутанных длинными мягкими очесами утреннего тумана. Утиная тяга в разгаре. Кваквы, словно тени, летят с рыбной ловли в свои убежища в манграх.

Переход через озеро длился три дня. Старик работал шестом и веслом, использовал попутный ветер в узких протоках среди мангров и камышей. Он избегал широких водных просторов, ведь бальсовый плот, связанный для плавания по реке, не пригоден для поединка с волной. Совсем немного осталось до того места, где озеро возвращает воду реке. Течение уже влечет неуклюжее судно.

Впереди проток сужается. Несколько гребков рулевым веслом выравнивают плот. Затем старик берет пальмовый шест, чтобы оттолкнуться от берега, если будет необходимость. Мягко рыскнув в сторону, плот выходит на стремнину и вместе с ней врывается в стиснутый берегами узкий проход. Два-три раза приходится пускать в дело шест, потом старик берется за рулевое весло.

И снова плот на реке, на широкой неторопливой реке, которая скоро завершит свой бег. Заиленные косы, чисто вымытые последним приливом песчаные отмели, уходящие вдаль заросли белых мангров, чайки, пеликаны… Где повыше — серенькие лачуги рыбаков между изящными кокосовыми пальмами. Восходящее солнце. И в небе за мангровой стеной — два черных креста, два фрегата. Старик расправляет плечи, чувствуя на своем лице первое дыхание соленого ветра.

На берегу одиноко стоит кокосовая пальма. Ее ствол образует ту самую линию, которую нарисовал Хогарт, когда его попросили определить понятие красоты.

Плот медленно огибает последнюю излучину и выходит на простор неглубокого залива. У берега вода бурая, дальше сверкает сине-зеленая гладь.

Старик оборачивается и дарит своей реке последний долгий прощальный взгляд. Потом опять смотрит в море. Он будто сбросил с плеч десяток лет. Уголки рта изогнула улыбка. Уехать «домой», прекратить борьбу, сидеть летом на крыльце, зимой — в комнате, отмеряя годы тысячами страниц? Ни за что, пока есть работа, которую нужно делать, пока есть борьба, в которой надо участвовать, пока в реках, манграх и морских заливах таятся еще нераскрытые тайны. Снова его река исцелила его, снова его море встретило его и возродило в нем силы и волю.

Он привязывает к длинному пальмовому шесту сигнальный флажок и втискивает конец шеста между бревнами. Среди островков начинает кашлять мотор. Длинная индейская лодка, морская пирога с обводами варяжского «дракона», идет к плоту, рассекая форштевнем воду. Вот уже можно узнать людей в лодке — людей, которые из года в год сопровождали его в экспедициях: Рамон и Карлос, Луис Альберто и Дамасо, а на руле сидит его сын.

Пирога пристает к борту плота, смуглые руки принимают его вещи. Затем он сам переходит в лодку. Бальсовый плот относит течением в море, а лодка огибает косу и берет курс на север.

Старик смотрит на голубеющие в лучах восходящего солнца гористые мысы. Плот и река — уже прошлое. Не оглядываться назад, а смотреть вперед, туда, где его ждет труд нового дня.

А где-то там, за бледной сапфировой дымкой над океаном, ждет его Па-ку-не.

# Послесловие

Закрыта последняя страница книги. Что нового принесла она нам, оставила ли след в душе? Я думаю, что да. Трудно не почувствовать очарование «диких дорог», так образно описанных автором, когда за каждым кустом, за каждой излучиной реки ждет неизведанное.

Издаваемая книга Г. Даля включает два новых его произведения: «Последнюю реку», вышедшую в Швеции в 1967 г., и «Дикие дороги», опубликованные там же в 1969 г. Несмотря на то что «Последняя река» увидела свет раньше, в русском переводе она поставлена второй частью. Это вполне объяснимо. Как увидит читатель, «Последняя река» — итоговая, завершающая книга, насыщенная воспоминаниями о многолетних скитаниях автора в дебрях сельвы и о его жизни среди индейцев. В ней рассказывается о последнем путешествии Даля по большой колумбийской реке к морю перед его отъездом на холодную полузабытую родину. «Последняя река» — прощание со страной, которой отданы лучшие годы жизни, любовь, большой труд ученого.

Шведский путешественник и зоолог Георг Даль прожил жизнь, богатую впечатлениями. Тридцать лет он провел в Колумбии, сменил немало профессий. Он был шкипером, учителем, хранителем музея, профессором университета. У него были разные работы, но одно призвание — изучение природы Колумбии, одна мечта — как можно больше увидеть и рассказать об этом людям.

Неизведанное всегда влекло человека. Но сейчас, в век колоссальных успехов науки и техники, многим кажется, что неизведанное можно найти только в космосе или в глубинах океана. Читая книгу Г. Даля, убеждаешься, что это не так. Поиски вполне реальной гигантской анаконды не менее увлекательны, чем поиски мифического снежного человека. Показывая романтику труда географа, зоолога, Даль тем самым отвлекает нас, и прежде всего молодежь, от пристрастия ко всякого рода псевдонаучным сенсациям, столь модным в наши дни именно из-за извечной тяги к неизведанному, из-за ошибочного убеждения, что ни в одной стране света не осталось неисследованных или почти неисследованных земель.

В этом показе романтики будничного труда современного путешественника, будь то географ, зоолог, геолог или представитель еще какой-нибудь другой специальности, заключается большая воспитательная ценность книги Г. Даля, в

первую очередь для молодежи, но и не только для нее.

Однако ценность книги Даля не ограничивается сказанным. Он путешествовал в таких районах Колумбии, особенно лежащих на ее юго-востоке и востоке, о которых у нас мало знают даже специалисты. Да, и в самой Колумбии тропические леса, саванны и многочисленные, но обычно несудоходные реки юго-востока страны до сих пор мало исследованы. Г. Даль много путешествовал по этим местам, как, впрочем, и по западным районам Колумбии, и увлекательно рассказывает о их природе и населении, особенно индейском. В этом районе Колумбии живет много индейских племен. Все они находятся на уровне первобытнообщинного строя, хотя и деформированного под влиянием европейцев. Одни из упоминаемых Далем племен, такие, как пуинаве и гуахибо, до сих пор почти не занимаются земледелием. Их основные занятия — охота, собирательство и рыболовство. О деталях общественного строя этих племен известно крайне мало.

Другие, как, например, уитото, давно освоили примитивные формы земледелия и живут родовыми общинами в больших хижинах, каждая из которых вмещает до 200 человек. Некоторые из индейских племен до сих пор почти не соприкасаются с пришлым населением, всячески избегая встреч с ним, но большинство племен уже много десятилетий подвергается эксплуатации со стороны приезжих торговцев.

Даль с большой симпатией относится к индейцам. Со многими из них его связывала долголетняя дружба. Он был принят в род Удава индейским племенем энгвера и получил имя До-Хиви — Речной орел[51]. И Даль не может не возмущаться обращением с индейцами в Колумбии, их угнетением и беззастенчивой эксплуатацией как светскими, так и духовными предпринимателями-миссионерами.

Нередко же индейцев открыто истребляют, чтобы захватить их земли или даже без всякой цели. И это происходит не только в Колумбии, но и во многих других странах Латинской Америки. Сведения об этом то и дело появляются в зарубежной печати. Так, в Бразилии в последние годы было уничтожено около 40 тыс. индейцев: мужчин, женщин и детей. В Колумбии миссионеры, действующие как раз в районе, который описывается Г. Далем, уничтожили одно племя только за то, что оно, по мнению «духовных пастырей», не имело никакой религии. В другой миссии, тоже на юго-востоке Колумбии, была устроена тюрьма, куда на многолетний срок заключаются индейцы, нарушившие установленные миссионерами правила.

Миссионеры отнимают у индейцев детей и, дав им

религиозное воспитание, превращают их в бесплатных работников, обогащаясь за счет их труда.

Эти и многие другие, сходные с ними факты приводились, например, на пресс-конференции в Копенгагене в конце 1969 г. известным исследователем индейцев Ларсом Перссоном, работавшим в Колумбии и Венесуэле.

Таким образом, картина жизни индейцев, которую рисует Даль, в общем верна. Вместе с тем к некоторым из сообщаемых им Сведений об отдельных племенах надо относиться с осторожностью. Так, неверно, что индейцы уитото не подвергались такой эксплуатации и истреблению, как другие племена в конце XIX — начале XX в. в эпоху каучукового бума. Совсем напротив, это племя было одним из наиболее пострадавших в этот период. В результате жестокой эксплуатации со стороны сборщиков каучука численность уитото уменьшилась от нескольких десятков тысяч человек в начале XX в. до трех-четырех тысяч человек в 1940 г.

По-видимому, не совсем верно понимает Г. Даль и деятельность таких людей, как дон Хусто. Хусто, так же как миссионеры и «власть имущие», эксплуатировал индейцев, однако менее жестоко. Двуногие хищники сельвы ненавидели его не за то, что дон Хусто благоволил к индейцам, а за то, что он был конкурентом тем, кто эксплуатировал индейцев.

Не меньший протест, чем истребление индейцев, вызывает у автора хищническое уничтожение первозданной флоры и фауны юго-восточной Колумбии капиталистическим обществом. Даль предсказывает, что вскоре этот «край будет представлять ту же картину, что и другие части страны: делового леса нехватка, дров нехватка, реки пересохли, миллионы гектаров земли загублены эрозией». И нельзя не согласиться с автором, что только коренное изменение социально-экономической системы Колумбии может спасти ее природу для потомков.

Можно было бы еще много сказать об этой поэтичной и умной книге, но вряд ли это нужно, она говорит сама за себя.

Доктор исторических наук *Л. Файнберг*

# Фотографии

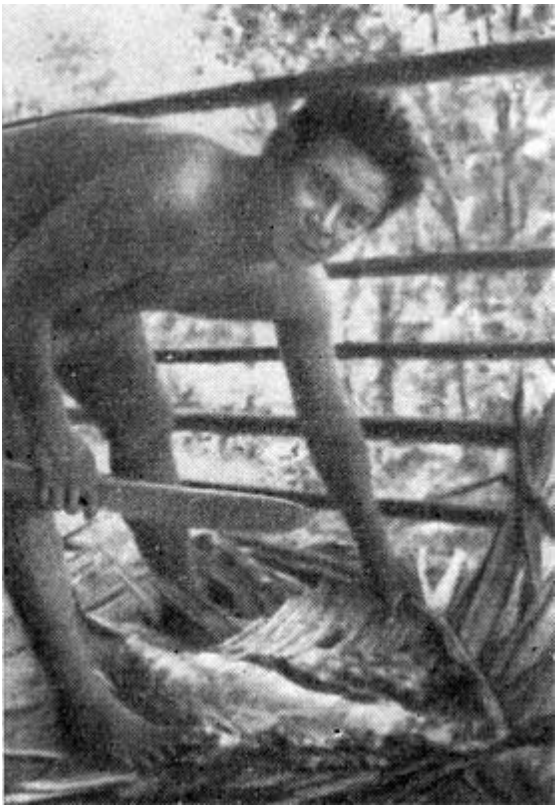
*Там, где кончается тропа*

*Лачуга земледельца взамен удобной и чистой свайной хижины*

*Что ожидает в будущем это юное существо?*

*Xoce*

*На рассвете — в путь*



*После охоты на тапира. Много мяса*

*До вторжения чужой культуры*

*Жена Геронимо*

*Деревенская улица — убожество, принесенное новой «цивилизацией»*

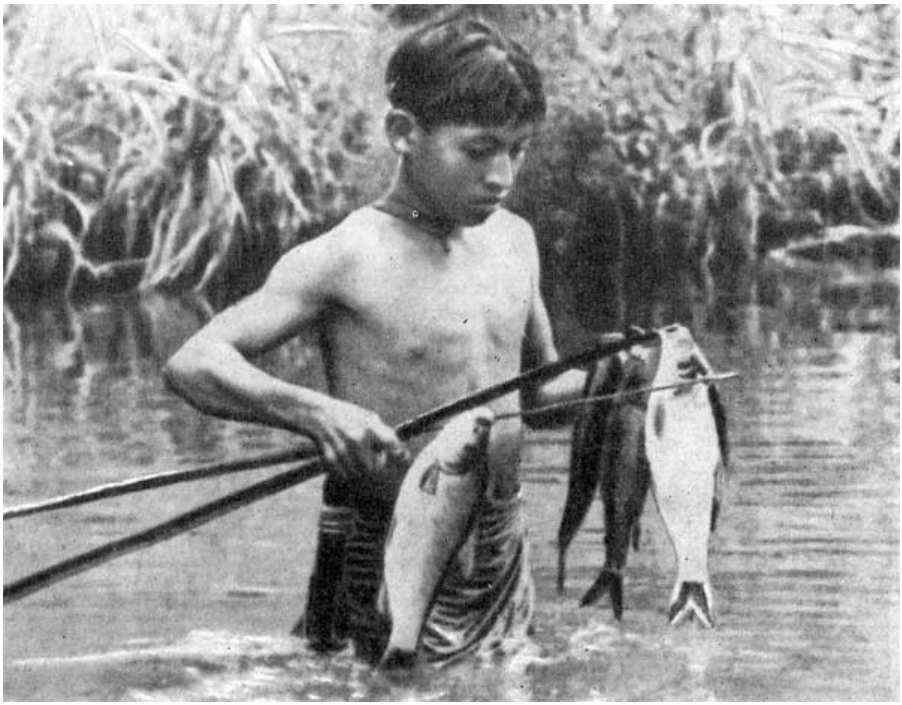
*Передвижная «бакалея» на реке*

*Заготовка каучука*

*Маска для ритуального танца*

*Духовая трубка — бесшумная смерть*

*Три охотника: в центре автор, слева — его сын, справа — помощник, верный Дамасе*



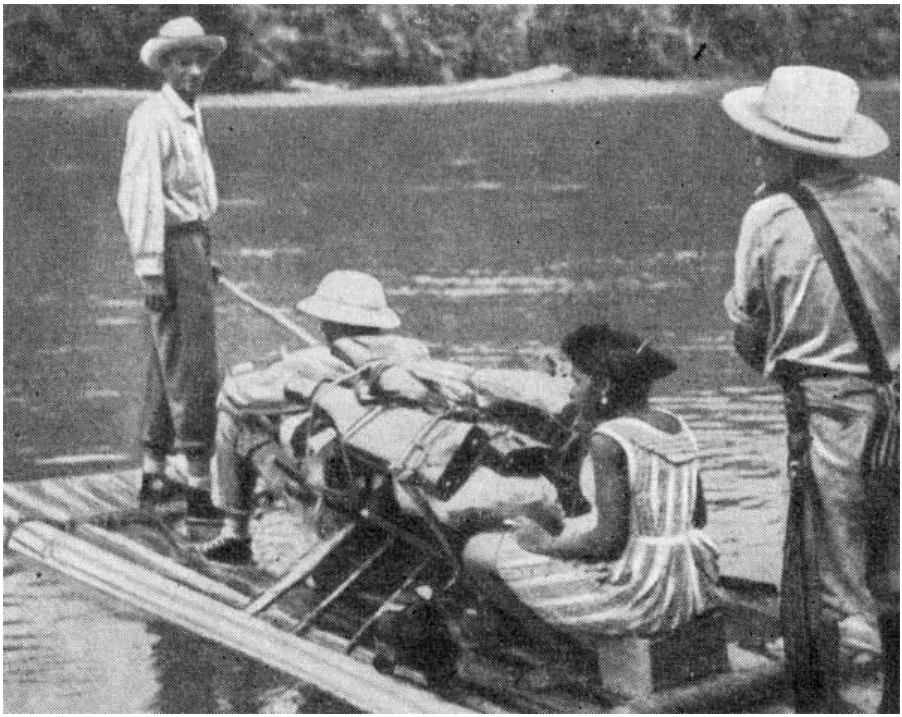
*Юный энгвера охотится на бокачико с луком и стрелами*

*Мальчик энгвера кормит цыплят*

*Свайная хижина Выдры сделана без единого гвоздя*

*Прежде крыши делали коническими*

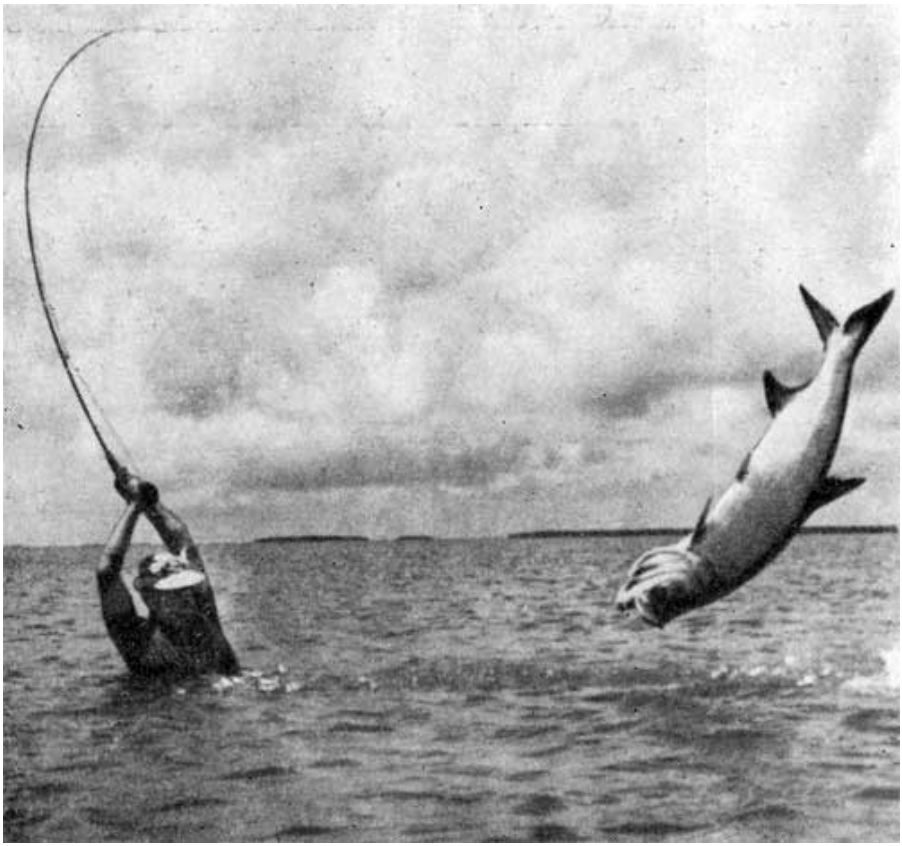
*До-чама — Речная выдра. Один из последних старых товарищей*



*Вниз по реке на бальсовом плоту*

*Лодка, выдолбленная из ствола сейбы и груженная бальсой*

*Сын автора, Лейф, с хвостоколом. Конец хвоста с ядовитыми шипами отрезан*



*Большой тарпон — самый крупный представитель семейства сельдевых — пойман на спиннинг*

*Фред Медем*

*Вильявиченсио той поры*

*Индеец гуаяберо с кожей каймана*

**notes**

# Примечания

**1**

Интенденте (испан.) — государственный чиновник, представитель местной администрации. — *Прим. пер.*

## 2

Кантина (испан.) — погребок, столовая. — *Прим. пер.*

## 3

Сантандер — один из департаментов Колумбии. — *Прим. пер.*

## 4

С 1948 по 1957 год в Колумбии шла борьба за власть между консервативной и либеральной партиями страны. Эта борьба сопровождалась многочисленными вооруженными столкновениями сторонников враждующих политических группировок, в ходе которых погибло более 300 тысяч колумбийцев и среди них много ни в чем не повинных индейцев, оказавшихся между молотом и наковальней. — *Прим. ред.*

# 5

Гоацин (Opisthocomus hoatzin) — очень своеобразная птица из отряда куриных, которую выделяют в отдельное семейство и подотряд. Длина ее около 60 см, из которых треть приходится на хвост. Населяет тропические леса вдоль рек и речных протоков. Питается листьями деревьев. Летает плохо. Гнездо делает на ветвях, расположенных над водой. В кладке 2–3 яйца. Птенцы имеют на каждом крыле по два развитых пальца с коготками, при помощи которых они лазают среди ветвей. Упавшие в воду птенцы хорошо плавают и ныряют. С возрастом коготки редуцируются. Распространен гоацин на северо-востоке Южной Америки.

Розовая колпица (Ajaja ajaja). Распространена в южных районах Северной Америки и тропической области Южной Америки. Внешним видом и биологией напоминает обычную колпицу.

## 7

Капибара, или водосвинка (Hydrochoerus hydrochoerus). Крупнейший в мире грызун. Весит около 50 кг. Внешне напоминает морскую свинку гигантских размеров. Живет небольшими группами в болотистых местах вдоль рек Южной Америки. Питается плодами и листьями водных и прибрежных растений. Великолепно плавает. Самка рождает обычно двух детенышей, которые с первого дня жизни могут следовать за матерью.

# 8

Туканы. 37 видов птиц, относящихся к семейству туканов (Rhamphustidae) отряда дятлообразных. Ведут исключительно древесный образ жизни. Распространены во влажных тропических лесах от Мексики до Аргентины. Большинство видов имеют контрастную окраску оперения из сочетаний черного и зеленого с желтым, красным или белым цветами. Для всех видов характерен довольно большой, сжатый с боков и высокий клюв. Питаются главным образом сочными плодами, но поедают также крупных насекомых, мелких пресмыкающихся, яйца и птенцов мелких птиц. Гнездятся в дуплах деревьев.

# 9

Рыжий ревун (Alouatta seniclus). Самая крупная обезьяна из семейства капуциновых. Распространен в тропических лесах Колумбии, Венесуэлы, Эквадора и Западной Бразилии. Живет в кронах деревьев небольшими стаями до 10 особей, обычно под предводительством старого самца. Ревуны обладают удивительно сильным и звучным голосом, который можно слышать на расстоянии до нескольких километров. Питаются молодыми побегами, листьями и плодами деревьев.

Пекари. В Америке нет настоящих свиней, их замещают там два вида пекари, выделяемые в особое семейство Tayassuidae. Это небольшие бесхвостые свиньи, покрытые длинной жесткой шерстью. Питаются растительной и животной пищей. В отличие от настоящих свиней самки рождают только одного или двух детенышей. Ошейниковый пекари (Tayassu tajacu) распространен от южных границ США до Аргентины. Живет в лесах небольшими стадами. Белогубый или беломордый пекари (Tayassu albirostris) распространен от Мексики до Парагвая. В отличие от предыдущего вида обитает В более влажных тропических лесах стадами от 50 до 100 и более особей.

# 11

Оцелот (Felis partialis). После ягуара и пумы самая крупная кошка Америки. Распространен от южных границ США до севера Аргентины. Живет в лесах. Ведет ночной образ жизни. Питается млекопитающими (мелкие олени, пекари, паки, агути и др.), птицами и некоторыми пресмыкающимися.

# 12

Пака (Cuniculus paca). Крупный пятнистый грызун из семейства агутиевых. Широко распространена в Центральной и Южной Америке. Обитает в заболоченных лесах и зарослях кустарников вдоль рек. Не боится воды и хорошо плавает. Ведет исключительно ночной образ жизни. Днем скрывается в норах. Живет парами. Самка рождает одного или двух детенышей. Питается разнообразной растительной пищей.

# 13

Гарпия (Harpia harpyja). Самая крупная птица из семейства ястребиных в Южной Америке. Распространена от Мексики до Центральной Бразилии. Всюду редка. Обитает в густых тропических лесах, обычно недалеко от воды. Строит громадные гнезда на высоких деревьях. Гнезда используются много лет подряд. В кладке только одно яйцо. Питается обезьянами, ленивцами и крупными птицами.

# 14

Змеешейка. Птица из отряда веслоногих, внешним видом напоминает бакланов, но имеет длинный остроконечный клюв, маленькую голову и S-образно выгнутую шею. Великолепно плавает и ныряет. Питается рыбой. Преследуя рыбу, резким движением выпрямляет шею и убивает жертву ударом острого клюва. Гнездится на деревьях. Подобно бакланам часто отдыхает на торчащих из воды ветвях упавших деревьев. Змеешеек (их всего 4 вида — по одному в Америке, Африке, Азии и Австралии) выделяют в особое семейство Anhingidae. Они обитают только в тропических и субтропических областях. Американская змеешейка (Anhinga anhinga) широко распространена от южных районов США до Аргентины.

# 15

Гокко и пенелопы. Птицы из семейства краксов (Cracidae) отряда куриных. Всего известно 38 видов. Распространены от юго-западных районов США до Аргентины. Обитают в тропических и субтропических лесах. Большую часть времени проводят на деревьях. Питаются плодами, листьями и побегами деревьев. Гнезда устраивают всегда на деревьях. В кладке только два яйца. Птенцы вылупляются с хорошо развитыми маховыми перьями и уже через несколько дней уверенно перепархивают с ветки на ветку.

Гокко (Crax, Mitu, Pauxi) — крупные, размером почти с индейку, длинноногие птицы. Самцы у всех видов имеют черное оперение, и только брюшко и конец хвоста могут быть белыми. Основание клюва у многих видов вздуто и имеет ярко-желтую или красную окраску. На голове обычно имеется хохол из курчавых перьев. У одних видов самки окрашены подобно самцам, у других видов они имеют на голове, шее, крыльях и хвосте поперечную белую полосатость.

Пенелопы (Penelope, Pipile) — значительно мельче гокко, их оперение не черного, а буровато-оливкового цвета. Хохлы у пенелоп не бывают курчавыми. Бока головы, подбородок и горло у всех видов пенелоп голые и окрашены в яркие цвета — белый, голубой или красный.

Самые мелкие (не больше фазана) представители этого семейства — чачалаки (Ortalis). Это стройные, длиннохвостые птицы, не имеющие хохлов. В их окраске преобладают буровато-зеленые тона.

# 16

Очковый кайман (Caiman crocodylus). Распространен от Мексики до Аргентины. Достигает 2,4–2,6 метров в длину.

# 17

Темный гладколобый кайман (Paleosuchus palpebrosus). Мелкий крокодил, не превышающий длины 1,5 метров. Распространен на севере Южной Америки. Предпочитает быстрые потоки с каменистым дном и отмели, усеянные камнями.

# 18

Исполинская выдра (Pteronura brasiliensis). Крупнейшая среди всех выдр, достигающая почти двухметровой длины. Распространена от Колумбии и Гайаны до Парагвая и северо-востока Аргентины. Обитает в медленно текущих реках. Активна днем. Живет парами или небольшими семейными группами. Питается рыбой, ракообразными и моллюсками.

# 19

Мускусная утка (Cairina moschata). Крупная утка, обитающая на водоемах густых тропических лесов от Мексики до Аргентины. Оперение черное с зеленым металлическим блеском и только кроющие перья крыла белые. Самцы значительно крупнее самок. Обычно около одного самца держится несколько самок. Гнездится в дуплах деревьев. Мускусная утка еще до прихода европейцев была одомашнена индейцами. В XVI веке испанцы привезли домашних мускусных уток в Европу, где они не получили широкого распространения как домашние птицы, но в небольших количествах их и сейчас разводят в странах с теплым климатом.

# 20

Оринокский, или гривистый, гусь (Neochen jubatus). Относится к подсемейству настоящих уток. Это близкий родственник наших уток — пеганки и огаря. Сходство с гусями чисто внешнее. Область обитания этого вида охватывает бассейны Амазонки и Ориноко.

# 21

Терекай (Podocnemis unifilis). Водяная черепаха средних размеров (длина панциря до 40 см) из семейства пеломедузовых. Распространена на севере Южной Америки.

# 22

Американский водорез (Rhynchops nigra). Птица из семейства чаек. Размерами и формой тела напоминает крупную крачку. Нижняя часть клюва длиннее верхней. Летает над водой с открытым клювом, рассекая длинной нижней челюстью поверхность воды. Таким образом водорез ловит насекомых и мелких рыбок. Гнездится на песчаных отмелях большими колониями. Американский водорез встречается на крупных реках и морских побережьях субтропиков и тропиков Америки. Два других вида водорезов распространены в тропических областях Африки и Азии.

# 23

Иния, или амазонский речной дельфин (Inia geoffroyensis). Один из четырех видов семейства речных дельфинов (Platanistidae). Распространен в бассейнах Ориноко и Амазонки. Длина тела этого дельфина не превышает двух метров. Питается главным образом ракообразными и рыбой. Три других вида речных дельфинов живут соответственно в бассейне Ла-Платы, в Индии и Китае.

# 24

Кваква (Nycticorax nycticorax). Ночная цапля, широко распространенная в Европе, Азии, Африке и Америке.

# 25

Королевский гриф (Sarcorhamphus papa). Самый красивый представитель семейства американских грифов. Его оперение розовато-охристое на верхней и нижней стороне тела, крылья и хвост черные, шея и голова голые и окрашены в желтый, красный и голубой цвета. Размах крыльев немного меньше двух метров. Распространен в области тропических лесов от юга Мексики до севера Аргентины.

# 26

Оринокский крокодил (Crocodylus intermedins). Распространен в бассейнах Ориноко и Амазонки. Достигает 7 метров длины.

# 27

Острорылый крокодил (Crocodylus acutus). Распространен на юго-востоке США, в Мексике, Центральной Америке и на северо-западе Южной Америки, а также на островах Куба, Ямайка, Гаити. Размеры, как и у предыдущего вида.

# 28

Красный ибис (Guara rubra). Самый красивый представитель семейства ибисов. Все оперение его кроваво-красного цвета. Распространен в тропиках Южной Америки. Гнездится по берегам рек и в мангровых зарослях на морских побережьях.

# 29

Алькальд (искан.) — государственный чиновник, возглавляющий сельскую администрацию. — *Прим. пер.*

## 30

См. книги: *Конрад Лоренц.* Кольцо царя Соломона. М., 1970; *Нико Тинберген.* Осы, птицы, люди. М., 1970.— *Прим. пер.*

# 31

Аист магуари (Euxenura maguari). Распространен в тропиках Южной Америки. Окраской напоминает белого аиста, но несколько крупнее размерами.

# 32

Американский ябиру (Jabiru mycteria). Один из самых крупных аистов. Распространен от Мексики до Аргентины. Обитает в заболоченных местах вдоль рек. Питается рыбой, земноводными и пресмыкающимися. Гнездится на высоких деревьях.

# 33

Яканы. Семь видов птиц, относящихся к семейству Jacanidae отряда ржанкообразных. Распространены в субтропиках и тропиках Америки, Африки, Азии и Австралии. У якан очень длинные пальцы ног, благодаря которым они, не проваливаясь в воду, бегают по листьям плавающих растений. Живут яканы парами на водоемах, густо заросших водной растительностью. Гнезда устраивают на плавающих растениях. Питаются животной и растительной пищей.

# 34

Тинаму. Небольшие, скромно окрашенные птицы, по внешнему виду несколько напоминающие куропаток. Их выделяют в отдельный отряд, в котором имеется единственное семейство (Tinamidae) с 50 видами. Распространены тинаму от Мексики до юга Южной Америки. Активны в сумерках **и** ночью. Они хорошо бегают, но летают с большим трудом. Питаются растительной пищей и насекомыми. Самцы мельче самок и на них падают все заботы по высиживанию яиц и выращиванию птенцов. Самки разных видов откладывают от 1 до 12 яиц. Насиживание длится около трех недель. Птенцы на следующий день после вылупления покидают гнездо.

Чоко — департамент Колумбии. — *Прим. пер.*

# 36

Паукообразные обезьяны (Ateles). Четыре вида своеобразных обезьян из семейства капуциновых. Имеют длинные передние и задние конечности, очень длинный хватательный хвост и небольшое тело. Ведут исключительно древесный образ жизни. Распространены во влажных тропических лесах Центральной и Южной Америки.

Очковый медведь (Tremarctos ornatus). Единственный южноамериканский медведь. Распространен в горных лесах от Венесуэлы **и** Колумбии на юг до Боливии и севера Чили. Всюду на этой территории редок.

# 38

Белогрудый орел (Spezaetus). Американский представитель рода ястребиных орлов.

# 39

Урубу, или черный американский гриф. (Coragyps atratus). Относится к семейству американских грифов Cathartidae. Распространен от южных районов США до Чили и Аргентины. Питается главным образом падалью. Часто посещает колонии цапель и пеликанов, где подбирает мертвых птенцов и рыбу.

# 40

Манакины. Мелкие воробьиные птицы из семейства Pipridae. Распространены от юга Мексики до Аргентины. Обитают в тропических лесах. Самцы **и** самки у большинства видов резко отличаются по окраске. Обычно самцы черные с яркими пятнами красного, оранжевого **и** синего цвета. Самки зеленоватые. Пар не образуют. У некоторых видов самцы и самки собираются в определенных местах для группового токования. Строит гнездо, насиживает яйца и выкармливает птенцов только самка. В кладке лишь два яйца. Питаются мелкими сочными плодами **и** насекомыми.

# 41

Лаоария (Bothrops atrox). Крупная ядовитая змея (до 2,5 метров) из семейства ямкоголовых Crotalidae. Распространена в Центральной и Южной Америке. Укус лабарии опасен и в одном случае из десяти приводит к смерти. Лабария охотится на млекопитающих и птиц, реже нападает на ящериц и змей. Самка рождает до 70 детенышей.

# 42

Бушмейстер (Lachesis mutus). Крупнейшая из ядовитых змей Америки, достигающая длины 3,6 метра. Распространен в Центральной и Южной Америке от Никарагуа и Боливии до юго-востока Бразилии. Всюду редок. Обитатель нетронутых влажных тропических лесов. Охотится в сумерках на птиц и мелких млекопитающих. В отличие от большинства ямкоголовых змей бушмейстер не живородящ, а откладывает яйца. Самка охраняет свою кладку, состоящую из 10–20 яиц.

# 43

Агути (Dasyprocta). Довольно крупные, подвижные, длинноногие и бесхвостые грызуны, напоминающие миниатюрных копытных. Известно 13 видов агути, распространенных в Центральной и Южной Америке. Они обитают во влажных тропических лесах. Активны преимущественно в сумерки и ночью. Питаются плодами, орехами, ягодами и корневищами различных растений. Днем скрываются в норах. Самки рождают только двух детенышей. Наиболее известен золотой агути (Dasyprocta aguti), распространенный в Венесуэле, Гайане и Бразилии.

# 44

Опоссумы, или сумчатые крысы (семейство Didelphidae). Мелкие и средних размеров американские сумчатые. Известно 65 видов, которые группируются в 12 родов. Распространены в Центральной и Южной Америке. Только один вид — обыкновенный опоссум Didelphis marsupialis, проникает в Северную Америку.

# 45

Квезал, или кетцаль (Pharomachrus mocino). Птица из отряда трогонов (Trogones). У самца кетцаля большая часть оперения блестящего ярко-зеленого цвета, спина голубая, грудь, брюшко и подхвостье малиновые. Перья надхвостья удлинены и два из них достигают длины 80 см при общей длине птицы 125 см. Живет квезал в горных лесах Центральной и Южной Америки. Питается сочными плодами.

# 46

Попугаи ара (Ara, Anodorhynchus). Группа американских клинохвостых попугаев из 17 видов, относящихся к двум родам. Половина из этих видов являются крупнейшими представителями отряда попугаев. Окрашены очень ярко в темно-синий, сине-желтый, красный и зеленый цвета.

Чичен-Ица и Майяпан — памятники древней культуры майя. — *Прим. пер.*

# 48

Ленивцы (Cloepus, Bradypus). Животные из отряда неполнозубых. Ленивцев известно 7 видов, которых относят к двум родам одного семейства. Все они обитают во влажных тропических лесах Центральной и Южной Америки. Живут на деревьях, где медленно передвигаются, цепляясь за ветви длинными когтями передних и задних конечностей, при этом само животное висит спиной вниз. Ведут ночной образ жизни. Питаются плодами и листьями деревьев. Самка рождает одною детеныша, которого всюду носит на животе.

# 49

Большой, или гигантский, муравьед (Myrmecophaga tridactyla). Самый крупный представитель семейства муравьедов отряда неполнозубых. Распространен в Центральной и Южной Америке от Гватемалы до севера Аргентины. Большой муравьед имеет одну из самых примечательных внешностей среди млекопитающих. Это крупное животное длиной до двух метров, имеющее длинное трубкообразно вытянутое рыло, мощные когти на передних лапах и большой пушистый хвост. Обитает в пампасах. Ведет одиночный бродячий образ жизни. Питается муравьями **и** термитами. Мощные когти передних лап помогают ему разрушать термитники. Насекомых слизывает длинным липким языком.

Тапиры. Семейство тапиров отряда непарнокопытных состоит из четырех видов. Три из них живут в Америке. Это хорошо всем известный бразильский, или равнинный, тапир (Tapirus terrestris), широко распространенный во влажных тропических лесах и болотистых областях от Венесуэлы и Гайаны на юг до Парагвая и севера Аргентины; центральноамериканский тапир (Tapirus bairdi), обитающий в горных лесах Центральной Америки, Колумбии и Эквадора и горный тапир (Tapirus pinch aque), живущий на высоте от 2000 до 4000 метров в Андах Колумбии, Эквадора и Перу. Четвертый вид — чепрачный, или малайский, тапир (Tapirus indicus) — обитает в тропических лесах Бирмы, Таиланда, Малаки и Суматры.

## 51

Энгвера — одно из племен чоко, живущих в резерватах недалеко от тихоокеанского побережья Колумбии.